

Э.Т.А. Гофман. Ночные истории

OCR, Spellcheck: Ostashko

ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Натэнаэль Лотару

Вы все, наверное, в большом беспокойстве от того, что я так ужасно долго не писал. Матушка, пожалуй, сердится, а Клара могла подумать, что я катаюсь здесь как сыр в масле, развлекаюсь и совсем позабыл ее ангельское личико, так глубоко запечатленное в моем уме и сердце. Но это совсем не так. Ежедневно и ежечасно вспоминаю я всех вас, и в сладких снах является мне приветливый образ моей милой Клэрхен и ясные глаза ее улыбаются мне так пленительно, как это бывало, когда я приходил к вам. Ах, разве я мог писать вам в том растерзанном, смятённом состоянии духа, которое до сих пор еще путает все мои мысли?! В жизнь мою вошло нечто ужасное! Смутное предчувствие грозящей мне страшной беды надвигается на меня, как черные тени облаков, сквозь которые не проникнет уже ни один приветливый солнечный луч. Но надо же наконец сказать тебе, что со мной случилось. Я знаю, что должен это сделать, но, думая об этом, тут же слышу, как внутри меня раздаётся безумный хохот. Ах, дорогой мой Лотар! Что мне сделать, чтобы хоть отчасти заставить тебя почувствовать, что то, что случилось со мной несколько дней назад, действительно могло испортить мне жизнь? Если бы ты был здесь, ты бы сам это видел; но теперь ты, очевидно, сочтешь меня за помешанного духовидца. Говоря коротко, то ужасное, что со мной случилось и произвело на меня убийственное впечатление, от которого я напрасно стараюсь избавиться, состоит в том, что несколько дней назад, а именно 30 декабря в полночь ко мне в комнату пришел продавец барометров и предлагал мне свои товары. Я ничего не купил и пригрозил спустить его с лестницы, но он ушел сам.

Ты подозреваешь, что только совсем особые обстоятельства, глубоко повлиявшие на всю мою жизнь, могут придать смысл этому случаю и что особа какого-то несчастного торговца не могла так пагубно на меня воздействовать. Так оно и есть. Я собираю все свои силы, чтобы спокойно и терпеливо рассказать тебе многое из того, что случилось со мной в раннем детстве, желая, чтобы все это в самых ярких образах, ясно и точно предстало перед твоим живым умом. Но, собираясь начать, слышу, как ты смеешься, а Клара говорит: "Да ведь это просто ребячество!" Смейтесь, прошу вас, смейтесь надо мной от всего сердца! Я очень прошу вас! Но, Боже великий! Волосы становятся у меня дыбом, будто я умоляю вас надо мной смеяться в каком-то безумном отчаянии, как Франц Моор Даниэля. Но к делу! Кроме обеденного времени, я и мои сестры мало видели отца в течение дня. Он был, вероятно, очень занят службой. После ужина, который по старинному обычаю подавался в семь часов, мы все вместе с матерью шли в его рабочий кабинет и садились за круглый стол. Отец курил табак и выпивал большой стакан пива. Он часто рассказывал нам разные удивительные истории и приходил при этом в такой азарт, что у него все время выпадала изо рта и гасла трубка, а я должен был снова и снова ее разжигать, поднося зажженную бумагу, и это меня необыкновенно забавляло. Часто, однако, он давал нам в руки книжки с картинками, а сам сидел в кресле молчаливый и неподвижный, распространяя вокруг себя такие густые облака дыма, что все мы будто плавали в тумане. В такие вечера мать бывала очень печальна и, как только пробьет девять часов, говорила: "Ну, дети! Спать! Спать! Я чувствую, что уже идет песочный человек!" И я действительно каждый раз слышал тяжелые, медленные шаги на лестнице; это, верно, и был песочный человек.

Однажды мне показались как-то особенно зловещими эти глухие шаги; я спросил матушку, которая вела нас спать: "Мама, кто же этот злой песочный человек, который всегда отрывает нас от папы? Как он выглядит?" — "Милое дитя,— отвечала матушка,— никакого песочного человека на самом деле нет. Когда я говорю, что идет песочный человек, это значит, что вы хотите спать и не можете хорошенько открыть глаза, словно их присыпало песком". Этот ответ не удовлетворил меня, в моем детском мозгу ясно сложилась мысль, что мать не сказала правды о песочном человеке только для того, чтобы мы его не боялись,— я ведь не раз слышал, как он поднимается по лестнице. Сгорая от любопытства и желая побольше узнать об этом песочном человеке и о том, как он относится к детям,

я спросил наконец старую няню, которая смотрела за моей младшей сестрой: "Кто такой этот песочный человек?" — "Э, Танельхен,— отвечала она,— да неужто ты не знаешь? Это злой человек, который приходит к детям, когда они не хотят ложиться спать, и бросает им в глаза целые пригоршни песка, так что глаза заливаются кровью и вываливаются, а он складывает их в мешок и уносит на луну, чтобы кормить своих детей; а те сидят там в гнезде, и у них такие острые клювы, как у сов, чтобы клевать ими глаза непослушных детей".

В душе моей ужасными красками нарисовался образ страшного песочного человека; когда вечером раздавался шум на лестнице, я весь дрожал от страха. Мать ничего не могла от меня добиться, кроме судорожных всхлипываний: "Песочный человек! Песочный человек!" После этого я забивался в спальню, и почти всю ночь меня мучили ужасные видения песочного человека.

Я был уже достаточно большим для того, чтобы понять, что история о песочном человеке и гнезде на луне, которую рассказала мне няня, была не совсем правдоподобной, но песочный человек остался, для меня страшным призраком, и ужас охватывал меня, когда я слышал, как он не только поднимается по лестнице, но еще и бесцеремонно открывает дверь к моему отцу и входит в его комнату.

Временами он долго не являлся, иногда же приходил часто. Так продолжалось много лет, а я все не мог свыкнуться с этим зловещим призраком, и образ страшного песочного человека не бледнел в моем воображении. Его отношения с моим отцом все более занимали мою фантазию. Спросить об этом отца я не смел — меня удерживала какая-то непреодолимая робость, но все же с годами во мне все более возрастало желание проникнуть в эту тайну и увидеть злополучного песочного человека. Песочный человек пробудил во мне мысли о чудесном и таинственном, которые и без того легко зарождаются в детской душе. Ничто я так не любил, как слушать и читать страшные истории о кобольдах, ведьмах, мальчике-с-пальчике и проч., но на первом месте все-таки пребывал песочный человек, которого я в самых жутких и отвратительных обличьях рисовал мелом и углем повсюду — на столах, шкафах и стенах.

Когда мне было десять лет, мать выселила меня из детской и поместила в маленькой комнатке, находившейся в коридоре неподалеку от комнаты отца. Мы все еще должны были быстро удаляться, как только пробьет девять часов и послышится приближение этого незнакомца. Я слышал из своей комнатки, как он входил к отцу, и вскоре после этого по дому распространялся тонкий, странно пахнущий дым. Вместе с любопытством возрастала также и моя храбрость: я непременно хотел как-нибудь познакомиться с песочным человеком. Часто, дождавшись, когда пройдет мать, я проскальзывал из своей комнатки в коридор, но ничего не мог расслышать, потому что песочный человек уже был за дверью, когда я достигал того места, откуда мог его видеть. Наконец, влекомый необоримым желанием, я решился спрятаться в кабинете моего отца и там дожидаться песочного человека.

Однажды вечером по молчанию отца и печальной задумчивости матери я понял, что должен прийти песочный человек; поэтому я, притворившись, что очень устал, ушел из комнаты раньше девяти часов и спрятался в углу у самой двери. Вскоре скрипнула наружная дверь и медленные, тяжелые, угрожающие шаги направились к лестнице. Мать поспешно увела сестер. Тогда я тихо-тихо отворил дверь в комнату отца. Он сидел по своему обыкновению неподвижно и безмолвно, спиной к двери. Он не заметил меня, и я быстро проскользнул в комнату и спрятался за занавеску, которой был задернут открытый шкаф, где висело платье моего отца. Шаги звучали все ближе и ближе, за дверью кто-то хрипел, кашлял, ворчал и шаркал ногами. Сердце мое билось от страха и ожидания. И вот прямо за дверью слышны громкие шаги, потом кто-то с силой нажимает на дверную ручку и дверь с шумом распахивается! Крепясь изо всех сил, я осторожно выглядываю из-за занавески. Песочный человек стоит посреди комнаты перед моим отцом, яркий отблеск свечей падает на его лицо! Песочный человек, жуткий песочный человек — это не кто иной, как адвокат *Коппелуус*, который часто у нас обедает!

Однако никакое самое страшное видение не могло бы вызвать во мне более глубокого ужаса, чем этот самый Коппелуус. Представь себе высокого, широкоплечего человека с какой-то бесформенной, большой головой, землисто-желтым лицом, щетинистыми седыми бровями, из-под которых сверкают серые кошачьи глаза, и большим, выдающимся носом, висящим над верхней губой. Кривой рот его часто складывался в насмешливую улыбку, и тогда на щеках выделялись два багровых пятна и странный, свистящий звук вылетал из-за стиснутых зубов. Коппелуус всегда являлся в старомодном пепельно-сером спортуке, таком же жилете и панталонах, он носил черные чулки и черные же башмаки с пряжками. Маленький парик едва прикрывал ему макушку, букли высоко торчали над большими, крысиными ушами, и широкий кошелек* отставал от затылка, так что видна была серебряная застежка, стягивающая шейный платок. Вся его фигура была как-то особенно отвратительна; но всего противнее были нам, детям, его волосатые кулаки с большими ногтями, так

что для нас было испорчено все, до чего он ими дотрагивался. Он заметил это и особенно любил схватить под каким-нибудь предлогом пирожное или фрукты, которые наша добрая матушка потихоньку подкладывала нам в тарелки; при виде этого у нас выступали на глазах слезы и от отвращения мы не могли есть то лакомство, которое должно было нас порадовать. То же самое делал он и в праздники, когда отец наливал нам по рюмке сладкого вина. Он быстро хватал рюмку своими лапами и даже подносил к своим синим губам и смеялся каким-то адским смехом, когда мы тихонько всхлипывали, не смея иначе выразить нашу досаду. Он

*Сетка для косицы мужского парика.

всегда называл нас зверенышами; когда он бывал у нас, мы не смели произнести ни звука и ненавидели этого безобразного, злого человека, который, конечно, намеренно лишал нас наших маленьких радостей. Мать тоже, по-видимому, не меньше нас ненавидела противного Коппелиуса: как только он появлялся, все ее веселье и непринужденность пропадали и она делалась печальна, серьезна и мрачна. Отец держался с ним так, как будто он был существом высшего порядка, от которого все нужно терпеливо сносить и всячески ему угождать. Он позволял себе только робкие замечания, и к столу подавались тонкие вина и любимые блюда адвоката.

Когда я увидел этого Коппелиуса, душа моя содрогнулась от мысли, что никто иной и не мог быть песочным человеком, но только этот песочный человек был для меня уже не сказочным пугалом, которое таскает детские глаза в совиное гнездо на луне, нет! — Это был ужасающий, призрачный колдун, который всюду, куда приходит, приносит горе, несчастье, временную и вечную гибель. Я стоял точно замороженный. Боясь быть обнаруженным и, как я справедливо полагал, жестоко наказанным, я застыл на месте, высунув голову из-за занавески. Отец встретил Коппелиуса почтительно. "За дело!" — воскликнул тот резким, скрипучим голосом и сбросил с себя сюртук. Отец безмолвно и мрачно снял свой халат, и оба облачились в длинные, черные балахоны. Где они их взяли, я не заметил. Отец открыл дверцы стенного шкафа, и я увидел, что то, что я всегда принимал за шкаф, было, скорее, черным углублением, где стояла небольшая жаровня. Коппелиус подошел к этому месту, и голубоватое пламя взвилось над жаровней. Вокруг стояли какие-то диковинные сосуды. О, Боже! Когда мой старый отец склонился над огнем, он принял совсем иной вид: будто страшная судорожная боль превратила его мягкие, открытые черты в безобразный, отталкивающий дьявольский образ. Он стал похож на Коппелиуса!

А последний раскаленными щипцами выхватывал из густого дыма блестящие куски какого-то вещества и усердно бил по ним молотком. Мне казалось, что вокруг проступают человеческие лица, только без глаз — на их месте были глубокие черные впадины.

— Глаза сюда, глаза! — воскликнул Коппелиус глухим, угрожающим голосом.

Я вздрогнул, охваченный диким ужасом, и выпал из моей засады на пол. Коппелиус схватил меня.

— Звереныш! Звереныш! — зашипел он, скрежеща зубами, потом поднял меня и швырнул на жаровню, так что волосы мои обдало жаром.

— Теперь у нас есть глаза, глаза, красивые детские глазки! — так бормотал Коппелиус и, взяв в руки горсть раскаленных углей, намеревался бросить их мне в лицо. Тогда отец мой протянул к нему руки и взмолился:

— Мастер! Мастер! Оставь глаза моему Натанаэлю! Коппелиус визгливо захохотал:

— Ладно, пускай у малого останутся глаза и он выплачет свой урок в этом мире, однако посмотрим-ка мы, каков механизм его рук и ног.

Тут он схватил меня так крепко, что у меня захрустели суставы, и стал вертеть мои руки и ноги то так, то эдак, придавая им различные положения.

— Все не так! Прежде лучше было! Старик знал свое дело! — шипел Коппелиус. В глазах у меня потемнело, страшные судороги прошли по всем моим членам, я больше ничего не чувствовал...

Теплое, нежное дыхание скользнуло по моему лицу, я проснулся будто от смертного сна, надо мной склонилась мать.

— Песочный человек еще здесь? — прошептал я.

— Нет, дорогое дитя мое, он давно, давно ушел и не причинит тебе никакого вреда! — отвечала матушка и стала целовать и ласкать возвращенного ей любимца.

Но зачем угруждать тебя, дорогой Лотар? Зачем буду я длинно рассказывать об этом случае, когда так много еще нужно поведать тебе? Итак, мое подсматривание было открыто, и Коппелиус жестоко меня покарал. От страха у меня сделалась горячка, в которой я пролежал много недель. "Песочный человек еще здесь?" — это были мои первые разумные слова, признак моего выздоровления и спасения.

Теперь я хочу рассказать тебе про ужасный момент моей юности, и тогда ты убедишься в том, что не

из-за ухудшения зрения кажется мне все бесцветным, что какая-то темная сила набросила на жизнь мою мрачный облачный покров, который разорву я, быть может, только со смертью. Кошпелиус больше не показывался, говорили, что он оставил город. Прошло около года. Все мы по старому заведенному обычаю сидели вечером за круглым столом. Отец был очень весел и рассказывал много забавного про путешествия, которые совершил в молодые годы. А когда пробило девять часов, мы вдруг услышали, как скрипнули петли наружной двери и на лестнице раздались тяжелые шаги.

— Это Кошпелиус,— побледнев, сказала мать.

— Да, это Кошпелиус,— повторил отец слабым, усталым голосом.

У матери брызнули из глаз слезы.

— Разве это непременно должно быть? — воскликнула она и бросилась к отцу.

— В последний раз,— отвечал отец,— в последний раз приходит он ко мне, обещаю тебе! Ступай, возьми детей! Идите, идите спать! Покойной ночи!

Мне казалось, что я обратился в тяжелый, холодный камень. Дыхание мое остановилось. Видя, что я не двигаюсь с места, мать взяла меня за руку:

— Пойдем, Натанаэль, пойдем отсюда!

Я дал себя увести и вошел в свою комнату.

— Успокойся, успокойся, ложись в постель, спи, спи! — говорила мне мать вслед.

Но, мучимый неописуемым страхом и беспокойством, я не мог сомкнуть глаз. Ненавистный, отвратительный Кошпелиус стоял передо мной, сверкая глазами и издевательски смеясь, и я напрасно старался отогнать от себя его образ. Вероятно, была уже полночь, когда раздался вдруг страшный удар, точно выстрелили из какого-то орудия. Весь дом затрясся, за моей дверью что-то загрохотало, а наружная дверь с треском распахнулась и тут же захлопнулась. "Это Кошпелиус!" — вскричал я в ужасе и вскочил с постели. Вдруг раздался душераздирающий крик; я бросился в комнату отца, дверь была открыта настежь, душающий дым валил мне навстречу, служанка кричала:

— Ах, барин! Барин!

На полу перед дымящейся жаровней лежал мой отец, с черным, обгоревшим и страшно искаженным лицом; он был мертв, вокруг него выли и визжали сестры, мать лежала в обмороке.

— Кошпелиус! Проклятое исчадие ада! Ты убил моего отца! — закричал я и лишился чувств.

Когда спустя два дня тело моего отца клали в гроб, черты его лица были так же мягки и кротки, как и при жизни. Я с утешением подумал, что его связь с ненавистным Кошпелиусом не навлекла на него вечного проклятия.

Взрыв разбудил соседей, случай этот получил огласку и стал известен полиции, которая хотела привлечь Кошпелиуса к ответственности. Но он бесследно исчез. Если я скажу тебе теперь, дорогой друг мой, что продавец барометров был не кто иной, как проклятый Кошпелиус, то ты не станешь укорять меня, что я счел это враждебное вторжение предзнаменованием большого несчастья. Он был иначе одет, но фигура и лицо Кошпелиуса слишком глубоко врезались в мою память, чтобы я мог ошибиться. Кроме того, Кошпелиус почти не изменил своего имени: он выдает себя здесь за пьемонтского механика и называет себя Джузеппе Кошпола.

Я решил разделаться с ним и во что бы то ни стало отомстить за смерть своего отца.

Не рассказывай матушке про появление этого страшного колдуна. Кланяйся моей милой, прелестной Кларе, я напишу ей, когда успокоюсь. Прощай и проч.

Клара Натанаэлю.

Ты действительно очень давно не писал мне, но я все-таки верю, что ты носишь меня в своем сердце. Верно, ты живо меня помнишь, раз на последнем письме своем, адресованном брату Лотару, написал мое имя. Я с радостью его распечатала и поняла свою ошибку, лишь когда дошла до слов: "Ах, дорогой мой Лотар!" Конечно, мне не нужно было читать дальше, а следовало передать письмо брату. Но хоть ты и не раз дразнил меня тем, что у меня такой спокойный, рассудительный нрав, что, если бы дом вот-вот мог обрушиться, я бы как истая женщина, убегая, успела расправить складку на занавеске,— я все-таки утверждаю, что начало твоего письма глубоко меня потрясло. Я едва дышала, и в глазах у меня потемнело.

Ах, дорогой мой Натанаэль! Что могло быть в твоей жизни такого ужасного? Расстаться с тобой, никогда не видеть тебя,— мысль эта пронзила мне сердце, как огненный удар кинжала! Я продолжала читать письмо! Твое описание мерзкого Кошпелиуса просто ужасно. Только теперь узнала я, какой страшной смертью умер твой добрый старый отец. Брат Лотар, которому я передала его собственность, пробовал меня успокоить, но это плохо ему удалось. Страшный продавец барометров

Джузеппе Коппола преследовал меня на каждом шагу, и я признаюсь почти со стыдом, что даже мой здоровый, всегда спокойный сон был нарушен разными необычными видениями. Но скоро, на другой же день, все представилось мне в другом свете. Не сердись на меня, мой бесценный, если Лотар тебе скажет, что вопреки странному твоему предчувствию, будто Коппелиус причинит тебе зло, я весела и беспечна, как и прежде.

Теперь я хочу сказать тебе, что, мне думается, все ужасное и страшное, о чем ты говоришь, произошло только в твоей душе, а настоящий внешний мир принимал в этом мало участия. Старый Коппелиус, видно, и в самом деле был очень противен, но то, что он ненавидел детей, возбуждало в вас такое сильное отвращение.

Твой детский ум соединил страшного песочного человека из нянюшкиной сказки с Коппелиусом, который, даже когда ты перестал верить в песочного человека, остался для тебя призрачным кодуном, особенно опасным для детей. Зловещие свидания с твоим отцом в ночную пору были не что иное, как тайные занятия алхимией, что, естественно, не нравилось твоей матушке, так как на это, несомненно, уходило много денег и, кроме того, как всегда случается с такими изыскателями, душа отца отвлекалась от семьи, предаваясь обманчивой иллюзии о возможности познать высшую мудрость. Смерть отца, вероятно, произошла по его неосторожности, и Коппелиус в этом не виноват. Знаешь ли ты, что я спрашивала вчера сведущего соседа-аптекаря, возможен ли при химических опытах такой внезапный взрыв. Он сказал: "Конечно!" и очень длинно и обстоятельно объяснил мне, как это могло случиться, причем произносил много мудреных слов, которых я не запомнила. Теперь ты будешь мной недоволен и скажешь: "В эту холодную душу не проникает ничего таинственного, что так часто охватывает душу незримыми руками, она видит только поверхность мира и радуется, как дитя, глядя на золотистый фрукт, внутри которого скрывается убийственный яд".

Ах, дорогой мой Натанаэль! Ты думаешь, что в веселье, беспечные и беззаботные души не может вселиться предчувствие темной, враждебной силы, стремящейся погубить нас посредством нашего собственного "я"? Но прости меня, если я, необразованная девушка, постараюсь объяснить тебе, что я разумею под этой внутренней борьбой. В конце концов я скорее всего не найду подходящих слов, и ты будешь надо мной смеяться не потому, что у меня глупые мысли, а потому, что я так неловко пытаюсь их высказать.

Если существует темная сила, так враждебно и коварно налагающая на нашу душу нити, которыми она потом нас полностью опутывает, увлекая на опасную, губительную дорогу, то она должна заключаться в нас самих, это мы сами; ведь только в этом случае мы поверим в нее и дадим ей место, нужное ей для вершения ее тайных дел. Однако если дух наш стоек и укреплен жизненной энергией, то он способен распознать чуждое, враждебное влияние и спокойно следовать тем путем, который соответствует нашим склонностям и призванию, и тогда эта страшная сила исчезнет, растает в бесплодной борьбе за свой образ, который был, в сущности, нашим собственным отражением. Очевидно, прибавляет Лотар, это темная физическая сила, которой мы сами предаемся, часто вводит в нашу душу чуждые образы, заимствуемые нами из внешнего мира, так что мы сами воспламеняем дух, который, как представляется нам в нелепом заблуждении, говорит из этого образа. Это призрак нашего "я", чье глубокое сродство с нами и глубокое влияние на наши чувства ввергает нас в ад или возносит на небеса.

Ты замечаешь, дорогой Натанаэль, что мы с братом Лотаром много говорили о темных силах, и эта материя после того, как я не без труда изложила тебе самое главное, кажется мне довольно-таки глубокомысленною. Я не вполне понимаю последние слова Лотара, а только интуитивно чувствую, что он хотел сказать, и все же мне кажется, что все это вполне верно. Прошу тебя, выбрось из головы омерзительного адвоката Коппелиуса и торговца барометрами Джузеппе Копполу. Убеди себя в том, что эти чуждые образы не имеют над тобой власти; если бы каждая строка твоего письма не свидетельствовала о глубоком потрясении твоих чувств и смятении твоего ума, если бы меня искренне не огорчало твое состояние, то я бы, вероятно, могла посмеяться по поводу песочного адвоката и продавца барометров Коппелиуса. Развеселись, мой милый! Я беру на себя смелость стать твоим ангелом-хранителем, и если тебе случится увидеть во сне безобразного Копполу, я появлюсь и отгоню его от тебя громким смехом. Я нисколько не боюсь ни его самого, ни его противных кулаков, и он не посмеет отнять у меня лакомство, принявши вид адвоката, и не лишит меня глаз как песочный человек.

Твоя навечно, любимый мой Натанаэль, и т.д. и т.д.

Натанаэль Лотару

Мне очень неприятно, что Клара распечатала и прочла мое последнее послание к тебе, попавшее к ней по ошибке, вследствие моей рассеянности. Она написала мне очень глубокомысленное философское письмо, в котором доказывает, что Кошпелиус и Кошпола существуют только в моем воображении и суть призраки моего "я", которые мгновенно улетучатся, как только я признаю их таковыми. Право, кто бы мог подумать, что дух, сияющий, как прелестный, сладостный сон в этих светлых, дивно смеющихся, детских глазах, может так разумно и тонко рассуждать. Она ссылается на тебя. Вы говорили обо мне. Ты, верно, читал ей лекции по логике, чтобы она научилась так искусно все просеивать и различать. Оставь это! Не подлежит сомнению, что продавец барометров Джузеппе Кошпола — вовсе не адвокат Кошпелиус. Я слушаю лекции недавно приехавшего профессора физики, который, как и знаменитый естествоиспытатель, носит фамилию Спаланцани и тоже итальянского происхождения. Он знает Кошполу уже много лет, и, кроме того, уже по одному выговору Кошполы можно заключить, что он пьемонтец. Кошпелиус был немец, но, как мне кажется, не настоящий. Я еще не вполне успокоился. Считайте меня — ты и Клара — мрачным мечтателем, но я все же не могу отделаться от впечатления, которое произвело на меня проклятое лицо Кошпелиуса. Я рад, что он уехал из города, как сказал мне Спаланцани. Кстати, этот профессор — преувеличенный чудак. Это маленький, кругленький человечек с выдающимися скулами, тонким носом, вывернутыми губами и узкими, пронзительными глазами. Но лучше всяких описаний будет, если ты взглянешь на портрет Калиостро, как изображен он Ходовецким в берлинском карманном календаре. Спаланцани имеет именно такой вид. Недавно я подымался к нему по лестнице и заметил, что у занавески, обыкновенно плотно задернутой за стеклянной дверью, есть сбоку небольшая щелка. Я не знаю, как это вышло, что я с любопытством туда заглянул. В комнате у небольшого столика, положив на него руки с переплетенными пальцами, сидела высокая, очень стройная, физически развитая с величайшей соразмерностью, женщина в роскошном платье. Она сидела против двери, так что я мог хорошо разглядеть ее ангельской красоты лицо. По-видимому, она меня не заметила, и вообще ее глаза были странно неподвижны, я мог бы сказать, что им не достало зрительной силы, словно она спала с открытыми глазами. Мне стало как-то не по себе, и я тихо проскользнул в аудиторию, располагавшуюся рядом. Я узнал потом, что это была дочь Спаланцани Олимпия, которую он почему-то держит взаперти, так что ни один мужчина не смеет к ней приблизиться. Вероятно, здесь что-то кроется: либо она слабоумна, либо что-нибудь еще. Но к чему я пишу тебе обо всем этом? Гораздо лучше и выразительнее я мог бы все это тебе рассказать. Знай же, что через две недели я буду с вами. Я должен снова увидеть моего нежного, дорогого ангела Клару. Тогда пройдет то дурное настроение, которое (я должен признаться) чуть было не овладело мною после ее злосчастного благоразумного письма. Поэтому я сегодня ничего ей не пишу. Тысяча приветствий и т.д.

Ничего не может быть более странного и поразительного, чем то, что случилось с моим бедным другом, молодым студентом Натанаэлем, и о чем я намериваюсь рассказать тебе, любезный читатель. Бывало ли с тобой, что какое-нибудь чувство всецело наполняло твою душу, мысли и сердце, вытесняя все остальное? Все в тебе клокочет; кровь кипит в жилах огненным потоком, обдавая краской твои щеки. Взгляд так странен, как будто ловит в пустом пространстве образ, незримый для других, и речь прерывается тяжкими вздохами? Друзья спрашивают: что с вами, дражайший? Что вас заботит? И тогда ты хочешь передать возникшую перед твоим внутренним взором картину со всеми ее живыми красками, тенями и светом и стараешься подыскать слова, хотя бы для того, чтобы начать свой рассказ. Тебе кажется, что ты должен сейчас же, в первом же слове, соединить все то чудесное, дивное, страшное, веселое и ужасное, что ты видишь, чтобы оно пронзило всех как электрическим током. Но всякое слово кажется тебе бесцветным, холодным и мертвым, и ты все ищешь, подыскиваешь, измышляешь, запинаясь, и несносные вопросы друзей охлаждают жар твоей души подобно ледяным порывам ветра, пока жар этот не угаснет совсем.

Но если ты, как отважный художник, сразу набрасываешь несколькими смелыми штрихами образ своего видения, то ты уже с большей легкостью находишь потом все более и более яркие краски и живая толпа живописных образов увлекает твоих друзей, и они, как и ты, увидят себя посреди той картины, которая возникла в твоей душе!

Я должен признаться, благосклонный читатель, что никто, собственно, не расспрашивал меня об истории молодого Натанаэля; но ты ведь знаешь, что я принадлежу к той странной породе авторов, которые, если они носят в себе что-либо, подобное только что описанному мною, чувствуют себя так, точно всякий встречный и даже весь мир, вопрошает: "Так в чем же там дело? Расскажите, милейший!" И вот меня непреодолимо тянет поговорить с тобой о роковой жизни Натанаэля. Ее необычность, ее поразительность потрясли мою душу; именно по этой причине и еще потому, что я

хотел, о, читатель, чтобы ты пережил вместе со мной все чудеса этого рассказа, я так мучился, желая начать историю Натанаэля как можно значительнее, оригинально и впечатляюще.

"Однажды..." — это прекрасное начало для всякого рассказа, но для этого — слишком банально! "В провинциальном городке С. жил..." — это уже лучше, по крайней мере соответствует фактам. Или так: "Убирайся к черту! — воскликнул студент Натанаэль, дикий взор его был полон ярости и ужаса, когда продавец барометров Кошпола..." Это я и вправду уже написал, когда мне показалось, что дикий взгляд студента Натанаэля несколько смешон. Но ведь история эта вовсе не забавна. Мне не приходили в голову никакие слова, которые могли бы хоть сколько-нибудь отразить сияние красок возникшей во мне картины. И я решил не начинать совсем. Поэтому прошу тебя, любезный читатель, считать эти три письма, переданные мне моим другом Лотаром, за абрис картины, на которую я при рассказе буду стараться накладывать все больше и больше красок. Может быть, мне удастся, как хорошему портретисту, удачно схватить некоторые лица и ты найдешь сходство, не зная оригинала, и тебе даже покажется, что ты нередко видел их собственными глазами. Ты, может быть, подумаешь тогда, о, читатель, что ничего нет более удивительного и безумного, чем действительная жизнь, и что только ее и мог уловить писатель — как смутное отражение в негладко отшлифованном зеркале. Чтобы поведать все то, что нужно знать с самого начала, следует прибавить к упомянутым письмам, что вскоре после того, как умер отец Натанаэля, мать его взяла в дом Клару и Лотара, детей одного дальнего родственника, тоже умершего и оставившего их сиротами. Клара и Натанаэль почувствовали друг к другу сильную склонность, которой не мог бы противиться ни один человек на земле; они уже были обручены, когда Натанаэль оставил свой дом, чтобы продолжать свое образование в Г. Оттуда написал он свое последнее письмо и там же слушал лекции знаменитого профессора физики Спаланцани.

Теперь я могу спокойно продолжать свою историю; но в эту минуту образ Клары так живо возник перед моими глазами, что я не могу от него оторваться, как это всегда случалось со мной, когда она с прелестной улыбкой смотрела на меня. Клару нельзя было назвать красивой; так думали все, кто понимал красоту, так сказать, казенным образом. Но архитекторы хвалили соразмерность ее фигуры, художники находили, что ее затылок, плечи и грудь, пожалуй, уж слишком целомудренны, но зато все влюблялись в ее дивные, как у Марии-Магдалины, волосы и в особенности распространялись о колорите Батони. Один из них, сущий фантазер, пристрастным образом сравнил глаза Клары с озером Рейсдаля, в котором отражаются чистая лазурь безоблачного неба, лес, цветистые луга, весь богатый ландшафт пестрой, веселой жизни.

Но поэты и музыканты шли еще дальше. "Что озеро? Что зеркало? — говорили они. — Разве случилось нам видеть, чтобы глаза этой девушки не сияли дивной гармонией? Глядя на нее, мы словно начинаем слышать пленительные небесные напевы, которые проникают к нам в душу так, что все в ней просыпается и воскресает? Если же мы при этом поем не особенно умно, то, вероятно, сами немного значим, и это мы ясно читаем в тонкой улыбке, которая скользит по губам Клары, когда мы начинаем изображать нечто, претендующее быть песней, хотя это всего лишь отдельные звуки, бессвязные и хаотично скачущие". Так оно и было. У Клары было живое и сильное воображение веселого, беспечного ребенка, глубоко чувствительное нежное сердце и пронизательный ум. Сомнительные, уклончивые люди не имели у нее успеха. Она была немногословна, несмотря на свою открытую натуру, но ее светлый взор и тонкая ироническая улыбка говорили: "Милые друзья мои, как можете вы заставить меня смотреть на ваши расплывчатые теневые картины как на настоящие фигуры, полные движения и жизни?"

Многие считали Клару холодной, бесчувственной и прозаичной; но другие, более глубоко и ясно понимающие жизнь, любили эту сердечную, умную, доверчивую, как дитя, девушку, но никто не любил ее больше Натанаэля, который бодро и весело продвигался в постижении наук и искусств. Клара тоже всей душой привязалась к своему милому; первая тень омрачила ее жизнь, когда он с ней расстался. С каким восторгом бросилась она в его объятия, когда он, как и обещал в последнем письме к Лотару, возвратился в родной город и вошел в свой дом. Случилось так, как Натанаэль и предполагал; в ту минуту, как он увидел Клару, он позабыл и ее глубокомысленное письмо, и адвоката Кошпелиуса, все дурные настроения улетучились.

Однако Натанаэль был прав, когда писал своему другу Лотару, что неприятный образ продавца барометров Кошпола враждебно повлиял на его жизнь. Все это почувствовали, так как в первые же дни обнаружилась в Натанаэле очень большая перемена. Он впал в мрачное раздумье и казался таким странным, каким никогда его не видали. Вся жизнь его была наполнена сновидениями и предчувствиями; он все время твердил, что всякий человек, считающий себя свободным, на самом деле служит страшной игре темных сил, и бесполезно с этим бороться, лучше смиренно покориться воле судьбы. Он заходил так далеко, что утверждал: безумие верить, будто в науке и искусстве можно

творить самостоятельно, так как вдохновение, без которого невозможно творить, не рождается в душе, а есть только воздействие какого-нибудь высшего начала.

Разумной Кларе были в высшей степени противны эти мистические бредни, но, по-видимому, всякие возражения не имели результата. Только тогда, когда Натанаэль заявил, что Кошпелнус — это злое начало, которое подчинило его себе с той самой минуты, когда он подслушивал за занавеской, и что этот отвратительный демон ужаснейшим образом помешает счастью их любви, Клара сделалась очень серьезна и сказала:

— Да, Натанаэль, ты прав. Кошпелнус — злое, враждебное начало, он может оказать страшное, разрушительное действие, как дьявольская сила, которая явственно вторглась в нашу жизнь, но только в том случае, если ты не изгонишь его из своего ума и сердца. Пока ты в него веришь, он существует, его могущество заключается в твоей вере!

Натанаэля очень рассердило то, что Клара полагала, что демон существует только в его душе, он был готов выступить перед ней с целым мистическим трактатом о дьяволе и темных силах, но Клара, к немалому неудовольствию Натанаэля, с досадой перебила его какой-то небрежной фразой. Он считал, что холодным и нечувствительным душам недоступны такие глубокие тайны, не осознавая, что к таким низменным натурам причисляет и Клару, — он не оставлял попыток посвятить ее в эти тайны. Рано утром, когда Клара помогала готовить завтрак, он стоял подле нее и читал ей всякие мистические книги, так что Клара наконец спросила:

— Милый Натанаэль, что если я тебя самого сочту злым началом, враждебно влияющим на мой кофе? Ведь если я брошу все и буду смотреть, как ты того желаешь, только на тебя, когда ты читаешь, то кофе убежит и все останутся без завтрака!

Натанаэль в сердцах захлопнул книгу и выбежал из комнаты. Прежде он особенно хорошо писал милые, живые рассказы, которые Клара слушала с величайшим удовольствием; теперь его сочинения были мрачны, непонятны и бесформенны; Клара не говорила ему этого, щадя его, но он прекрасно понимал, как могла бы она отозваться о его творениях. Ничего не было для нее убийственнее скуки; в ее взгляде и речах сквозила тогда неудержимая сонливость. Сочинения Натанаэля были действительно очень скучны. Его досада на холодность и прозаичность Клары вес возрастала, Клара же не могла побороть своего неудовольствия туманным, мрачным и скучным мистицизмом Натанаэля, и так они в душе все более и более отдалялись друг от друга, сами того не замечая.

Натанаэль себе признавался, что образ отвратительного Кошпелнуса побледнел в его воображении и ему часто бывало трудно живо описать его в своих сочинениях, где он выступал в роли злого рока. Тогда ему пришлось в голову избрать сюжетом одного из стихотворений свое мрачное предчувствие, будто Кошпелнус помешает его счастью. Он представил в стихах себя и Клару: их соединяют узы верной любви, но время от времени точно какая-то черная рука является в их жизни и всякий раз лишает их какой-нибудь из радостей. Наконец, когда они стоят уже перед алтарем, появляется страшный Кошпелнус и дотрагивается до прекрасных глаз Клары; кровавые брызги обжигают грудь Натанаэля. Кошпелнус хватает его и бросает в пылающий огненный круг, который вертится с быстротою смерча, со страшным ревом, увлекая его за собой. Кажется, будто ураган гневно бичует пенящиеся волны, и они вздымаются подобно черным, белоголовым великанам.

Сквозь этот дикий рев слышит он голос Клары: "Разве не можешь ты на меня взглянуть? Кошпелнус обманул тебя, это не мои глаза опалили твою грудь, это горячие капли твоей собственной крови, — мои глаза невредимы, посмотри на меня!" Натанаэль думает: "Это — Клара, она будет со мной вечно". Мысль эта с силой пробивает огненный круг, он перестает вращаться, и в черной бездне замирает рев бури. Натанаэль смотрит в глаза Клары; но из этих глаз приветливо взирает на него сама смерть. В то время как Натанаэль сочинял эти стихи, он был очень спокоен и весел, он переделывал каждую строчку и, увлекшись мистической стороной, не успокоился до тех пор, пока все не стало гладко и благозвучно. Когда же он наконец завершил свой труд и прочел стихи вслух, его охватили страх и дикий ужас. "Чей это страшный голос?" — воскликнул Натанаэль. Вскоре, однако, ему снова показалось, что это — очень удачное стихотворение и он решил, что оно должно воспламенить холодные чувства Клары, хотя навряд ли смог бы объяснить, зачем воспламенять Клару и к чему, собственно, приведет то, что он будет пугать ее страшными образами, предсказывающими ей ужасную судьбу, которая разрушит ее счастье.

Натанаэль и Клара сидели в маленьком садике возле дома; Клара была очень весела, ибо те три дня, что Натанаэль писал свое новое стихотворение, он не досаждал ей своими снами и предчувствиями. Натанаэль так же весело и живо говорил о радостных вещах, как бывало прежде, так что Клара сказала:

— Ну, теперь ты опять мой, видишь, как мы провели этого злого Кошпелнуса?

Тут только Натанаэль вспомнил, что у него в кармане лежат стихи, которые он собирался ей прочесть. Он тотчас же вынул листки и стал читать, а Клара, ожидая по обыкновению чего-нибудь скучного, принялась спокойно вязать. Но по мере того, как все более и более стали стучаться тучи, она оставила свою работу и стала пристально смотреть Натанаэлю в глаза. Тот безудержно продолжал свое чтение, щеки его горели от внутреннего жара, из глаз катились слезы. Наконец он кончил и, застонав в совершенном изнеможении, схватил руку Клары и вздохнул, словно в безнадежной скорби: — Ах, Клара, Клара!

Клара нежно прижала его к сердцу и проговорила тихо, но медленно и серьезно: "Натанаэль, дорогой мой Натанаэль! Брось в огонь эту безумную, нелепую, сумасшедшую сказку!"

Тут Натанаэль вскочил, оттолкнул от себя Клару и, вскричав: "Проклятый, бездушный автомат!" — бросился прочь.

Оскорбленная Клара залилась горькими слезами: "Ах, он никогда не любил меня, он не понимает меня!" — рыдала она.

Тут в беседку вошел Лотар, и Клара вынуждена была рассказать ему о том, что случилось. Он всем сердцем любил сестру, каждое слово ее обиды жгло ему душу так, что неудовольствие, которое он давно уже носил в сердце против мечтательного Натанаэля, разгорелось в безумную ярость.

Он пошел к Натанаэлю и стал суровыми словами упрекать его за безрассудство и жестокое отношение к любимой сестре, на что тот отвечал ему так же запальчиво. За фантастического, сумасшедшего дурака было отплачено жалким, пошлым, низменным человеком. Поединок был неизбежен. Они решили драться следующим утром за садом, выбрав по академическому обычаю остро отточенные рапиры. Молчаливые и мрачные, бродили они вокруг. Клара слышала их жаркий спор и заметила, что в сумерках учитель фехтования принес рапиры. Она догадывалась, что произойдет. Придя на место поединка, Лотар и Натанаэль все в том же мрачном молчании сбросили с себя сюртуки; с кровожадно горящими глазами они уже были готовы напасть друг на друга, как в садовую калитку вбежала Клара и бросилась к ним. Рыдая, она воскликнула:

— Ужасные, дикие люди! Убейте меня прежде, чем вы начнете сражаться!.. Разве могла бы я жить на свете, если бы мой возлюбленный убил моего брата или брат — возлюбленного.

Лотар опустил оружие и молча смотрел в землю; в душу же Натанаэля вместе с невыносимой печалью вернулась вся любовь, какую он чувствовал к прелестной Кларе в лучшие дни своей чудесной юности. Смертоносное оружие выпало из его рук, и он пал к ногам Клары.

— Простишь ли ты меня когда-нибудь, моя единственная, бесценная Клара!.. Простишь ли ты меня, дорогой брат мой Лотар!

Лотар был тронут глубокой скорбью друга; плача, обнялись эти трое примиренных людей и поклялись никогда больше не расставаться и вечно любить друг друга.

Натанаэль чувствовал себя так, будто с души его свалилась огромная тяжесть, пригibasившая его к земле, и будто, оказав сопротивление темной силе, завладевшей им, он спас все свое существо, которому грозило уничтожение. Еще три блаженных дня прожил он около милой, а потом отправился в Г., где должен был пробыть еще год, после чего собирался навсегда возвратиться в родной город.

Все, что случилось из-за Кошпелнуса, скрыли от матери; все знали, что она не могла вспоминать о нем без содрогания: как и Натанаэль, она винила его в смерти своего мужа.

Как удивился Натанаэль, когда, направляясь в свою квартиру, увидел, что дом, где он жил, сгорел и над фундаментом возвышались лишь обгоревшие, голые стены. Несмотря на то, что пожар начался в лаборатории аптекаря, жившего в нижнем этаже, и пламя сразу же охватило низ дома, смелым друзьям Натанаэля все же удалось вовремя проникнуть в его комнату, находившуюся в верхнем этаже, и спасти его книги, рукописи и инструменты. Все это они в целости перенесли в другой дом, где сняли комнату, которую Натанаэль и занял. Он не придавал особого значения тому, что его помещение оказалось против квартиры профессора Спаланцани, ему также не показалось странным, что из его окна видна комната, где в одиночестве часто сидела Олимпия, так что он мог рассмотреть ее фигуру, хотя черты лица оставались смутны. Но в конце концов ему бросилось в глаза то, что Олимпия целыми часами оставалась в той самой позе, в какой он ее однажды увидел через стеклянную дверь; она все также сидела за маленьким столиком, ничего не делая, и смотрела на него неподвижным взором; он должен был признаться, что никогда не видел такой красивой фигуры, но, храня в сердце образ Клары, оставался равнодушен к неподвижной Олимпии и лишь изредка мельком взглядывал на эту красивую статую.

Однажды, когда он сидел и писал письмо Кларе, кто-то тихонько постучался в дверь; он отозвался, дверь отворилась, и показалась мерзкая физиономия Коппола. Натанаэль весь затрепетал, но, помня то, что сказал ему Спаланцани о своем соотечественнике и что он так свято обещал своей

возлюбленной относительно Коппелиуса, он устыдился своего ребяческого страха перед привидениями, постарался взять себя в руки и сказал так спокойно и непринужденно, как только мог: — Я не покупаю барометров, ступайте, приятель, ступайте!

Но Коппола вошел в комнату и проблеял хриплым голосом, растягивая широкий рот в безобразной улыбке и сверкая из под седых ресниц маленькими глазками:

— Э, не барометр, не барометр! У меня есть кароши глаза, кароши глаза!

Натанаэль в ужасе воскликнул:

— Безумец! Как можешь ты торговать глазами? Какие глаза?!

Коппола же отложил в сторону свои барометры, запустил руки в широкие карманы и, вытащив оттуда очки и лорнеты, стал раскладывать их на столе:

— Ну-ну, очки, очки, надевать на нос, вот мои глаза, кароши глаза!

Бормоча так, он вынимал все новые и новые очки, так что, сваленные на столе, они начали странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз смотрели на Натанаэля, судорожно мигая; он не мог от них оторваться; все страшнее и страшнее скрещивались сверкающие взгляды и пронзали своими багровыми лучами грудь Натанаэля. Охваченный невыразимым ужасом, он закричал:

— Остановись же, остановись, ужасный человек! Он крепко схватил руку Коппола, который полез было в карман, чтобы достать очередные очки, хотя весь стол уже был ими завален. Коппола мягко высвободил свою руку и с противным смехом проговорил:

— А, не для вас — так вот еще стекла! Он сгреб все очки, спрятал их и вынул из бокового кармана множество больших и маленьких подозрных труб.

Как только очки исчезли, Натанаэль совершенно успокоился и, вспомнив о Кларе, сказал себе, что сам вызвал из души ужасный призрак и что Коппола есть просто честный механик и оптик, а не выходец с того света и не двойник проклятого Коппелиуса. К тому же и в стеклах, которые Коппола теперь выложил на стол, не было ничего особенного и еще менее чего-либо призрачного, как в очках; чтобы все загладить, Натанаэль решил и в самом деле что-нибудь у Коппола купить. Он взял маленькую, очень изящно отделанную карманную подозрную трубу и, желая ее испробовать, посмотрел в окно. Никогда в жизни не встречал он стекла, которое бы так чисто и отчетливо приближало предметы. Невольно он стал смотреть в комнаты Спаланцани. Олимпия, как всегда, сидела у маленького стола, положив на него руки и сплетя пальцы. Только теперь Натанаэль хорошо рассмотрел ее дивно прекрасное лицо. Лишь глаза, по-прежнему, казались ему странно неподвижными и безжизненными. Однако, когда он начал пристально рассматривать глаза Олимпии в подозрную трубу, Натанаэлю показалось, что они излучают какой-то лунный блеск. Как будто только теперь обрели они дар зрения, и взгляд их становился все живее и живее. Натанаэль стоял у окна точно завороченный, не в силах отвлечься от созерцания небесно прекрасной Олимпии.

Покашливание и шарканье пробудило его от грез. За его спиной стоял Коппола:

— Три цехина — три дуката,— проговорил он. Натанаэль, совершенно забывший про оптику, поспешно отсчитал требуемую сумму.

— Ну как? Карош стекло? Карош? — спросил Коппола своим отвратительным голосом, состроив кривую улыбку.

— Да, да, да! — с досадой отвечал Натанаэль,— прощайте, приятель.

Коппола вышел из комнаты, бросая на Натанаэля странные косые взгляды. Натанаэль слышал, как он громко смеялся на лестнице. "Ну, да,— подумал Натанаэль,— он смеется, потому что я слишком дорого заплатил за эту маленькую трубу, слишком дорого заплатил!" Когда он повторял эти слова, по комнате пронесся чей-то глубокий, предсмертный вздох, и у него перехватило дыхание от ужаса. Но ведь это он сам так вздохнул, он отлично понимал это. "Клара,— сказал он себе,— совершенно права, считая меня глупым духовидцем: это в самом деле глупо, и даже более чем глупо, что меня так тревожит дурацкая мысль, что я слишком дорого заплатил Копполе за его стекло; я не вижу для этого никакой причины". Он сел за стол, чтобы закончить письмо Кларе, но, взглянув в окно, убедился, что Олимпия все еще на прежнем месте, и в ту же минуту вскочил, точно увлекаемый какой-то непреодолимой силой, схватил трубу Коппола и не мог оторваться от созерцания Олимпии. до тех пор, пока его друг и названный брат Зигмунд не зашел за ним, чтобы вместе идти на лекцию профессора Спаланцани. Занавеска на двери в роковую комнату была плотно задернута, и ни теперь, ни в последующие два дня он не мог увидеть Олимпию, несмотря на то, что постоянно стоял у окна и смотрел в подозрную трубу Коппола. На третий день занавесили даже окна. Полный отчаяния, мучимый тоской и пылким желанием, он вышел в город. Образ Олимпии витал перед ним в воздухе, выступал из-за кустов и смотрел на него из светлого ручья большими, сверкающими глазами. Образ же Клары исчез из его сердца; думая только об Олимпии, он громко воскликнул:

— О, прекрасная высокая звезда моей любви! Для того ли ты взошла надо мной, чтобы тотчас же исчезнуть и покинуть меня?

Возвращаясь к себе, он заметил, что в доме Спаланцани царит шумное движение. Все двери были открыты настежь, вносили разную утварь, окна в первом этаже были распахнуты, деятельные служанки сновали взад и вперед с большими щетками, столяры и обойщики со страшным шумом стучали и колотили. Натанаэль в изумлении остановился посреди улицы; тут к нему подошел Зигмунд и спросил со смехом:

— Ну, что скажешь о старике Спаланцани?

Натанаэль ответил, что ничего не может сказать, ибо ничего не знает о профессоре, но что его удивляет непривычное оживление в этом обычно тихом и мрачном доме. Тут он узнал от Зигмунда, что Спаланцани устраивает завтра большой праздник с концертом и балом, на который пригласил половину университета. Говорили, что Спаланцани в первый раз покажет свою дочь Олимпию, которую так долго скрывал от людских глаз.

Натанаэль нашел у себя пригласительную карточку и в назначенный час с сильно бьющимся сердцем явился к профессору, когда уже начали съезжаться экипажи и горели огни в разукрашенных залах.

Общество было многочисленно и блестяще. Олимпия явилась в роскошном, изящном платье. Нельзя было не восхищаться ее прекрасным лицом и фигурой. Она была, по-видимому, слишком сильно затянута, отчего и происходил какой-то странный изгиб спины и осиная тонкость талии. В ее осанке и движениях было что-то размеренное и напряженное, что многим не нравилось, но все приписывали это неловкости, которую она испытывала в обществе. Начался концерт. Олимпия с большим искусством играла на фортепиано и так же хорошо спела браваурную арию чистым, почти резким хрустальным голосом. Натанаэль был в совершенном восторге; он стоял в самом последнем ряду, и черты Олимпии показались ему несколько иными при ослепительном блеске свечей. Он незаметно вынул подзорную трубу Копполы и стал смотреть через нее на прекрасную Олимпию. И тогда он увидел, что ее взор устремлен на него, и этот взор, в котором так ясно читались любовь и тоска, глубоко проникал в его душу.

Искусные руды казались Натанаэлю небесным ликованием Души, просветленной любовью; когда же в конце каденции по зале рассыпалась длинная, звучная трель, ему почудилось, что его вдруг обняли страстные руки; он не мог более сдерживаться и в порыве восторга громко воскликнул: "Олимпия!" Все обернулись, многие засмеялись. А соборный органист состроил еще более мрачное лицо, чем обычно, и сказал только: "Ну, ну!" Концерт был окончен, и начался бал.

"Танцевать с нею, с нею!" В этом была цель всех желаний и стремлений Натанаэля. Но как отважиться пригласить ее, царицу бала? Однако, когда начались танцы, он, сам не зная как, очутился возле Олимпии, которую никто еще не пригласил, и, с трудом пролепетав несколько слов, взял ее за руку. Рука Олимпии была холодна как лед, на него повеяло холодом смерти! Он взглянул в глаза Олимпии, которые засветились любовью и желанием, и в то же мгновение ему показалось, что по этой холодной руке заструились потоки горячей крови и забился пульс. В душе Натанаэля еще сильнее разгорелась жажда любви, он обнял прекрасную Олимпию и помчался с ней в танце.

Натанаэль всегда считал, что танцует в такт с музыкой, но по особой ритмической точности, с какой двигалась в танце Олимпия, направляя в то же время и его, он скоро заметил, как мало держится такта. Тем не менее он не хотел танцевать ни с какой другой женщиной и готов был убить всякого, кто бы ни подошел, чтобы пригласить Олимпию. Но это случилось всего два раза; к его удивлению, Олимпия, когда начинался танец, всякий раз оставалась на месте, и он не упускал случая снова ее пригласить.

Если бы Натанаэль мог видеть что-нибудь, кроме прекрасной Олимпии, то непременно возникла бы какая-нибудь ссора или спор, ибо было ясно, что тихий, с трудом сдерживаемый смех, который возникал среди молодых людей, то в том, то в другом углу, относился к Олимпии, на нее бросали почему-то очень странные взгляды. Разгоряченный танцами и вином, Натанаэль совершенно забыл обычную свою робость. Он сидел рядом с Олимпией, держа ее руку в своей, и с большим вдохновением и пылом говорил ей о любви, выражаясь словами, которых не понимал ни сам он, ни Олимпия. Впрочем, она, может быть, и понимала, потому что не сводила с него глаз и время от времени вздыхала: "Ах, ах, ах!" — "О, чудная, небесная дева! Луч из обетованной страны любви! Глубокая душа, в которой отражается все мое существо!" — говорил Натанаэль и много еще другого в таком же роде, а Олимпия все только вздыхала: "Ах, ах, ах!"

Профессор Спаланцани несколько раз проходил мимо счастливой пары и, глядя на них, улыбался с каким-то странным самодовольством. Между тем, несмотря на то, что он пребывал в совершенно ином мире, Натанаэль вдруг заметил, что в доме профессора стало совсем темно; он посмотрел вокруг и к немалому своему удивлению увидел, что в зале догорают две последние свечи, уже готовые погаснуть. Музыка и танцы давно кончились. "Разлука! Разлука!" — в отчаянии вскричал Натанаэль;

он поцеловал руку Олимпии, склонился к ее лицу, и его пылающие губы встретились с ее ледяными устами! Он снова содрогнулся от ужаса: ему вдруг пришла на ум легенда о мертвой невесте; но Олимпия крепко прижала его к себе, и казалось, что поцелуй вдохнул в ее уста жизнь.

Профессор Спаланцани медленно прошел по опустевшей зале, звук его шагов повторяло эхо, и фигура его вместе с колеблющейся тенью имела страшный, призрачный вид.

— Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня, Олимпия? Одно только слово! Любишь ли ты меня? — шептал Натанаэль, но Олимпия встала и вздохнула только:

— Ах, ах!

— Прекрасная, чудная звезда любви! — продолжал Натанаэль, — ты явилась мне и будешь вечно сиять, освещая мне душу!

— Ах, ах! — отвечала Олимпия, удаляясь. Натанаэль пошел за ней; они очутились перед профессором.

— Вы необыкновенно живо беседовали с моей дочерью, — промолвил Спаланцани с улыбкой, — если вы находите удовольствие в разговоре с этой несмелой девушкой, то мы будем рады видеть вас у себя.

Когда Натанаэль вышел из дома профессора, в груди его сияло необъятное небо.

Все последующие дни праздник Спаланцани был предметом толков и пересудов, хотя профессор сделал все для того, чтобы произвести впечатление и блеснуть великолепием, насмешники-студенты не преминули рассказать про разные неловкости и странности, которые были замечены, в особенности же нападали на неподвижную, безмолвную Олимпию, которую, невзирая на красивую внешность, упрекали в совершенной тупости, и в этом видели причину того, что Спаланцани так долго скрывал ее от общества. Натанаэль слушал эти толки с затаенным гневом, но молчал, ибо полагал, что не стоит доказывать этим молодцам, что их собственная глупость мешает им разглядеть глубокую, прекрасную душу Олимпии.

— Сделай милость, братец, — сказал однажды Зигмунд, — скажи мне, как это тебя угораздило втрескаться в эту восковую фигуру, в эту деревянную куклу?

Натанаэль хотел гневно ему возразить, но сдержался и сказал только:

— Скажи мне, Зигмунд, как при твоём живом уме и склонности ко всему прекрасному ты мог не заметить небесной красоты Олимпии? Но я должен благодарить за это судьбу, ибо именно по этой причине ты не станешь моим соперником; иначе один из нас должен был бы погибнуть.

Зигмунд, увидев, что происходит с его другом, постарался переменить тему разговора и, сказавши, что в любви никогда нельзя судить о предмете, прибавил:

— Однако странно, что многие судят об Олимпии так же, как я. Она показалась нам — не принимай это близко к сердцу — неприятно неподвижной и бездушной. Ее фигура и лицо соразмерны и правильны, это верно, ее можно было бы счесть красивой, если бы взгляд ее не был так безжизнен, я сказал бы, лишен зрительной силы. Ее походка как-то странно размеренна, каждое движение выверено, точно у заводного механизма. Ее игра и пение отличаются совершенством поющей машины, то же самое можно сказать и про то, как она танцует. На нас Олимпия произвела какое-то отталкивающее впечатление: все время казалось, что она только изображает живое существо, — тут кроется какая-то тайна.

Натанаэль не дал волю горькому чувству, которое охватило его при словах Зигмунда, он поборол свою досаду и только сказал очень серьезно:

— Очень может быть, что Олимпия не нравится таким холодным и прозаичным людям, как вы. Только чувству поэта открывается то, что сходно с ним по своей натуре. Только в меня проник ее любящий взор, пронизав сиянием мое сердце и мысли, только в любви Олимпии нахожу я отражение себя самого. Неужто, плохо то, что она не изрекает плоских речей, как другие поверхностные люди? Она немногословна, это правда, но ее немногие слова являются настоящими иероглифами внутреннего мира, полного любви и высшего познания духовной жизни через созерцание вечного бытия. Но вам не дано этого понять, и все мои слова напрасны.

— Спаси тебя Бог, брат мой! — промолвил Зигмунд очень мягко и печально, — мне кажется, что ты на дурной дороге. Ты можешь рассчитывать на меня, когда все... нет, я больше ничего не скажу!

Натанаэль вдруг почувствовал, что холодный, прозаический Зигмунд очень ему предан, и он горячо пожал протянутую ему руку.

Натанаэль совершенно позабыл, что на свете существуют Клара, которую он когда-то любил, мать, Лотар, —

все улетучилось из его памяти, он жил только Олимпией, у которой проводил ежедневно по несколько часов, распространяясь о своей любви, о симпатии, возгоревшейся к жизни, о психическом сродстве, и Олимпия слушала его с неизменным вниманием. Натанаэль извлек из недр своего пись-

менного стола все, что он когда-то насочинял. Стихотворения, фантазии, видения, романы, рассказы, вперемешку со всевозможными возносящимися к облакам сонетами, стансами и канцонами,— все это он читал Олимпии часами, не зная усталости. Никогда еще не было у него такой благодарной слушательницы. Она не вязала и не вышивала, не смотрела в окно, не кормила птичку, не играла с комнатной собачкой или любимой кошкой, не вертела в руках бумажных фигурок, она вообще ничего не делала и при этом не зевала и не покашливала, словом, сидела не шелохнувшись, устремив неподвижный взор в глаза возлюбленного, и взор этот становился все пламенней и живее. Только тогда, когда Натанаэль вставал и целовал ей руку, а иногда и в губы, она говорила: "Ах, ах!", а потом: "Доброй ночи, мой милый!"

"О, дивная, глубокая душа! — восклицал Натанаэль, возвращаясь в свою комнату, — только ты одна и можешь меня понять". Он трепетал от восторга, думая о том, какое дивное созвучие было в чувствах его и Олимпии; ему казалось, что вся душа ее внимала его поэтическому дару и что он слышит голос ее души. Вероятно, так оно и было, ибо Олимпия произносила только те слова, которые упомянуты выше. Когда же в моменты просветления и трезвости, например утром, сейчас же после пробуждения, Натанаэль вспоминал о совершеннейшей пассивности и бессловесности Олимпии, то говорил себе: "Что такое слова? Взгляд ее небесных глаз говорит мне больше всяческих речей. Разве можно дитя небес заключить в тесный круг жалких земных потребностей?"

Профессор Спаланцани, по-видимому, был очень рад отношениям, которые возникли между Натанаэлом и его дочерью; его удовольствие являло себя в разных мелких признаках; когда же Натанаэль решился наконец намекнуть на свое желание обручиться с Олимпией, он расплылся в улыбке и заявил, что предоставляет дочери вполне свободный выбор. Ободренный этими словами и весь пламенея любовью, Натанаэль решил на другой же день потребовать от Олимпии, чтобы она откровенно и ясно высказала то, о чем давно поведал ему ее дивный взор, то есть что она желает принадлежать ему навеки. Он принялся искать кольцо, которое подарила ему при расставании мать, чтобы вручить его Олимпии как символ своей преданности и зарождающейся совместной цветущей жизни. При этом ему попались под руку письма Клары и Лотара, но он равнодушно отбросил их в сторону, нашел кольцо, спрятал его в карман и полетел к Олимпии.

Поднимаясь по лестнице, он услышал страшный шум, доносившийся, похоже, из рабочего кабинета Спаланцани. Раздавались топанье, треск, хлопанье, удары в дверь, и ко всему этому присоединились брань и проклятия:

"Пусти, пусти, проклятый негодяй! Ты посвятил этому душу и тело? Ха, ха, ха, ха!.. Но ведь и мы не сидели сложа руки! Глаза-то ведь сделал я, я! — А я — заводной механизм! — Болван ты со своим механизмом.— Проклятая собака, безмозглый часовщик! — Пошел вон! — Сатана! — Стой, скотина! Стой! — Убирайся! — Пусти!.."

То были голоса Спаланцани и ужасного Кошпелиуса, которые ругались и наскакивали друг на друга. Натанаэль ворвался в комнату, охваченный безотчетным страхом. Профессор держал за плечи какую-то женскую фигуру, а итальянец Кошпола держал ее за ноги, и оба, яростно споря, тянули ее в разные стороны.

Натанаэль в смертельном ужасе отпрянул, узнав фигуру Олимпии. Он хотел уже было броситься к ним, чтобы отнять возлюбленную у этих разъяренных людей, но в эту минуту Кошпола со страшной силой вырвал фигуру из рук профессора и нанес ею Спаланцани такой сокрушительный удар, что тот повалился на стол, где стояли бутылки, реторты, колбы и стеклянные цилиндры. Все эти сосуды разлетелись на тысячи осколков. Кошпола перекинул женскую фигуру через плечо и с мерзким визгливым смехом побежал вниз по лестнице, задевая за ступени ее безобразно свешивающимися ногами, которые вращались и с деревянным стуком бились о ступени.

Натанаэль застыл на месте. Он слишком отчетливо увидел, что на смертельно бледном, восковом лице Олимпии нет глаз, на их месте чернели дыры: это была бездушная кукла. Спаланцани катался по полу, стеклянные осколки поранили ему голову, грудь и руку, кровь текла ручьями, но он собрал все свои силы и закричал: "За ним, в погоню! Что же ты медлишь! Кошпелиус, Кошпелиус! Он украл у меня мой лучший автомат! Я работал над ним двадцать лет, вложил в него всю душу; механизм, речь, походка — все мое дело, лишь глаза, глаза похищены у тебя! Проклятый мерзавец! Верни мне Олимпию, вот тебе глаза!" Натанаэль увидел на полу пару кровавых глаз, устремленных на него. Спаланцани схватил их здоровой рукой и швырнул в Натанаэла, так что они ударились об его грудь. Тут безумие впилося в него огненными когтями, вошло в его душу, терзая ум и сердце. "Гей, гей, гей! Огненный круг! Огненный круг, вертись веселей, веселей. Вертись, деревянная кукла, вертись, красotka, живей!" Он бросился на профессора и схватил его за горло. Он задушил бы его, если бы на шум не сбежались люди; они оттащили неиствующего Натанаэла и спасли таким образом жизнь профессору, после чего перевязали ему раны. Зигмунд, несмотря на всю свою силу, не мог справиться

с беснующимся безумцем, который беспрестанно кричал ужасным голосом: "Вертись, деревянная кукла!" и изо всех сил отбивался сжатыми кулаками. Наконец общими усилиями удалось побороть его, поваливши на пол и связав веревками. Слова его перешли в ужасающий животный вой. В таком состоянии его и отвезли в сумасшедший дом.

Любезный читатель, прежде чем продолжить свой рассказ о несчастном Натанаэле, я могу уверить тебя — если ты принимаешь хоть какое-нибудь участие в искусном создателе механизмов Спаланцани,— что он совершенно излечился от своих ран. Однако он должен был оставить университет, так как история Натанаэля привлекла всеобщее внимание и вообще было признано совершенно непозволительным обманом приводить в общество вместо живой особы деревянную куклу (ведь Олимпия благополучно посещала светские чаепития). Юристы далее называли это искусным и тем более заслуживающим строго наказания подлогом, ибо он был направлен против общества и так ловко обставлен, что ни один человек (за исключением некоторых наблюдательных студентов) его не заметил, хотя теперь все разыгрывали из себя мудрецов и ссылались на разные вещи, которые казались им подозрительными. Эти господа не обнародовали, однако, ничего особенного. Ну, могло ли, например, кому-нибудь показаться подозрительным, что, по словам одного изящного господина, Олимпия против всякого обыкновения чаще ела, чем зевала? Этим, по мнению франта, подпитывалось движение скрытого механизма, отчего заметно слышался треск и т.д. Профессор поэзии и красноречия взял щепотку табаку, похлопал по табакерке, откашлялся и торжественно возвестил: — Многоуважаемые господа и дамы! Неужто вы не замечаете, в чем тут соль? Все дело в аллегории, это не что иное, как метафора! Вы понимаете меня! Sapienti sat!* Но многих из многоуважаемых господ такое объяснение вовсе не удовлетворило; история с механической куклой пустила в их душах глубокие корни, и в них поселилось самое скверное недоверие к человеческим особям. Чтобы удостовериться в том, что они влюблены не в деревянную куклу, многие обожатели требовали, чтобы их возлюбленные не совсем в такт пели и танцевали, чтобы они во время чтения вслух вязали или вышивали, играли с собачкой и т.д., а главное, чтобы они не только слушали, но и говорили сами, да так, чтобы их речи действительно выражали мысли и чувства. У многих любовный союз стал крепче и душевнее, другие же спокойно разошлись. "Да, ни в чем нельзя быть уверенным", — говорили то те, то другие. На чайных вечерах все стали страшно зевать и ничего не ели, чтобы отклонить всякое подозрение. Спаланцани, как уже было сказано, должен был уехать, чтобы избежать разбирательства, предпринятого против автомата, обманным образом введенного в человеческое общество. Копшола тоже исчез.

*Мудрому достаточно (*лат.*).

Натанаэлю казалось, что он пробудился от страшного, тяжелого сна. Он открыл глаза и почувствовал, как в душу его небесной теплотой льется неописуемое блаженство. Он лежал на кровати в своей комнате, в родительском доме, над ним склонилась Клара, а поблизости стояли мать и Лотар. — Наконец-то, наконец, дорогой мой Натанаэль, ты исцелился от этой страшной болезни и теперь снова будешь мой! — сказала Клара и обняла Натанаэля. У того от печали и радости полились из глаз слезы, и он громко простонал:

— О, Клара! Моя Клара!

Тут вошел Зигмунд, который все это время поддерживал друга в его несчастии. Натанаэль протянул ему руку:

— Ты не оставил меня, верный друг! Всякий след безумия исчез благодаря заботливому уходу матери, возлюбленной и друзей. Скоро Натанаэль совсем поправился.

Между тем их дом посетил счастье: умер старый скупой дядюшка, от которого никто ничего не ждал, и оставил матери помимо значительного состояния имение в красивой местности неподалеку от города. Туда решили переселиться мать, Лотар и Натанаэль со своей Кларой, с которой он намеревался теперь вступить в брак. Натанаэль стал удивительно кроток и мягок, как ребенок, теперь только открылась ему дивная, небесно чистая душа Клары. Никто не делал даже отдаленных намеков на прошлое. Только когда уезжал Зигмунд, Натанаэль сказал ему:

— Боже мой, друг! На какой плохой дороге я был! Но, к счастью, ангел вовремя направил меня на светлую стезю. То была моя. Клара!

Зигмунд не позволил ему продолжать, опасаясь, что могут воскреснуть болезненные воспоминания... И вот наступило время, когда четверо счастливых собрались ехать в свое имение. В полдень они, сделав много покупок, шли по улицам города. Высокая башня ратуши отбрасывала на базарную площадь гигантскую тень.

— Давай, — сказала Клара, — взойдем на башню и посмотрим на дальние горы!

Сказано — сделано! Натанаэль и Клара поднялись наверх, мать со служанкой пошли домой, а Лотар, которому не хотелось взбираться по высокой лестнице, остался ждать внизу. Влюбленные рука об руку стояли на самой высокой галерее башни и смотрели на леса, над которыми, точно гигантский город, возвышались синие горы.

— Смотри, какой странный серый кустик, он как будто движется,— сказала Клара. Натанаэль машинально опустил руку в боковой карман и, нащупав там подозрительную трубку Копполы, посмотрел в ту сторону... Перед ним была Клара. И вот кровь его судорожно запульсировала в жилах, страшно побледнев, уставился он на Клару, и вдруг огненные потоки полились из его блуждающих глаз, он изныл, как затравленный зверь, высоко подпрыгнул и, страшно захохотав, закричал пронзительным голосом: "Вертись, деревянная кукла, вертись!" — потом с ужасающей силой схватил Клару и хотел столкнуть ее вниз, но она в смертельном страхе крепко вцепилась в перила. Лотар услышал бешеный рев Натанаэля и отчаянный крик Клары. Ужасное подозрение шевельнулось в нем. Он бросился наверх, но дверь на вторую галерею была заперта. Клара кричала все громче. Не помня себя от страха и ярости, Лотар стал колотить в дверь, которая наконец распахнулась.

— Помогите! Помогите! — голос Клары слабел и вскоре замер.

— Этот безумец убил ее! — вскричал Лотар. Дверь на верхнюю галерею тоже была заперта. Отчаяние придало ему силы, он сорвал дверь с петель. Боже праведный! — Клара, переброшенная безумным Натанаэлем за перила, повисла в воздухе. Только одной рукой держалась она за железный прут. Быстрее молнии схватил Лотар сестру, подтянул ее наверх и в то же мгновение ударил безумного кулаком в лицо с такой силой, что тот отшатнулся и выпустил свою добычу.

Лотар сбежал вниз, неся на руках бесчувственную сестру. Она была спасена. Натанаэль один неистовствовал на галерее, высоко подпрыгивая и крича: "Огненный круг, вертись! Огненный круг, вертись!". На этот дикий крик сбежались люди. Над ними возвышался, словно какой-то гигант, адвокат Коппелнус, который только что приехал в город и пришел той же дорогой на базарную площадь; хотели подняться наверх, чтобы схватить безумца, но Коппелнус сказал со смехом:

— Ха, ха! Подождите, он сам сейчас явится! — и стал смотреть вверх вместе с другими.

Натанаэль вдруг остановился как вкопанный, весь съежился и замер, но, увидев Коппелнуса, пронзительно крикнул: "А, короши глаза! Короши глаза!" — и прыгнул через перила.

Когда Натанаэль лежал на мостовой с разможенной головой, Коппелнус исчез в толпе...

Спустя несколько лет в отдаленной местности видели Клару, сидевшую на крыльце красивого деревенского домика рядом с приветливым мужчиной; подле них играли двое веселых мальчуганов. Из этого можно заключить, что Клара обрела спокойное семейное счастье, отвечающее ее веселой, жизнерадостной натуре, которого никогда не смог бы дать ей Натанаэль с его вечным душевным разладом.

ИГНАЦ ДЕННЕР

В давние, давно минувшие времена в диком, безлюдном лесу неподалеку от Фулды жил бравый охотник по имени Андрес. Он был егерем его сиятельства графа Алонса фон Ваха, которого сопровождал в дальних путешествиях по прекрасной Италии, и однажды, когда они на ненадежных дорогах Неаполитанского королевства подверглись нападению разбойников, благодаря своему уму и храбрости спас ему жизнь.

На постоялом дворе в Неаполе, где они останавливались, жила бедная девушка, сирота, но писаная красавица, с которой хозяин обращался очень сурово и поручал ей самую грязную работу во дворе и на кухне. Андрес близко к сердцу принял ее участь, постарался, насколько мог, утешить ее ласковыми словами, и девушку охватила такая любовь к нему, что она уже не смогла бы пережить разлуку и пожелала отправиться вместе с ним в холодную Германию. Граф фон Вах был тронут просьбами Андреса и слезами Джорджины и дал свое согласие, чтобы она села на облучок к своему возлюбленному и поделила с ними это нелегкое путешествие. Как только они пересекли границу Италии, Андрес обвенчался со своей Джорджиной, а когда они добрались наконец до владений графа фон Ваха, тот решил щедро вознаградить своего верного слугу и назначил его своим егерем. С Джорджиной и старым слугой Андрес переселился в глухой, мрачный лес, который он должен был охранять от вольных охотников и воров-дровосеков. Однако вместо заветного благосостояния, которое обещал граф фон Вах, они влачили жалкое, тягостное и нищенское существование, и очень скоро их одолели нужда и печаль. Мизерного жалования, которое платил граф, хватало лишь на то, чтобы одеть себя и Джорджину; небольшие доходы, перепадавшие ему от продажи древесины, были

редки и сомнительны, а сад, который был им выделен для ухода и пользования, нередко опустошали волки и дикие кабаны, так что нужно было постоянно быть начеку, ибо время от времени в одну ночь рушились все их надежды. При этом жизни Андреса постоянно угрожала опасность со стороны воров-дровосеков и вольных охотников.

Будучи добропорядочным и набожным человеком, готовым скорее жить в нищете, чем несправедливым образом нажить богатство, он противостоял всем соблазнам и нес свою службу преданно и отважно; а разбойничье отребье постоянно выслеживало его, и только верные доги спасали Андреса от ночных нападений. Джорджина, совершенно непривычная к местному климату и жизни в диком лесу, увядала на глазах. Смуглый цвет ее лица превратился в болезненно-желтый, живые, блестящие глаза потускнели и помрачнели, а пышный стан усыхал с каждым днем. Часто просыпалась она лунной ночью. В лесу раздавался треск выстрелов, выли доги; муж тихо вставал с лежанки и вместе с ворчащим слугой выскальзывал за дверь. И тогда она принималась страстно молиться Богу и всем святым, чтобы они уберегли ее и ее дорогого мужа от смертельной опасности и вызволили из этой ужасной глуши. Рождение сына вконец сломило Джорджину, и, лежа в постели, становясь все слабее, она уже прозревала конец своего земного пути. Охваченный мрачным предчувствием, метался несчастный Андрес; с болезнью жены все его счастье и везенье улетучились. Словно призрачные существа, дразнящие его, выглядывала из зарослей дичь, но как только он спускал курок своего ружья, она растворялась в воздухе. Он не мог более попасть ни в одного зверя, и только его слуга, искусный стрелок, заготавливал дичь, которую он должен был поставлять графу фон Ваху. Однажды он сидел на кровати Джорджины, устремив застывший взгляд на любимую жену, которая, смертельно изможденная, уже едва дышала. В глухой, беззвучной боли сжимал он ее руку, не слыша стонов мальчика, умирающего от голода. Слуга еще ранним утром отправился в Фулду, чтобы на последние сбережения купить что-нибудь для больной. Вокруг не сыскать было ни единого человеческого существа, лишь буря душераздирающе выла и стонала в черных елях, да скулили доги, словно в безутешном плаче по своему несчастному хозяину. И тут вдруг услышал Андрес звук приближающихся шагов. Он подумал, что это возвратился слуга, хотя и не ждал его так рано, но собаки выскочили наружу и принялись ожесточенно лаять. Значит, то был чужой. Андрес подошел к двери и отворил ее; навстречу ему шагнул высокий, худой человек в сером плаще и низко надвинутой на лицо дорожной шапке.

— Эх,— сказал незнакомец,— я все-таки заблудился к этом лесу! Буря бушует; когда мы спускались с гор, нас настигла ужасная погода. Не будете ли вы столь любезны, чтобы разрешить мне войти в ваш дом, отдохнуть от утомительного путешествия и подкрепиться для продолжения пути?

— Ах, сударь,— грустно отвечал Андрес,— вы попали в дом нужды и печали, и кроме стула, на котором вы можете отдохнуть, я навряд ли смогу предложить вам какое-либо другое подкрепление, моей бедной больной жене самой его не хватает, и мой слуга, которого я послал в Фулду, лишь поздним вечером принесет что-нибудь подкрепляющее.

Они вошли в комнату. Незнакомец снял шапку и плащ, под которым он держал дорожный мешок и небольшой ларец. Кроме того, он достал стилет и пару карманных пистолетов и положил их на стол. Андрес подошел к кровати Джорджины, она лежала без сознания. Незнакомец тоже приблизился, посмотрел на больную долгим, задумчивым взглядом и взял ее руку, нащупывая пульс. А когда Андрес в безграничном отчаянии воскликнул: "О, Боже, она, кажется, умирает!" — незнакомец промолвил: "Это не так, дорогой друг, успокойтесь. Ваша жена не нуждается ни в чем, кроме как в обильном, хорошем питании, а пока добрую службу сослужит ей средство, которое одновременно возбуждает и придает силы. Я, конечно, не врач, скорее, купец, но тем не менее не совсем несведущ во врачебных науках, и есть у меня одно известное еще с древнейших времен чудодейственное снадобье, которое я всегда ношу с собой и даже, пожалуй, продаю", — с этими словами незнакомец открыл ларец, достал оттуда колбу, накапал из нее на сахар несколько капель темно-красного ликера* и дал больной. Потом он извлек из дорожного мешка маленькую бутылочку превосходного рейнского вина и влил бедняжке в рот несколько полных ложек. Мальчика он положил в кровать и плотно прижал к материнской груди, а затем оставил обоих в покое. Андресу казалось, что в их глушь спустился с небес святой, дабы принести утешение и помощь. Поначалу колочий, пронзительный взгляд незнакомца испугал его, теперь же, благодаря заботливой помощи, которую тот оказал бедной Джорджине, он почувствовал к нему искреннюю симпатию. Он откровенно рассказал незнакомцу, как в результате милости, которую хотел оказать ему его господин граф фон Бах, очутился в нищете и, видать, до конца своей жизни из этой нищеты не выберется. Незнакомец утешал его, говоря, что нередко даже потерявшим последнюю надежду выпадает нежданное счастье, которое приносит все блага жизни, но нужно суметь не упустить свой шанс.

— Ах, милейший господин! — сетовал Андрес, — я верю в Бога и заступничество святых, которым мы, я и моя верная жена, с усердием молимся каждый день. Что же должен я делать, чтобы раздобыть деньги и скарб? Разве Божья мудрость не говорит о том, что греховно вожделеть сие; и хотя я на все готов ради своей несчастной жены, покинувшей свою прекрасную родину, чтобы последовать за мной в эту дикую глушь, я не решусь ни телом, ни душой несправедливо добывать эти презренные мирские блага.

Слушая речи набожного Андреса, незнакомец улыбался странной улыбкою и хотел было что-то возразить, но тут от глубокого сна пробудилась Джорджина. Чувствовала она себя чудесным образом набравшейся сил,

* Здесь — жидкость, жидкое лечебное средство.

и мальчик умиротворенно улыбался у ее груди. Андрес был вне себя от радости, он плакал, он молился, он с восторженными восклицаниями метался по дому. Тем временем возвратился слуга и приготовил как умел из принесенных продуктов скромную трапезу, в которой предложили принять участие незнакомцу. Последний же собственноручно сварил для Джорджины суп, придающий сил, бросая в него всевозможные пряности и прочие ингредиенты, которые были у него с собой. Уже был поздний вечер, и незнакомец был вынужден остаться на ночлег; он попросил, чтобы ему приготовили лежанку из соломы в той самой комнате, где спали Андрес и Джорджина. Так и сделали. Андрес, которому заботы о Джорджине не давали спокойно спать, видел, что незнакомец едва ли не при каждом слове Джорджины подскакивал, что он каждый час вставал, тихо приближался к ее постели, проверял ее пульс и капал лекарство.

Когда наступило утро, Джорджина выглядела значительно лучше. Андрес благодарил незнакомца, называя его своим ангелом-хранителем, благодарил от всего сердца. И Джорджина тоже сказала, что его, наверное, послал, чтобы спасти ее, сам Бог, услышавший ее страстные молитвы. Незнакомцу же, по-видимому, такое бурное выражение чувств было в некотором смысле в тягость; в смущении он раз за разом повторял, что был бы нелюдем, если бы не помог больной, располагая соответствующими знаниями и лекарствами. И вообще не Андрес, а *он* должен благодарить, ибо это его, невзирая на царящую в доме нужду, приняли так гостеприимно, и он ни в коем случае не хочет оставить этот долг неоплаченным. Затем он достал плотно набитый кошелек, вынул из него несколько золотых монет и протянул их Андресу. — Что вы, сударь, — почти испугался Андрес, — да как я могу взять у вас деньги? Приютить в своем доме заблудившегося в диком лесу человека — это был мой долг христианина, и если вы считаете, что это стоит какой-то благодарности, то вы уже отблагодарили меня, более чем щедро; вы спасли от смерти мою любимую жену. Ах, сударь! Я вовеки не забуду то, что вы для меня сделали, и пусть Бог наградит меня тем, что даст мне возможность своей жизнью и кровью отблагодарить вас за ваш благородный поступок.

— Вы должны принять эти деньги, славный человек, — настаивал незнакомец. — Вы и так уже задолжали своей жене, а с помощью этих денег вы сможете обеспечить ей лучшее питание и уход, ибо в этом она нуждается больше всего, дабы снова не впасть в свое предыдущее состояние и дабы дать пищу вашему мальчику. — Нет, сударь, — не соглашался Андрес, — извините меня, но внутренний голос говорит мне, что я не должен брать эти незаработанные деньги. Этот внутренний голос, которому я доверяю как высшему руководству моего святого покровителя, до сих пор надежно вел меня по жизни и надежно оберегал мои тело и душу от всех опасностей. Раз уж вы столь щедры и великодушны, то оставьте мне бутылочку вашего чудодейственного лекарства, чтобы моя жена смогла полностью выздороветь. Джорджина села в кровати, и полный боли, печальный взгляд, который она бросила на Андреса, казалось, молил его не быть на этот раз столь непреклонным и принять сей щедрый дар. Незнакомец заметил это и сказал:

— Ну, если уж вы не хотите принять мои деньги, то я подарю их вашей доброй жене, которая, я надеюсь, не отвергнет мою помощь и спасет вас от нужды, — с этими словами он подошел к Джорджине и протянул ей деньги. Джорджина смотрела на блестящие монеты светящимися от радости глазами, она не могла произнести ни слова, лишь слезы струились по ее лицу. Незнакомец повернулся к Андресу:

— Послушай, добрый человек! Может быть то, что я сейчас сообщу, поможет вам спокойно принять мой дар. Признаюсь вам, что я совсем не тот, кем выгляжу. По моему скромному платью и по тому, что путешествую я пешком, словно убогий бродячий коммерсант, вы, верно, думаете, что я беден и пробиваюсь жалким заработком, торгуя на рынках и ярмарках. Должен вам сказать, что благодаря успешной торговле превосходными драгоценностями, которой я занимаюсь уже многие годы, я стал

очень богатым человеком и лишь по старой привычке сохранил простой образ жизни. В этом дорожном мешке и ларце я храню драгоценности и старинные камни, которые стоят баснословные деньги. Я только что совершил во Франкфурте очень удачные сделки, так что то, что я подарил вашей доброй жене, не составляет и сотой части полученной мною прибыли. Кроме того, я даю вам деньги вовсе не задаром, а прошу о кое-каких услугах. Я намеривался, как обычно, выйдя из Франкфурта, добраться до Касселя, но, обходя ущелья, заблудился. При этом я обнаружил, что путь через этот лес, которого странники обычно боятся, весьма привлекателен для пешего путника, и я хочу и впредь пользоваться им, навещая при этом вас. Таким образом, вы будете принимать меня у себя два раза в год; а именно, на Пасху, когда я направляюсь из Касселя во Франкфурт, и поздней осенью, в Михайлов день, когда я следую с Лейпцигской ярмарки по Франкфурт, а оттуда — в Швейцарию и, возможно, также в Италию. За хорошую оплату вы должны будете предоставлять мне кров на один — два, а может, и три дня, и эта первая любезность, о которой я вас прошу.

Далее я прошу вас до будущей осени сохранить этот маленький ларец с товарами — в Касселе он мне не нужен и лишь мешает в пути. Не скрою, товары эти стоят многие тысячи, но я едва ли могу найти для них более надежное место: я уверен, что ваша порядочность и набожность не позволят вам даже прикоснуться к ним и вы будете тщательно их оберегать. Видите, это вторая услуга, которую вы можете мне оказать. И третье, то, о чем я вас сейчас попрошу, наверняка покажется вам самым трудным: для меня же это самое важное. Вам нужно будет оставить вашу жену на один, только на один день и вывести меня из лесу, проводив до дороги на Хиршфельд, где я остановлюсь у своих знакомых, после чего собираюсь продолжить свой путь в Кассель. Ибо кроме того, что я не очень хорошо ориентируюсь в лесу и потому могу опять сбиться с пути, что в такой местности штука не очень приятная, я еще и могу подвергнуться опасности. Во Франкфурте поговаривают о том, что банда разбойников, которая наводила страх на окрестности Шаффхаузена и хозяйничала на территориях до самого Страсбурга, теперь вроде бы переместилась ближе к Фулде, так как путешествующие из Лейпцига во Франкфурт купцы представляют собой более богатую добычу, чем грабители могли заполучить в старых местах. Вполне может быть, что во Франкфурте они взяли на заметку и меня. Так что, если я заслужил вашу признательность за спасение вашей жены, вы можете щедро меня вознаградить тем, что выведете меня из этого леса на верную дорогу.

Андрес с радостью был готов исполнить все, что от него требовали, и тотчас же собрался в дорогу, одев свою егерскую форму, забросив на плечо двустволку и прикрепив охотничий нож, а слуге приказал взять с собой двух догов. Незнакомец же тем временем открыл ларец и достал оттуда великолепные драгоценные украшения — цепочки, серьги, браслеты — и разложил их на кровати Джорджины, которая не могла скрыть своего восхищения. Когда же затем он предложил ей надеть на шею одну из самых красивых цепей, а на ее прекрасной формы руки — богатые браслеты и протянул ей маленькое карманное зеркальце, чтобы она смогла полюбоваться собой, ее охватила такой детский восторг, что Андрес укоризненно сказал незнакомцу:

— Зачем же, добрый господин, вы возбуждаете в моей несчастной жене неосуществимые желания, зачем соблазняет ее вещами, которые никогда не будут ей доступны и вообще ей не подобают. Не посчитайте это за обиду, сударь, но простая красная нитка кораллов, которую моя Джорджина носила вокруг шеи, когда я впервые увидел ее в Неаполе, в тысячу раз мне милее, чем эти сверкающие драгоценности, кажущиеся мне, право, бесполезными и обманчивыми.

— Вы слишком уж строги, — отвечал незнакомец, иронически улыбаясь, — неужели вы не разрешите своей жене хоть раз, пока она болеет, поиграть с этими прекрасными украшениями, которые вовсе не обманчивы, а самые настоящие. Разве вы не знаете, что женщинам такие вещи доставляют огромное удовольствие? А то, что, как вы говорите, такая роскошь Джорджине вашей недоступна, — с этим можно поспорить. Ваша жена достаточно красива, чтобы украшать себя подобным образом, и не известно, не станет ли она когда-нибудь достаточно богата, чтобы обладать такими украшениями и носить их.

Андрес отвечал очень серьезно и непреклонно: - Прошу вас, сударь, не смущайте своими загадочно-коварными речами мою бедную жену! Иль вы хотите совсем сбить ее с толку, чтобы пробудить в ней страсть к пышной роскоши и нарядам, и тогда она лишь явственнее будет ощущать нашу нищету и утратит покой? Соберите же ваши красивые пещи, добрый господин! Я надежно сохраню их для вас, пока вы не вернетесь, Но только скажите, когда вы собираетесь это сделать, да хранят вас небеса! Вдруг вас постигнет несчастье и вы не возвратитесь более в мой дом. Куда я должен тогда отдать ларец и как долго мне ждать вас, прежде чем передать драгоценности *там*, кого вы назовете, и могу ли я вас попросить назвать ваше имя?

— Меня зовут Игнац Деннер, — отвечал незнакомец, — и я, как вам уже известно, купец и торговец, У меня нет ни жены, ни детей, а родственники мои живут в Италии. Однако я не могу ни любить, ни

уважать их, ибо они, когда я был бедняком и жил в нужде, даже не попытались мне помочь. Если я в течение трех лет не появлюсь, вы можете оставить ларец себе, а так как я наверняка знаю, что вы и Джорджина вряд ли согласитесь принять от меня это наследство, то я подарю ларец с драгоценными украшениями вашему мальчику, которому, когда будет проходить его конфирмация, прошу дать имя Игнатиус.

Ошеломленный Андрес не знал, как ему реагировать на столь необычную щедрость незнакомого человека. Он стоял перед ним совершенно онемевший, в то время как Джорджина благодарила Деннера за его доброту и уверяла, что будет неустанно молиться Богу и всем святым, чтобы они оберегали его в далеких, нелегких странствиях и всегда приводили к ним в дом в добром здравии. Незнакомец, улыбаясь присущей только ему странной улыбкой, заметил, что молитва красивой женщины наверняка возымеет действие и обладает большей силой, чем его. Посему молитвы он оставляет ей, а в остальном будет полагаться только на свое сильное, закаленное тело и свое испытанное оружие.

Набожному Андресу это высказывание в высшей степени не понравилось, тем не менее он не произнес слов, которые уже вертелись у него на языке, и предложил Деннеру сейчас же отправиться в путь, ибо иначе он возвратится домой лишь поздней ночью и его Джорджина будет сильно тревожиться.

На прощанье Деннер еще раз настоятельно просил Джорджину надевать его драгоценности, если это доставляет ей удовольствие, ведь в этом мрачном лесу ей так не хватает развлечений, Джорджина раскраснелась от радости, ибо, конечно же, не могла подавить в себе присущую ее нации склонность к блестящим нарядам и украшениям, в особенности же к драгоценным камням.

И вот уже Деннер и Андрес торопливо шли по темному, безлюдному лесу. Доги обнюхивали густые заросли и тревожно тявкали, глядя на хозяина умными, выразительными глазами.

— Что-то здесь нечисто, — пробормотал Андрес, взвел курок своего ружья и осторожно пошел за собаками впереди купца. Время от времени ему казалось, что что-то шелестит среди деревьев, вскоре он рассмотрел вдали подозрительные фигуры, которые тут же снова исчезли в зарослях. Он уже хотел было спустить собак, но Деннер удержал его. "Не делайте этого, добрый человек! — крикнул он. — Могу поклясться, что нам ничто не угрожает". Не успел он вымолвить эти слова, как всего и нескольких шагах от них из кустов вышел высокий человек в черном, с взъерошенными волосами и большой бородой, держащий в руках ружье. Андрес вскинул свое оружие.

— Не стреляйте, не стреляйте! — воскликнул Деннер; черный человек кивнул ему и скрылся за деревьями. Наконец они вышли из лесу на оживленную дорогу.

— Благодарю вас от всего сердца за то, что проводили меня, — сказал Деннер, — возвращайтесь теперь домой. Если вы снова наткнетесь на тех людей, которых мы видели, спокойно продолжайте свой путь, ни о чем не заботясь. Делайте вид, словно ничего не заметили, держите своих собак на привязи, и вы безопасно доберетесь до своего жилища.

Андрес не знал, что и думать обо всем этом и об удивительном купце, который, будто заклинатель духов, не подпускал и подчинял врагов. Он не мог понять, зачем было нужно Деннеру, чтобы он сопровождал его. Андрес благополучно добрался домой, где его Джорджина, почти здоровая и бодрая, встала с постели и бросилась ему в объятия.

Благодаря щедрости нового знакомого маленькое хозяйство Андреса совершенно преобразилось. Когда Джорджина полностью выздоровела, он отправился вместе с ней в Фулду и кроме самого необходимого купил еще кое-что, благодаря чему их домашняя обстановка приобрела вид некоторого благосостояния. После визита незнакомца вольные охотники и воры-дровосеки, казалось, вообще исчезли из этих краев, и Андрес мог спокойно заниматься своим делом. Его охотничье счастье вернулось к нему, так что у него, как прежде, почти не бывало неточных выстрелов. Деннер появился на Михайлов день и оставался три дня. Не обращая внимания на упрямое сопротивление хозяев, он был таким же щедрым, как и в первый раз, причем уверял, что единственной его целью было улучшить их достаток, чтобы тем самым сделать свое временное пристанище более приветливым и приятным.

Теперь Джорджина могла лучше одеваться; она призналась Андресу, что незнакомец подарил ей искусно сделанную золотую заколку, какими девушки и женщины в некоторых областях Италии закалывают заплетенные и уложенные сверху волосы. Лицо Андреса помрачнело, но Джорджина, выбежав за дверь, вскоре возвратилась в такой же одежде и с такими же украшениями, какую Андрес видел ее в Неаполе. На черных волосах, в которые были изящно вплетены яркие цветы, красовалась золотая заколка, и Андрес был вынужден признаться себе, что незнакомец весьма удачно и со смыслом выбрал подарок — чтобы действительно обрадовать его Джорджину.

Сама же Джорджина утверждала, что незнакомец, вытаскивший их из глубочайшей нужды,— это наверняка ее ангел-хранитель и что она никак не может понять, почему Андрес так скуп на слова, так замкнут по отношению к Деннеру, и вообще как он может оставаться таким печальным и ушедшим в себя.

— Дорогая моя возлюбленная! — говорил Андрес.— Внутренний голос, который так настойчиво подсказывал мне, что я ничего не должен брать у этого человека не молчит и теперь. Меня часто терзают сомнения: мне кажется, что с деньгами Деннера в наш дом пришло несправедливое добро, и по этой причине я не могу по-настоящему радоваться тому, что на них приобретено. Конечно, теперь я чаще позволяю себе сытную еду со стаканом вина; но поверь мне, дорогая Джорджина, если бы однажды мне удалось хорошо продать дрова и Господь Бог ниспослал нам на несколько честно заработанных грошей больше, чем обычно, тогда стакан дешевого вина показался бы мне более вкусным, чем это дорогое вино, которое принес нам Деннер. Я не могу подружиться с этим человеком, в его присутствии мне часто становится ужасно не по себе. Ты же, наверное, заметила, дорогая Джорджина, что он никому не смотрит в лицо? И при этом временами так странно глядит своими глубоко посаженными глазами и так жутко смеется, что меня пробирает дрожь. Ах, да не подтверждаются мои опасения, но часто мне кажется, что где-то подле нас притаилась черная беда, которую Деннер когда-нибудь призовет, после того, как поймает нас в свои хитроумно расставленные силки.

Джорджина старалась отвлечь мужа от мрачных мыслей, уверяя, что у себя на родине, особенно в гостинице у своих приемных родителей нередко встречала людей, чья внешность была намного более подозрительна, но несмотря на это они оказывались прекрасными людьми. Андрес как будто бы успокоился, но в душе решил всегда быть начеку.

Вновь Деннер появился у Андреса, когда его сыну, очаровательному мальчику, точной копии матери, исполнилось девять месяцев. Как раз в этот день у Джорджины были именины; она нарядила малыша, сама облачилась в свои любимые неаполитанские одежды и приготовила праздничную трапезу, к которой Деннер присовокупил бутылку хорошего вина, достав ее из своего дорожного мешка. Когда они сидели за столом, а малыш смотрел по сторонам разумными, прекрасными глазами, Деннер заговорил:

— Ваш ребенок уже сейчас своим поведением обещает весьма многое, и очень жаль, что у вас не будете возможности достойно его воспитать. Я с удовольствием сделал бы вам одно предложение, которое вы скорее всего отвергнете, хотя оно и имеет целью ваше счастье и благополучие. Вы знаете, что я богат и что у меня нет детей, я ощущаю совершенно особую любовь и расположение к вашему мальчику. Отдайте его мне! Я отвезу его в Страсбург, где он получит прекрасное воспитание у одной моей знакомой, пожилой уважаемой женщины, и доставит большую радость и мне, и вам. Без ребенка вам будет значительно легче, вы освободитесь от огромного груза; но поторопитесь с решением, ибо я должен выехать уже сегодня вечером. Я на руках донесу ребенка до ближайшей деревни, а там найму повозку.

Слушая Деннера, Джорджина порывисто схватила сына, которого качала на коленях, и прижала к своей груди, при этом на глаза у нее навернулись слезы.

— Видите, добрый господин,— отозвался Андрес,— видите, как отвечает вам моя жена на ваше предложение, точно так же настроен и я. Может, у вас и в самом деле добрые намерения, но как же можно отнимать самое дорогое, что есть у нас на этой земле? Как можете вы называть грузом то, что является усадой нашей жизни и было ею и тогда, когда мы находились в глубочайшей нужде, из которой вы нас вытаскили? Вы сами сказали, что у вас нет ни жены, ни детей, поэтому вам, верно, незнакомо то высшее счастье, которое небеса даруют мужчине и женщине с рождением ребенка. Нет, добрый господин! Как бы ни были велики благодеяния, которые вы нам расточаете, их не сравнить с тем, насколько ценно для нас наше дитя; никакие сокровища мира не могут заменить его. Не посчитайте нас неблагодарными, добрый господин, но мы сразу и решительно отказываемся от вашего предложения. Были бы вы сами отцом, дальнейшие извинения не понадобились бы.

— Ну-ну,— мрачно произнес Деннер, глядя в сторону,— я думал, что совершу доброе дело, сделав вашего сына богатым и счастливым. Если ли вы этого не хотите, то не будем больше говорить об этом.

Джорджина целовала и пестила мальчика, как будто он избежал большой опасности и снова возвращен ей. Деннер старался держаться непринужденно и весело; но было заметно, что он сильно раздосадован. Вместо того чтобы, как он говорил, уехать в тот же вечер, он остался еще на три дня, во время которых не оставался, как обычно, с Джорджиной, а ходил с Андресом на охоту и при этом все время расспрашивал его о графе Алоисе фон Вахе. Когда Игнац Деннер впоследствии снова появлялся у Андреса, он более не упоминал о намерении забрать мальчика, был так же доброжелателен,

как и прежде, и продолжал богато одаривать Джорджину, которую к тому же неизменно поощрял в том, чтобы она не отказывала себе в удовольствии украшать себя драгоценностями из оставленного на хранение у Андреа ларца, что она, конечно же, время от времени украдкой и делала. По своему обыкновению Деннер часто пытался играть с мальчиком, но тот противился и плакал, словно знал о замысле отобрать его у родителей.

Два года подряд навещал Деннер во время своих путешествий скромное жилище в лесу; время и привычка сделали свое дело — помогли Андреасу преодолеть наконец неприязнь и недоверие к Деннеру, и он стал спокоен и весел. На третий год, осенью, когда время, в которое обычно появлялся Деннер, уже прошло, в одну из ненастных ночей, когда за окном бушевала буря, в дверь Андреаса раздался сильный стук и несколько грубых голосов принялись выкрикивать его имя. Андреас с бьющимся сердцем спрыгнул с кровати, подошел к окну и спросил, кто беспокоит его так поздно, а также пригрозил, что спустит с привязи собак. Знакомый голос отвечал, что он может открывать, что здесь друг. Когда же он с фонарем в руках открыл входную дверь, навстречу ему из темноты шагнул один лишь Деннер. Андреас сказал, что ему показалось, будто его имя выкрикивало множество голосов; Деннер же утверждал, что его сбило с толку завывание ветра. Когда они зашли в дом, Андреас, внимательнее взглянув на Деннера, немало удивился переменам в его внешности. Вместо скромной одежды и плаща на нем был теперь темно-красный камзол, подпоясанный широким кожаным ремнем, из-за которого выглядывали стилет и пистолеты; кроме того, он был вооружен еще и саблей, и даже лицо казалось изменившимся: на обычно гладком лбу прорезались резкие морщины, а густая черная борода почти скрывала рот и щеки.

— Андреас! — сказал Деннер, глядя на него своими сверкающими глазами. — Андреас! Когда я почти три года назад спас от смерти твою жену, ты просил у Бога возможности отблагодарить меня за это своей кровью и жизнью. Желание твое сбылось: настал тот миг, когда ты можешь доказать мне свою признательность и преданность. Одевайся, возьми ружье и ступай со мной, по дороге ты узнаешь остальное.

Андреас не знал, как ему реагировать, и стал уверять Деннера, что хорошо об этом помнит, что готов сделать для него все, что в его силах, если только это не противоречит порядочности, добродетели и религии.

— На этот счет ты можешь быть совершенно спокоен, — громко расхохотался Деннер, хлопая его по плечу. Тут Джорджина, дрожа от страха, схватила его за руку, что-то лепеча со слезами в голосе. Он мягко отстранил ее и сказал: — Позвольте же вашему мужу отправиться со мной, через несколько часов он вернется к вам целым и невредимым и, возможно, кое-что с собой принесет. Разве я когда-нибудь причинил вам зло? Разве с тех пор, как вы меня узнали, не делал я вам только добро? Поистине, вы исключительно недоверчивые люди.

Андреас все еще медлил; Деннер обернулся и гневно взглянул на него:

— Я надеюсь, ты выполнишь свое обещание, пришло время доказать это делом!

На этот раз Андреас быстро оделся и, выйдя с Деннером за двери, сказал:

— Все, добрый господин, готов я сделать для вас, но только вы, конечно же, не будете требовать от меня ничего несправедливого, ибо я не сделаю даже самой малости, что идет в разрез с моей совестью.

Деннер ничего не ответил, лишь быстро пошел вперед. Они продирались сквозь чащу, пока наконец не вышли на довольно большую лужайку. Деннер трижды свистнул, и эхо повторило этот звук так, что он разнесся по всем ущельям; в зарослях со всех сторон вспыхнули огни факелов, в темных проходах раздался шум и звон, и появились черные зловещие фигуры, которые окружили Деннера. Один из них выступил вперед и спросил, указывая на Андреаса:

— Это, верно, наш новый товарищ, правда, атаман?

— Да, — отвечал Деннер, — я вытащил его из постели, он должен пройти свое испытание, и оно сейчас начнется.

При этих словах Андреас словно очнулся от тупого оцепенения, на лбу его выступил холодный пот, но он взял себя в руки и с негодованием произнес:

— Значит, ты, позорный обманщик, выдаешь себя за купца, а сам занимаешься гнусным ремеслом, подлый разбойник! Никогда я не буду тебе товарищем, никогда не буду участвовать в твоих грязных делах, в которые ты, подобно сатане, вероломно хочешь меня впутать! Отпусти меня немедленно, ты, преступный злодей, и убирайся со своей шайкой из этих краев, иначе я выдам твое убежище властям и ты получишь по заслугам за все свои злодеяния; ибо теперь я знаю, кто ты: ты — черный Игнац, который бесчинствовал, грабил и убивал со своей бандой на границе. Немедленно отпусти меня! Деннер зловеще рассмеялся:

— Что, трусливый мальчишка?! Ты осмеливаешься противиться мне, ты хочешь пойти против моей воли, против моей власти? А разве ты уже не стал давно нашим товарищем? Разве не живешь ты уже почти три года на наши деньги? А жена твоя не украшает себя награбленными драгоценностями? А теперь ты стоишь перед нами и не хочешь работать на то, чем наслаждаешься? Если ты не пойдешь с нами и не проявишь себя нашим верным сотоварищем, я прикажу связать тебя и бросить в пещеру, а мои люди подожгут твою жилище и убьют твою жену и твоего мальчишку. Но все же я надеюсь, что не буду вынужден прибегнуть к подобным мерам, которые были бы лишь следствием твоего упрямства. Ну, выбирай! И пора двигаться!

Андрес понял, что его неповиновение будет стоить его любимой Джорджине и его сыну жизни; проклиная в душе Деннера, он решил притвориться, что подчиняется, но не принимать участия в грабежах и убийствах и при первой же возможности помочь раскрытию и ликвидации банды. Он объявил Деннеру, что, несмотря на свое внутреннее сопротивление, только чтобы спасти Джорджину, примет участие в походе, но при этом просит, чтобы его, как новичка, освободили от грубой работы. Деннер одобрил его решение, добавив, что ни в коем случае не требует, чтобы он стал членом банды,— напротив, он должен оставаться егерем, ибо именно в этом качестве будет им полезен сейчас и в будущем.

Выяснилось, что банда запланировала нападение на жилище одного богатого арендатора, которое находилось за пределами деревни, неподалеку от леса. Было известно, что арендатор обладает большими деньгами и драгоценностями и к тому же только что продал зерно, получив за него весьма значительную сумму, которую хранил дома. Все это обещало богатый улов. Факелы были потушены, и разбойники начали тихо продвигаться по узким тайным тропам, пока не оказались почти возле самого дома, который одни члены банды тут же окружили, а другие перелезли через стену и взломали изнутри въездные ворота; некоторые были выставлены часовыми, среди них находился и Андрес. Вскоре он услышал, как разбойники взломали двери и ворвались в дом, он слышал их ругань, их крики, вопли истязаемых. Раздался выстрел — арендатор, храбрый человек, попытался защищаться. Затем стало тихо, скрипели взломанные замки, разбойники выносили во двор ящики. Видимо, один из людей арендатора сумел убежать и добрался до деревни; потому что в ночи варут загудел тревожный колокол и вскоре после этого толпы людей с фонарями устремились вверх по дороге к жилищу арендатора. Теперь выстрел гремел за выстрелом, разбойники сбивались во дворе и поражали всех, кто приближался к стене. Они зажгли свои факелы, и Андрес, стоявший на возвышенности, мог все это наблюдать. С ужасом увидел он среди крестьян егерей в ливреях своего господина графа фон Ваха! Что было ему делать? Присоединиться к ним было невозможно, спасти его могло лишь быстрое бегство; но он словно зачарованный продолжал стоять, пригвожденный к месту, глядя во двор арендатора, где схватка становилась все более ожесточенной и убийственной; ибо сквозь маленькую калитку с другой стороны во двор ворвались охотники фон Ваха и схватились с разбойниками в рукопашной битве. Последние вынуждены были отступить; отбиваясь, они прорывались как раз в ту сторону, где стоял Андрес. Он видел Деннера, который непрерывно заряжал свое оружие и стрелял, всегда без промаха. Молодой, богато одетый мужчина, окруженный охотниками фон Ваха, видимо, был предводителем; в него и прицелился Деннер, но не успел он нажать курок, как упал с глухим вскриком, сраженный пулей. Разбойники обратились в бегство, охотники фон Ваха уже прорвались сюда, и тут, словно влекомый непреодолимой силой, Андрес рванулся к Деннеру, взвалил его на плечи и быстро побежал прочь. Его никто не преследовал, и он благополучно добрался до леса. Время от времени раздавались отдельные выстрелы, и вскоре наступила полная тишина, знак того, что разбойникам, не оставшимся лежать ранеными, посчастливилось уйти в лес, а охотники и крестьяне сочли неразумным углубляться в лесную чащу, чтобы преследовать их.

— Опустим меня на землю, Андрес! — прохрипел Деннер, — я ранен в ногу, однако, хоть и испытываю сильную боль, не думаю, что рана серьезна.

Андрес выполнил его приказание. Деннер вынул из кармана маленькую колбу; когда он ее открыл, из нее вырвался яркий свет, при котором Андрес смог внимательно осмотреть рану. Деннер был прав: на правой ноге была хоть и значительная, но оставленная выстрелом по касательной рана, которая сильно кровоточила. Андрес перевязал ее своим носовым платком, Деннер дал сигнал рожком, издав ему ответили, и тогда он попросил Андреса осторожно провести его вверх по узкой лесной тропе, ибо они почти уже на месте. И действительно, вскоре они увидели пробивающийся сквозь темные заросли свет факелов и оказались на той же лужайке, с которой выступили в свой злополучный поход и где теперь обнаружили оставшихся в живых членов банды. Все возликовали от радости, когда появился Деннер, и славил Андреса, который хранил мрачное молчание.

Выяснилось, что половина банды убиты или тяжело ранены; в то же время те из разбойников, чьей задачей было перенести добычу в безопасное место, сумели прямо в разгар боя унести много ящиков

с ценностями, а также со значительной суммой денег. Таким образом, хоть предприятие и закончилось плачевно, добыча оказалась немалой. Когда обсудили все важное, Деннер, которому тем временем была сделана хорошая перевязка и который уже почти не чувствовал боли, обратился к Андресу;

— Я спас твою жену,— сказал он,— ты же этой ночью спас меня от плена и, следовательно, от неминуемой смерти, мы квиты! Ты можешь возвращаться в свой дом. В ближайшие дни, возможно даже завтра, мы уйдем из этих мест, и ты можешь быть совершенно спокоен — ничего, подобного сегодняшнему, мы больше от тебя не потребуем. Ты всего лишь богобоязненный дурак и потому нам не подходишь. Однако будет справедливо, если ты возьмешь часть сегодняшней добычи и тем самым будешь вознагражден за мое спасение. Возьми этот мешок с золотом и не поминай меня лихом; ибо через год я надеюсь у тебя появиться.

— Будь я проклят, если возьму хоть пфенниг из вашей позорной добычи,— перекрестился Андрес.— Лишь отвратительными угрозами удалось вам принудить меня пойти с вами, за что я буду раскаиваться всю жизнь. Наверняка я взял грех на душу, когда пришел к тебе на выручку, коварный злодей! Потому что теперь ты избежишь справедливого наказания; надеюсь, что Бог простит меня в своем долготерпении. Мне чудилось, что моя Джорджина молит меня спасти твою жизнь, ибо ты спас ее, и я не мог поступить иначе, хотя на карту были поставлены моя жизнь и моя честь. Ибо, что было бы со мной, если бы меня ранили? Что было бы с моей бедной женой, с моим мальчиком, если бы меня нашли убитым среди этих нечестивых убийц? Но будь уверен, что если ты не уйдешь из этих мест, если мне станет известно хотя бы об одном совершенном здесь грабеже или убийстве, я тотчас же отправлюсь в Фулду и выдам властям твое убежище.

Разбойники хотели наброситься на Андреса, чтобы покарать его за такие речи, но Деннер остановил их:

— Оставьте, пусть глупый парень болтает, что нам с того? Андрес,— продолжал он,— ты в моей власти, а также твоя жена и мальчик. Ты, как и они, останешься невредимым, если пообещаешь мне тихо сидеть в своем жилище и ни слова никому не промолвишь о событиях этой ночи. Запомни это, ибо в противном случае месть моя будет ужасной, да и власти не простят тебе помощи в этом деле и того, что ты давно уже причастился к моему богатству. Повторяю еще раз — я хочу убраться из этих мест, о нас здесь больше не услышат.

Андрес вынужден был принять условия главаря и пообещал молчать. После этого двое разбойников вывели его немисливо запутанными тропами на широкую лесную дорогу.

Давно уже наступило светлое утро, когда вошел он в свой дом и обнял мертвенно-бледную от переживаний и страха Джорджину. Он поведал ей в общих словах, что Деннер открылся ему как бессовестный злодей, и потому он прекращает всяческое с ним общение, никогда более он не переступит порога их дома. "А как же ларец?" — прошептала Джорджина. И это тяжким грузом легло на сердце Андресу. О драгоценных украшениях, оставленных Деннером, он не подумал, и ему представилось совершенно необъяснимым, что Деннер тоже ни словом не обмолвился об этом. Он принялся размышлять, что же ему делать с ларцом. Может, отнести в Фулду и передать властям? Но как он сможет все объяснить, чтобы не нарушить данное Деннеру слово? В конце концов Андрес решил хранить сокровища до тех пор, пока не представится случай возратить их Деннеру или, еще лучше, не нарушая своего слова, передать ларец властям.

Нападение на жилище арендатора вызвало немалый страх во всей округе: это была самая дерзкая и рискованная акция, на которую разбойники отважились за последние годы, и явное доказательство того, что банда, промышлявшая сначала подлыми кражами, а затем ограблениями отдельных путников, теперь значительно окрепла. Лишь по счастливой случайности племянник графа фон Баха, сопровождаемый многочисленными людьми своего дяди, ночевал в деревне, находящейся неподалеку от дома арендатора, и немедленно поспешил на помощь крестьянам, выступающим против разбойников. Этой случайности арендатор был обязан спасением своей жизни и большей части своей наличности. Трое разбойников, оставшихся лежать на месте событий, оказались еще живы, и была надежда, что они оправятся от ран. Их перевязали и заперли в деревенской тюрьме. А утром третьего дня их обнаружили убитыми со множеством колотых ран, причем было совершенно невозможно понять, как это произошло. Все надежды получить от арестованных сведения о банде оказались тщетными. Андрес содрогался в душе, когда слышал эти рассказы, к тому же он узнал, как много среди крестьян и охотников графа фон Баха было убитых и тяжело раненых.

Усиленные патрули рейтеров из Фулды прочесывали лес, нередко появляясь и в лесном жилище; Андреса ни на минуту не покидал страх, что вдруг введут самого Деннера или кого-нибудь из банды и тот опознает его и укажет на него как на участника этого дерзкого злодеяния. Впервые в жизни его терзали угрызения нечистой совести, и только любовь к жене и сыну принуждала не нарушать уговор.

Все поиски оказались безрезультатными: напасть на след разбойников не удалось, и Андрес вскоре убедился, что Деннер сдержал свое обещание и вместе со своей бандой покинул эти края. Деньги, которые еще оставались у них от подношений Деннера, а также золотую заколку он положил в ларец, ибо не хотел более принимать на себя грех и пользоваться награбленным. И вскоре они снова впали в былую нужду и бедность. Однако, чем больше проходило времени и ничто не нарушало их спокойную жизнь, тем легче становилось у Андреса на душе. Через два года жена родила ему еще одного мальчика, но на этот раз не заболела, хотя ей так недоставало хорошей пищи и ухода.

Однажды Андрес умиротворенный сидел в предвечерних сумерках со своей женой, которая держала у груди младенца, в то время как старший играл с собакой, которой, как любимице хозяина, было разрешено заходить в дом. И тут вошел слуга и рассказал, что некий человек, кажущийся ему весьма подозрительным, уже почти час ходит вокруг дома. Андрес собрался уже взять ружье и выйти, как услышал, что кто-то произносит его имя. Он открыл окно и с первого же взгляда узнал ненавистного Игнаца Деннера, который снова был одет в купеческое серое платье и держал под рукой дорожный мешок.

— Андрес,— заявил Деннер,— на сегодняшнюю ночь ты должен дать мне приют, а завтра я отправлюсь дальше.

— Что? Ты бесстыжий, проклятый злодей,— гневно выкрикнул Андрес,— как ты осмелился снова здесь показаться? Разве не держал я честно своего слова лишь для того, чтобы и ты сдержал свое и навсегда убрался отсюда? Я поклялся, что ты никогда больше не переступишь порога моего дома. Немедленно убирайся отсюда, убийца, или я уложу тебя из моего ружья! Хотя погоди, я хочу швырнуть тебе твоё золото, твои украшения, которыми ты, сатана, хотел ослепить мою жену, а затем ты исчезнешь. Даю тебе три дня сроку, и если ты и твоя банда хоть как-то обнаружите мое присутствие, я отправлюсь в Фулду и раскрою властям все, что знаю. Если же ты осмелишься исполнить свои угрозы в адрес меня и моей жены, я отдам себя на милость Божью и выстрелю в тебя, злодея, из моего доброго ружья.— Андрес метнулся схватить ларец, но, когда он подбежал к окну, Деннера уже не было, и хотя доги обнюхали весь участок вокруг дома, следов его обнаружить так и не удалось. Андрес хорошо сознавал, что оказался в большой опасности, и поэтому еженощно был теперь начеку, но пока что все было спокойно. Похоже, Деннер приходил один. Чтобы положить конец своему страху и чтобы успокоить свою совесть, которая замучила его, Андрес принял решение более не молчать, а сообщить Совету в Фулде о своих невольных связях с Деннером и сдать ларец с драгоценностями. Он, конечно же, понимал, что не может надеяться избежать наказания, но полагал, что чистосердечное признание и раскаяние смягчат это наказание; рассчитывал он и на заступничество графа фон Ваха, который не сможет отказать ему в помощи. Вместе со своим слугой Андрес много раз прочесывал лес, но ни разу они не заметили ничего подозрительного; для его жены, казалось, опасности не было никакой, и он собрался уже отправиться в Фулду, чтобы осуществить свое намерение. В то утро, когда он готов уже был тронуться в путь, появился посыльный графа фон Ваха с приказом немедленно явиться в замок. И он пошел вместе с посыльным, лихорадочно размышляя, что может означать этот необычный вызов.

— Радуйся, Андрес,— воскликнул граф, когда тот вошел в его комнату,— тебе улыбнулось неожиданное счастье. Ты помнишь еще ворчливого хозяина гостиницы в Неаполе, приемного отца твоей Джорджины? Он умер, а на смертном одре его обуяли укоры совести из-за ужасного обращения с бедным осиротевшим ребенком, и он оставил ей две тысячи дукатов, которые уже прибыли во Франкфурт в виде векселей и которые ты можешь получить у моего банкира. Если ты желаешь сейчас же отправиться во Франкфурт, я прикажу выдать тебе необходимый сертификат, чтобы деньги были выплачены без проволочек.

Радость и неожиданность лишили Андреса дара речи, и граф фон Бах тоже от души радовался за своего верного слугу. Когда Андрес пришел в себя, он решил немедля отправиться во Франкфурт, что и сделал, предварительно получив от своего господина грамоту, удостоверяющую его личность. Жене он просил передать, что граф послал его со срочным поручением, и поэтому он будет несколько дней отсутствовать. Во Франкфурте банкир графа направил его к кушцу, который имел полномочия на выплату денег. В конце концов все формальности были выполнены и Андрес действительно получил значительную сумму. Непрестанно думая о Джорджине и страстно желая доставить ей удовольствие, он накупил для нее множества красивых вещей, а также золотую заколку, совершенно такую же, как та, что подарил ей Деннер, а так как он не смог бы теперь сам тащить тяжелый дорожный мешок, то приобрел еще и лошадь. Так, отсутствуя дома уже шесть дней, он в прекрасном расположении духа отправился в обратный путь. Когда он добрался до своего жилища, то обнаружил дом запертым. Он стал звать слугу, Джорджину, но никто не откликнулся, лишь скулили запертые в доме собаки. Недоброе предчувствие охватило Андреса, он стал сильно стучать в дверь и

громко кричать: "Джорджина! Джорджина!" Вдруг вверху раздался шорох, из чердачного окна выглянула Джорджина и воскликнула: "Ах, Боже! Андрес, ты ли это? Хвала Богу, ты снова здесь!" Открыв дверь, Джорджина, смертельно бледная и громко стенающая, прижалась к его груди, а затем стала медленно оседать на пол на обмякших ногах. Андрес подхватил жену и внес ее в комнату. Ледяной ужас сковал его при виде душераздирающей картины. Весь пол и все стены комнаты были покрыты кровавыми пятнами, его младший мальчик лежал в своей кровати мертвый, с распоротой грудью. "Где Георг, где Георг?" — в отчаянии вскричал Андрес и в то же мгновение услышал, как мальчик топает ножками вниз по лестнице, зовя отца. Повсюду лежали разбитые стаканы, бутылки, тарелки. Большой черный стол, обычно стоявший у стены, был выдвинут на середину комнаты, а на нем стояли необычной формы жаровня, несколько колб и миска, наполненная кровью. Андрес взял своего несчастного сына на руки. Джорджина поняла его и принесла простыни, в которые они завернули маленькое тельце и похоронили в саду. Андрес вырезал из дуба крест и поставил его на могильном холме. Ни единого слова, ни единого звука не слетело с уст несчастных родителей. В мрачном, безнадежном молчании закончили они свою скорбную работу и сели перед домом в вечерних сумерках, устремив неподвижный взгляд вдаль. Лишь на следующий день смогла Джорджина рассказать о том, что же произошло во время отсутствия Андреса. На четвертые сутки после того, как Андрес покинул дом, слуга около полудня снова заметил подозрительные фигуры, пробирающиеся через лес, по причине чего Джорджина всем сердцем возжелала возвращения мужа. Среди ночи она была разбужена громким шумом и криками. Перепуганный до смерти слуга сообщил, что дом окружен разбойниками, о сопротивлении нечего и думать. Доги неистовствовали, но вскоре затихли — похоже было, что их как-то уняли, и кто-то громко закричал: "Андрес! Андрес!" Слуга собрался с духом, открыл окно и крикнул, что участкового егеря Андреса дома нет.

"Ничего, — отвечал голос снизу, — открывай дверь, а Андрес вскоре к нам присоединится". Что оставалось делать? Слуга отворил дверь, толпа разбойников устремилась в дом и приветствовала Джорджину как жену своего товарища, которому их главарь обязан свободой и жизнью. Они потребовали, чтобы Джорджина приготовила им добрую еду, ибо ночью они выполняли тяжелую работу, которая им весьма хорошо удалась. Джорджина дрожащими руками разожгла на кухне большой огонь и приготовила трапезу, для чего приняла у одного из разбойников, распорядившегося в банде провиантом, мясо дичи, вино и другие продукты. Слуга был вынужден накрыть стол и принести посуду. Улучив момент, он выскользнул на кухню.

— Ах, знаете ли вы, — проговорил он голосом, полным ужаса, — какое злодейство совершили разбойники этой ночью? После длительного отсутствия, во время которого готовилась эта подлая акция, они несколько часов назад напали на замок графа фон Баха, убили большинство его людей, хотя они мужественно сопротивлялись, и его самого, а замок подожгли. Джорджина запричитала: "Ах, бедный наш господин!" А разбойники тем временем шумели и пели в комнате, вволю наслаждаясь вином в ожидании еды. Уже начинало светать, когда появился мерзкий Деннер; стали открывать ящики и мешки, которые разбойники привезли с собой навьюченными на лошадей. Джорджина слышала, как они считали деньги и как звенела серебряная посуда. Наконец, когда *был* уже ясный день, разбойники тронулись в путь, остался лишь Деннер. Изобразив дружелюбную улыбку, он обратился к Джорджине: "Вы, кажется, были сильно напуганы, сударыня, видно, ваш муж не сказал вам, что уже долгое время является нашим товарищем. Мне очень жаль, что он еще не вернулся, наверное, отправился другой дорогой и разминуся с нами. Он был вместе с нами в замке этого злодея графа фон Баха, который два года назад упорно преследовал нас и которому мы наконец прошлой ночью отомстили. Наш враг пал от руки вашего мужа. Успокойтесь же, дорогая госпожа, и скажите Андресу, что в ближайшем будущем мы не встретимся, так как банда на время растает. Сегодня вечером я вас покину. Какие у вас красивые дети, сударыня!" С этими словами он взял меньшего из рук Джорджины и стал играть с ним так мило, что ребенок с удовольствием прыгал у него на коленях, смеялся и лепетал, пока он снова не отдал его матери. Уже был вечер, когда Деннер сказал Джорджине: "Вы, верно, заметили, что хотя нет у меня ни жены, ни детей, и это иногда меня очень печалит, я с удовольствием играю и балуюсь с маленькими детьми. Дайте мне вашего малыша на то недолгое время, которое я еще пробуду у вас. Ведь ему исполнилось ровно девять недель?" Джорджина подтвердила это и дала, хотя и не без внутреннего сопротивления, мальчика Деннеру, который сел с ним перед дверью дома, а Джорджину попросил приготовить ужин, ибо через час ему нужно уходить. Не успела Джорджина войти в кухню, как увидела, что Деннер вместе с ребенком на руках вошел в дом. Вскоре по дому распространился странный запах, который, казалось, исходил из комнаты. Джорджину охватил неописуемый страх; она подбежала к комнате, но обнаружила, что дверь заперта изнутри. Ей показалось, что она слышит жалобные стоны ребенка. "Спаси, спаси мое дитя из лап злодея!" — так кричала она, предчувствуя ужасное, слуге, который как раз вошел в дом. Тот быстро

схватил топор и взломал дверь. Густые вонючие испарения вырвались им навстречу. Одним прыжком метнулась Джорджина в комнату; обнаженный мальчик лежал на миске, в которую каплями стекала его кровь. Она видела еще, как слуга замахнулся топором на Деннера, как тот увернулся от удара и они стали бороться. Ей казалось, что прямо под окнами кричит множество голосов, и она без чувств упала на пол. Когда Джорджина пришла в себя, была уже непроглядная ночь. Совершенно оглушенная, она не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Наконец наступило утро, и она с ужасом увидела, что в комнате полно крови. Вокруг были разбросаны обрывки одежды Деннера, лежал клок волос слуги, а рядом — окровавленный топор и упавший со стола мальчик с распоротой грудью. Джорджина снова потеряла сознание и очнулась уже в полдень. Она с трудом поднялась и стада звать Георга, никто не ответил, и она подумала, что Георг тоже убит.

Отчаяние придало ей сил, она выбежала во двор и громко закричала: "Георг! Георг!" И тут сверху, с чердака отозвался слабый, жалобный голос: "Мама, дорогая мама, ты здесь? Поднимись ко мне, я очень хочу кушать!" Джорджина взбежала наверх и отыскала малыша, который, напуганный шумом в доме, забрался на чердак и забился в угол. Она изо всех сил прижала его к своей груди; чуть позже она заперла дом, перебралась с сыном на чердак и стала ожидать Андреса, которого, впрочем, тоже считала погибшим; мальчик видел сверху, как несколько разбойников вошли вместе с Деннером в дом и вынесли из него тело мертвого человека.

Вдруг Джорджина заметила деньги и красивые вещицы, которые Андрес привез ей. "Ах, неужто это правда? — воскликнула она в ужасе. — Ты — один из них?" Андрес не дал ей продолжить, он подробно рассказал, какое счастье выпало на их долю и что был он во Франкфурте, где ему выплатили ее наследство.

Племянник убитого графа фон Ваха был теперь владельцем замка и наследником его богатства; к нему и собрался обратиться Андрес, доверительно рассказать обо всем происшедшем, указать убежище Деннера и просить, чтобы он освободил его от службы, которая принесла ему столько горя. Джорджина не могла оставаться более в этом доме, и Андрес решил запрячь лошадь, погрузить на телегу немногие наиболее ценные вещи и вместе с женой и ребенком навсегда покинуть эти края, которые вызывают у них такие ужасные воспоминания и где они никогда не будут в безопасности. Уже был назначен день отъезда, но едва успели они погрузить один ящик, как вдруг услышали приближающийся топот конских копыт, Андрес узнал лесника Ваха, который жил возле замка; за ним скакал командир драгун из Фулды.

— Ага, мы как раз вовремя — злодей собирается перевезти награбленное в безопасное место, — воскликнул комиссар суда, который приехал вместе с ними. Андрес окаменел. Джорджина находилась в полуобморочном состоянии. Их схватили, связали веревками и бросили на телегу, которая уже стояла перед домом. Джорджина громко причитала о мальчике и Христом-Богом молила, чтобы ей позволили взять его с собой. — "Чтобы вы и свое отродье обрекли на погибель?" — ответил комиссар и с силой вырвал мальчика из рук матери. Тут к телеге подошел старый лесник, грубый, но честный человек.

— Андрес, Андрес, — печально покачал он головой, — как же ты дал опутать, себя сатане, чтобы совершить такие злодеяния? Ведь ты же всегда был таким набожным и честным!

— Ах, сударь! — вскричал Андрес с отчаянием, — как истинно то, что Бог живет на Небесах, так правда и то, что я невиновен. Ведь вы же знаете меня с малых моих лет, я не сделал в жизни ничего несправедливого, так неужто вы верите, что я превратился в отвратительного злодея? Я знаю, вы считаете меня причастным к тому черному злодеянию, что было совершено в замке любимого моего, несчастного господина. Но я невиновен, клянусь жизнью!

— Ну, — отвечал старый лесник, — ежели ты невиновен, то наступит день, когда это выяснится, хотя очень многое говорит против тебя. Я надежно сберегу твоего мальчика и твое имущество, так что ежели твоя невинность будет доказана, ты найдешь своего мальчика здоровым и бодрым, а вещи — нетронутыми.

На деньги комиссар суда наложил арест. По дороге Андрес спросил Джорджину, где спрятан ларец; оказалось, что она отдала его Деннеру, о чем очень сожалела. В Фулде Андреса разлучили с женой и бросили в мрачную, темную тюрьму. Через несколько дней его взяли на допрос, во время которого обвинили в участии в убийствах и грабежах, совершенных в замке фон Ваха, и призывали признаться в этом, ибо абсолютно все свидетельствует против него. Андрес откровенно рассказал обо всем, что с ним произошло, от первого появления у него в доме отвратительного Деннера до момента своего ареста. Он с полным покаянием поклялся, что повинен в одном-единственном проступке — в том, что ради жены и ребенка спас Деннера от ареста, и утверждал, что непричастен к кровавой драме в замке, так как находился в это время во Франкфурте. Вдруг запахнулись двери зала суда и ввели омерзительного Деннера. Увидев Андреса, он рассмеялся с дьявольской насмешкой и спросил: "Ну,

что товарищ мой, тебя тоже разоблачили? Видать, не помогли тебе молитвы твоей жены?" Судья потребовал, чтобы Деннер повторил свои признания, касающиеся Андреса, и тот поведал, что этот человек, который сейчас стоит перед ними, участковый егеря графа фон Ваха, уже пять лет связан с ним и что именно дом егеря был его самым лучшим и самым надежным убежищем. Что Андрес всегда получал причитающуюся ему часть добычи, хотя лично всего два раза участвовал в их предприятиях: один раз в разграблении арендатора, где он спас его, Деннера, от справедливого возмездия, а затем в операции против графа Алоиса фон Ваха, которого сразил своим метким выстрелом. Андрес впал в ярость, когда услышал эту бесстыдную ложь.

— Что? — вскричал он, — ты проклятый злодей, дьявол в человеческом обличье, ты осмеливаешься обвинять меня в убийстве моего любимого несчастного господина, которое ты сам совершил? Да! Я знаю это, ибо только ты способен на такое преступление; но месть твоя преследует меня, потому что я не хотел больше знаться с тобой, потому что я угрожал застрелить тебя, если ты переступишь порог моего дома. Именно поэтому ты ворвался со своей бандой в мой дом, когда меня там не было, именно поэтому убил моего бедного, ни в чем не повинного ребенка и моего доброго слугу! Но тебе не удастся избежать Божьей кары, пусть даже зло твое одолеет меня.

И Андрес повторил свои прежние показания, призывая в свидетели Бога и всех святых. Деннер же издевательски смеялся и говорил, что не стал бы лгать перед лицом смерти и что с набожностью, о которой Андрес так много шумел, плохо вяжется то, что за подтверждением своих ложных показаний он обращается к Богу и святым.

Судьи не знали, что и думать: весь облик Андреса, выражение его лица и слова внушали доверие, но нельзя было сбрасывать со счетов и холодную уверенность Деннера, с которой тот настаивал на своих показаниях.

Наконец ввели Джорджину; она с рыданиями бросилась к мужу. Джорджина толком не могла ничего объяснить, лишь обвиняла Деннера в злодейском убийстве ее мальчика, но Деннера это не смутило и не возмутило, — он продолжал утверждать, что Джорджина ничего не знала о деяниях своего мужа и что сама она совершенно невиновна. Андрес был возвращен в тюрьму. Несколькими днями позже один довольно добродушный тюремный надзиратель рассказал ему, что его жена отпущена на свободу: остальные разбойники, как и Деннер, подтвердили ее невинность, и вообще против нее не было выдвинуто никаких обвинений. Молодой граф фон Вах, благородный господин, который тоже, как оказалось, сомневался в вине Андреса, составил поручительство, а старый лесник забрал Джорджину на красивой карете. Напрасно умоляла она о встрече с мужем, суд категорически отверг ее просьбы. Несчастливого Андреса эта весть нимало не утешила, — еще более, чем о собственном несчастье, сердце его болело о нищенском положении жены. Его же собственное положение между тем ухудшалось день ото дня. Установили — и это соответствовало показаниям Деннера, — что уже пять лет назад Андрес достиг определенного благосостояния, источником которого могло быть лишь участие в грабежах. Кроме того, хоть Андрес и утверждал, что отсутствовал, когда было совершено нападение на замок фон Ваха, его показания относительно наследства и пребывания во Франкфурте ставились под сомнение, ибо он не смог назвать имени купца, у которого получил деньги. Банкир графа фон Ваха и владелец гостиницы во Франкфурте, где Андрес останавливался, по описанию никак не могли вспомнить участкового егеря; судопроизводитель графа, который выдал Андресу сертификат, был мертв, и никто из слуг ничего не знал о наследстве, ибо граф об этом не распространялся, а Андрес тоже помалкивал, потому что хотел сделать своей жене сюрприз. Таким образом, Андрес не мог ничего доказать. Деннер же стоял на своем, и слова его подтверждали все разбойники, которые были пойманы. Но более всего убедили судью в виновности несчастного Андреса показания двух егерей фон Ваха, которые вроде бы при свете факелов совершенно определенно узнали Андреса и видели тогда, как он убил графа. Теперь судья был убежден, что Андрес — лжец и преступник, и присудил ему пытки, дабы сломить его упрямство и вынудить к признанию.

Уже более года томился Андрес в темнице, горе подточило его силы, его крепкое и сильное тело стало слабым и безжизненным. Страшный день, когда страдания заставили его признаться в преступлении, которого он не совершал, наступил. Его привели в камеру пыток, где лежали ужасные, придуманные с особой жестокостью инструменты, и подручные палача готовились истязать несчастного. Андреса в очередной раз призвали сознаться; он снова уверял в своей невинности и повторял все подробности своего знакомства с Деннером теми же словами, что и на первом допросе. Подручные палача связали его и приступили к своей чудовищной работе, выкручивая ему члены и загоняя иглы в распятую плоть. Андрес не мог более выносить эти мучения: терзаемый невыносимой болью и не желая ничего более, кроме смерти, он признался во всем, что от него требовали, и потерял сознание. Его втащили обратно в камеру, подкрепили вином, и он погрузился в ирреальное состояние — нечто среднее между бодрствованием и сном. И почудилось ему, будто обрушились

тюремные стены, их камни с грохотом низверглись на пол камеры, и в образовавшемся проеме, окруженная кровавым отблеском выступила фигура человека, который, хотя и имел черты Деннера, все же не был им. Более горячо сверкали глаза, более черными были сбившиеся на лбу волосы и глубже опускались мрачные брови в глубокие складки, обрамлявшие криво изогнутый ястребиный нос. Ужасным и странным образом лицо это сморщилось и смялось, а одежды были диковинными и незнакомыми,— таких он на Деннере никогда не видел. Огненно-красный, богато отороченный золотом широкий плащ крупными складками спадал с его плеч, широкая с низко опущенными полями и красным пером испанская шляпа наискось сидела на голове, на боку висела длинная шпага, а под левой рукой призрак держал маленький ларец. Эта демоническая фигура приблизилась к Андресу и промолвила глухим голосом: "Ну, товарищ мой, понравились ли тебе пытки? Всем этим ты обязан своему собственному упрямству: если бы ты признал, что являешься членом банды, то давно был бы уже спасен.

Но если пообещаешь ты полностью мне подчиниться, отдаться моей власти, если заставишь себя отпить этого снадобья, что сварено из крови твоего дитяти, ты сразу же избавишься от всех мучений. Ты опять станешь здоровым и сильным, и о дальнейшем я тоже позабочусь". Потрясенный и обессиливший Андрес не мог вымолвить ни слова; он видел, как кровь его ребенка играет красными огоньками в зловещей колбе; он стал неистово молиться Богу и святым, умоляя спасти его от объятий сатаны, который преследует его, и пусть уж он лучше умрет поскорее позорной смертью, если за это ему будет даровано вечное блаженство и спасение. Демонический призрак лишь рассмеялся,— смех этот отозвался гулким эхом в мрачной камере,— и растворился в густых испарениях...

Андрес очнулся от глубокого оцепенения и попытался приподняться с лежанки. Что же он почувствовал, когда увидел, что солома, лежащая у него под головой, зашевелилась и сдвинулась в сторону? Оказалось, что один из камней в полу вынут, и Андрес услышал, как кто-то несколько раз тихо произнес его имя. Он узнал голос Деннера и протонал:

— Что ты хочешь от меня?! Оставь меня в покое, у меня не может быть с тобой никаких дел!

— Андрес,— отозвался Деннер,— я проник через множество сводов, чтобы спасти тебя от казни, как спасут меня. Ради твоей жены, с которой я связан непостижимыми для тебя узами, я помогу тебе. Вот, возьми напильник и пилу, освободись ночью от цепей и перепили замок на двери камеры. Внешняя дверь с левой стороны коридора будет открыта, а снаружи ты увидишь одного из нас, и он поведет тебя дальше.

Андрес взял инструменты, а затем снова заложил в отверстие камень. Он был готов выполнить то, что требовал от него голос совести.

Когда наступил день и в камеру вошел тюремный надзиратель, Андрес попросил, чтобы его отвели к судье: у него-де есть для судьи важное сообщение. Его просьбу незамедлительно выполнили: все думали, что Андрес расскажет о каких-то, до сих пор неизвестных злодеяниях банды. А он передал судье принесенные ему Деннером инструменты и поведал о событиях последней ночи. "Бог уберет меня от стремления несправедно обрести свободу, ибо это отдало бы меня в руки проклятого Деннера, навлекшего на меня позор и мучения",— так закончил Андрес свою речь. Судьи, казалось, прониклись сочувствием к несчастному, однако ввиду многочисленных фактов, свидетельствующих против него, были слишком решительно убеждены в его вине, чтобы не усомниться в его искренности. Вместе с тем то обстоятельство, что после известия о планируемом Деннером побеге в городе и даже в непосредственной близости от тюрьмы были схвачены еще несколько членов банды, сыграло в его пользу: он был переведен из подземного застенка в светлое помещение рядом с жилищем тюремного надзирателя. Здесь он предавался мыслям о своей верной жене, о своем сыне, а также богоугодным наблюдениям и вскоре почувствовал себя готовым расстаться с жизнью как с неким бременем. Немало удивлялся тюремный надзиратель набожному преступнику и в конце концов поверил в его невиновность.

Прошел почти год. Тяжелый, запутанный процесс против Деннера и его соучастников был закончен. Выяснилось, что банда простерла свои щупальца до самой границы с Италией и уже длительное время повсюду грабила и убивала. Деннера приговорили к повешению, после чего тело его должно было быть сожжено. И несчастному Андресу тоже присудили петлю, однако ввиду его покаяния и в связи с тем, что благодаря его показаниям удалось предотвратить побег Деннера и нападение банды, тело его разрешалось забрать и предать земле.

Едва забрезжило утро, когда Деннер и Андрес должны были быть казнены, как отворилась тюремная дверь и к Андресу, который стоял на коленях и молился, вошел молодой граф фон Вах.

— Андрес,— сказал граф,— тебе предстоит умереть. Облегчи же перед смертью свою совесть правдивым признанием! Скажи, убил ли ты своего господина? Правда ли, что ты убийца моего дяди?

Тут из глаз Андреса полились слезы, и он еще раз повторил все, что говорил перед судом до того, пока невыносимые муки пыток не выдавили из него ложь. Он призывал Бога и святых подтвердить правдивость всего сказанного им и его абсолютную невиновность в смерти любимого господина. — Значит, — нахмурился граф фон Вах, — в этой мистерии присутствует необъяснимая тайна. Несмотря ни на что, я не верил в твою виновность, Андрес, ибо знал, что ты с молодых лет был самым верным слугой моего дяди и в Неаполе, рискуя жизнью, спас его от лап бандитов. Между тем вчера оба старых егеря моего дяди Франц и Николаус клялись, что своими глазами видели тебя среди разбойников и наблюдали, как ты убил моего дядю.

Андреса терзали душераздирающие чувства; ему чудилось, что сам дьявол принял его лик, чтобы его погубить; похоже, и Деннер был убежден, что он видел Андреса в замке, так что, выходит, ложное обвинение основывалось на правдивом внутреннем убеждении. Андрес откровенно рассказал об этом молодому графу, добавив, что отдал себя на суд небесный и если даже умрет сейчас позорной смертью, как преступник, то все равно, пусть даже по проществу долгого времени его невиновность в один прекрасный день станет очевидной для всех. Граф казался глубоко растроганным и сказал еще только, что по желанию Андреса день казни скрыли от его несчастной жены и что она вместе с мальчиком останется у старого лесника.

Глухо и зловеще загудел колокол на башне ратуши. Андреса одели, и процессия с обычной торжественностью, при бесчисленном стечении народа, проществовала к месту казни. Андрес громко молился и набожным своим поведением не оставлял равнодушным никого, кто это наблюдал. На лице же Деннера застыло упрямое, ожесточенное выражение. Он вызывающе смотрел по сторонам и часто, злобно и злорадно смеялся над несчастным Андресом. Андреса должны были казнить первым; он вместе с палачом взошел по лестнице, и тут вдруг громко вскрикнула какая-то женщина, упав на руки пожилого мужчины. Андрес посмотрел в ту сторону; то была Джорджина; тогда он громогласно воззвал к Небесам, прося у них выдержки и мужества. — "Я снова вижу тебя, моя бедная, несчастная жена, я умираю безвинно!" — воскликнул он, обратив исполненный тоски взгляд к небу. Судья крикнул палачу, чтобы тот поторопился, ибо по толпе прокатился ропот и в Деннера, который тоже уже поднялся по лестнице и насмехался над зрителями и их сочувствием к несчастному Андресу, полетели камни. Палач надел петлю на шею Андреса, и вдруг издали донеслось: "Стой! Стой! Ради Христа, стой! Этот человек невиновен! Вы казните невиновного!" "Стой! Стой!" — эхом повторили тысячи голосов, и стража едва могла сдерживать толпу, стремящуюся прорваться и вырвать Андреса из петли. Тут человек, который закричал первым, вскочил на лошадь, и Андрес сразу же узнал в этом незнакомце купца, который выплатил ему во Франкфурте наследство Джорджины. Сердце его было готово разорваться от радости и блаженства, он едва держался на ногах, когда спускался с эшафота. Купец подтвердил, что в то самое время, когда было совершено разбойничье нападение на замок фон Ваха, Андрес был во Франкфурте, то есть за много миль от этого места, и что он может доказать это перед судом с помощью документов и свидетелей. И тогда крикнул судья: "Казнь Андреса отменяется! Немедленно отведите его назад в тюрьму".

Деннер спокойно взирал на происходящее с эшафота; когда же судья произнес эти слова, горящие глаза его завращались, он заскрипел зубами и взвыл с диким отчаянием, что разнеслось в воздухе подобно воплю беснующегося безумия: "Сатана, сатана! Ты обманул меня — горе мне! Горе мне! Все кончено, кончено, все пропало!" Его снесли вниз с эшафота, он упал на землю и захрипел: "Я хочу во всем признаться! Я хочу во всем признаться!" Казнь отложили, и Деннера тоже возвратили обратно в тюрьму, где были приняты все меры к тому, чтобы он не смог совершить побег. Ненависть его охранников была лучшим оружием против хитрости его союзников.

Через несколько мгновений после того, как Андреса ввели к тюремному надсмотрщику, он уже держал в своих объятиях Джорджину. "Ах, Андрес, Андрес, — лепетала она, — наконец-то ты снова со мной, и теперь я знаю, что ты невиновен, а ведь даже я сомневалась в этом!"

Оказалось, что хотя от Джорджины и скрыли день казни, она все же, влекомая необъяснимым страхом и тревожным предчувствием, отправилась в Фулду и попала на место казни как раз тогда, когда муж ее взошел по роковой лестнице, которая вела к смерти. Купец же все это долгое время, пока шло расследование, провел в поездках по Франции и Италии, а теперь возвращался через Вену и Прагу. Случай или, скорее, Небеса пожелали, чтобы он появился на месте казни в самый решающий момент и спас несчастного Андреса от позорной смерти. Он услышал историю Андреса в гостинице, и у него сразу же возникла мысль, что Андрес мог быть тем самым участковым егерем, который два года назад получал наследство своей жены. Как только он увидел Андреса, то убедился, что предчувствие его не обмануло. Усилиями доброго купца и молодого графа фон Ваха пребывание Андреса во Франкфурте было восстановлено по часам; тем самым подтвердилась его полная невиновность и непричастность к ограблению и убийству. В конце концов и сам Деннер признался, что Андрес говорил правду об

отношениях с ним, заметив только, что, видать, сам сатана его ослепил, ибо он на самом деле был уверен, что в замке фон Баха Андреас сражался на его стороне. За вынужденное участие в разграблении имущества арендатора, а также за законопротивное спасение Деннера Андреас, по словам судьбы, уже искупил свою вину тяжелым и длительным пребыванием в тюрьме, пытками и страхом смерти; посему он был освобожден от дальнейшего наказания и поспешил со своей Джорджиной в замок фон Ваха, где благородный граф отвел им под жилье одну из пристроек, требуя от Андреаса лишь несложной егерской службы, которая была ему необходима: граф был страстный охотник. И судебные издержки тоже заплатил граф, так что наследство Андреаса и Джорджины ничуть не уменьшилось.

Процесс против нечестивого Игнаца Деннера принял теперь совершенно иной оборот. Произошедшее на месте казни, казалось, совершенно преобразило его. Его насмешливая дьявольская гордыня была сломлена, а из подавленной души потоком полились признания, от которых у судей волосы становились дыбом. Деннер обвинял себя — и при этом глубоко покаялся — в союзе с сатаной, который поддерживал с самой ранней юности. Поэтому дальнейшее расследование проводилось с участием соответствующих духовных лиц. О своей прежней жизни он рассказал столько странного и необычного, что это можно бы было посчитать плодом большого воображения, однако наведение справок в Неаполе, родном, по его словам, городе, полностью все подтвердило. Выписка из рассмотренных духовным судом в Неаполе документов пролила свет на обстоятельства происхождения Деннера,

Много лет назад в Неаполе жил старый чудаковатый доктор по имени Трабаччио, которого из-за его необычного, но всегда успешного лечения называли Чудесным Доктором. Казалось, возраст был не властен над ним, походка его была быстрой и молодой, хотя некоторые местные жители и подсчитали, что ему уже должно было быть лет восемьдесят. Лицо его было ужасающе искривлено и сморщено, а взгляд едва ли можно было вынести без внутреннего содрогания. Больным, однако, он часто делал добро, и говорили, что зачастую одним лишь только острым, устремленным на больного взглядом лечил он тяжелые, затяжные недуги. На свой черный костюм доктор набрасывал обычно широкий красный плащ с золотыми аксельбантами и кистями, из-под крупных складок которого торчала длинная шпага. В таком виде и с ларцом, полным лекарств, которые сам готовил, ходил он к своим больным по улицам Неаполя, и многие с отвращением его сторонились. Обращались к нему лишь в случае крайней необходимости, и он никогда не отказывал, даже если ему не приходилось рассчитывать на особое вознаграждение. Несколько его жен скоропостижно скончались; все необычайно красивые, они в большинстве случаев были деревенскими проститутками. Доктор запирали их и разрешал только посещать богослужения, да и то в сопровождении старой, уродливой женщины. Эта старуха была неподкупной; любая, самая хитроумная попытка молодых сластолюбцев приблизиться к молодым красавицам, женам Трабаччио, оказывалась безуспешной.

Хотя богатые люди и платили доктору Трабаччио хорошие деньги, доходы никак не соответствовали тому богатству, состоящему из наличности и драгоценностей, которые он складывал дома и которые ни от кого не скрывал. При этом временами он бывал щедр до расточительства и имел привычку каждый раз, когда умирала его очередная жена, давать большой обед, расходы на который не меньше, чем в два раза, превышали те доходы, которые приносила доктору его практика за целый год.

Последняя жена родила ему сына, и он запирали его, как и жен: никто и никогда его не видел. Лишь на обеде, который он устроил после смерти его матери, маленький трехлетний мальчик сидел за столом, и все гости были поражены красотой и умом ребенка, которого по его поведению вполне можно было принять за двенадцатилетнего, если бы его возраст не выдавала внешность. Именно на этом приеме доктор Трабаччио сообщил, что поскольку его желание иметь сына наконец сбылось, то жениться он больше не будет.

Огромное богатство доктора, но еще более его таинственная личность, чудотворное лечение, когда от одного лишь его прикосновения и взгляда отступали неизлечимые болезни, послужили поводом для самых невероятных слухов, которые молва разносила по всему Неаполю. Доктора Трабаччио считали алхимиком, заклинателем дьявола и наконец обвинили в союзе с сатаной. Последний слух распространился после странного происшествия, случившегося с некими благородными дворянами. Однажды поздно ночью они возвращались с какого-то приема и, сбившись под действием винных паров с дороги, забрели в какую-то безлюдную, подозрительную местность. Вдруг впереди что-то зашуршало, зашелестело и к перепуганным дворянам подошел большой огненно-красный петух с острыми оленьими рогами на голове и человеческими глазами. Дворяне сбились в кучу, петух прошествовал мимо, а за ним последовала высокая фигура в блестящем, отороченном золотом плаще. "Это Чудесный Доктор Трабаччио", — прошептал один из дворян. Сразу протрезвевшие от вида ужасного призрака, дворяне набрались храбрости и последовали за мнимым доктором и петухом,

свечение перьев которого указывало путь. Они увидели, как обе фигуры действительно подошли к дому доктора, стоявшему в отдаленном и пустынном месте. Петух взмыл вверх и забил крыльями в большое окно над балконом; оно со скрипом отворилось, старческий женский голос проворчал: "Заходите, заходите в дом, постель теплая, и возлюбленная ждет уже давно, ждет давно!" Казалось, что доктор поднялся по невидимой лестнице и скрылся вслед за петухом через окно, которое захлопнулось с таким стуком, что по всей пустынной улице загремело и зазвенело. Потом все стихло. Онемевшие и окаменевшие от ужаса, стояли дворяне в черной тьме ночи.

Все эти слухи достигли ушей духовного суда, и было принято решение выследить и разоблачить дьявольского чудотворца. Выяснилось, что в комнатах доктора действительно часто появляется красный петух, с которым он разговаривает и спорит так, словно беседуют двое ученых. Духовный суд намеревался заключить доктора Трабаччио в тюрьму как гнусного колдуна, однако светский суд опередил суд духовный и послал сбирров арестовать доктора и заточить в тюрьму. Старика забрали, а мальчика так и не смогли найти. Все двери закрыли и опечатали, вокруг дома выставили стражу. Этому судебному делу предшествовали следующие события. В Неаполе и его окрестностях начали умирать

известные люди, причем, по единодушному мнению врачей, от яда. Многочисленные расследования не приносили никаких результатов, пока наконец один молодой повеса из Неаполя, известный ловелас и транжира, не признался в отравлении своего дяди, рассказав, что яд он купил у домоправительницы Трабаччио. За старухой проследили и поймали на горячем — когда несла куда-то надежно запертый ларец с маленькими колбами, на которых были написаны названия различных лекарств, а на самом деле внутри находился жидкий яд. Когда старой карге пригрозили пытками, она призналась, что доктор Трабаччио уже много лет изготавливает яд, известный под названием Аква Тоффана, и что именно тайная продажа этого яда, в которой она принимала участие, была самым большим источником его доходов. Кроме того, поведала старуха, он состоит в союзе с дьяволом, который является к нему в разных обличьях. Каждая из жен рожала зловещему доктору ребенка, и никто вне стен дома об этом даже не подозревал. Когда же очередному ребенку исполнялось девять недель либо девять месяцев, Трабаччио с большой торжественностью бесчеловечно его убивал, разрезая ему грудь и вынимая сердце. Каждый раз при этой операции присутствовал и дьявол по большей части в образе летучей мыши с человеческим лицом. Это чудовище раздувало своими широкими крыльями уголья, на которых Трабаччио готовил снадобье из крови, вытекающей из сердца ребенка. Именно это снадобье и обладало чудодейственной силой противостоять любой болезни. Жен Трабаччио вскоре после этого тем или иным способом убивал, причем так искусно, что даже самый пристальный взгляд врачей не мог обнаружить ни малейших признаков насильственной смерти. Лишь последняя жена Трабаччио, родившая ему сына, который жив и сейчас, умерла естественной смертью.

Доктор Трабаччио ничего не отрицал и, казалось, испытывал даже садистское удовольствие от того, что рассказами о своих жутких злодеяниях, и в особенности подробностями своего чудовищного союза с сатаной, заставляет суд трепетать от ужаса. Священнослужители, присутствующие на суде, затратили громадные усилия, призывая доктора к покаянию и признанию своих грехов, но все это оказалось напрасным, ибо Трабаччио лишь с издевкой их высмеивал. Оба они, старуха и Трабаччио, были приговорены к сожжению на костре. В доме доктора произвели обыск и изъяли все его состояние, которое после вычета судебных издержек было разделено между больницами. В библиотеке Трабаччио не нашли ни одной нечестивой или даже просто подозрительной книги, не были обнаружены и приборы, которые могли бы указывать на дьявольские занятия доктора. Однако оставалось неисследованным одно из помещений, выступающие из стен многочисленные трубы которого выдавали лабораторию, — его просто-напросто не смогли открыть. Ни сила, ни всевозможные ухищрения не помогли. Причем, когда слесари и каменщики пытались проникнуть внутрь, за дверью вдруг закрипели жуткие голоса, раздавался шелест крыльев, и по коридору с пронзительным свистом пронесся сквозняк, обдав лица рабочих ледяным дыханием, так что все они, объятые ужасом, убежали, и никто более не отваживался подойти к двери таинственной комнаты. Духовных лиц, пробовавших приближаться к адской двери, постиг тот же результат, и потому не оставалось ничего другого, как ждать прибытия из Палермо одного старого доминиканца, перед неколебимой набожностью которого дьявол до сих пор всегда отступал. Когда же наконец этот монах прибыл в Неаполь, готовый сразиться с дьявольским призраком, он отправился в дом Трабаччио, вооружившись крестом и святой водой, в сопровождении нескольких духовных лиц и членов суда, которые предусмотрительно остановились на значительном отдалении от зловещей двери. Старый доминиканец, произнося молитвы, приблизился к ней — и снова, еще более сильно, зашумело, забурило, загрохотало и пронзительно захохотало. Однако монах не капитулировал, — он принялся

еще неистовее творить молитвы, держа перед собой распятие и поливая дверь святой водой. "Дайте мне лом!" — потребовал он, и дрожащий от страха подмастерье каменщика подал ему инструмент. Едва старый монах вставил его в дверь, как она распахнулась с ужасным грохотом. Стены комнаты лизало синее пламя, и умопомрачающий, удушливый жар вырывался наружу. А когда доминиканец все же хотел войти внутрь, рухнул вниз пол комнаты, так что загудел весь дом, из бездны вырвались языки пламени, в бешенстве рыская по сторонам, и вскоре охватили все вокруг. Доминиканец и его сопровождающие вынуждены были спастись бегством, дабы не сгореть или не быть погребенными под обломками.

Едва успели они выскочить на улицу, как весь дом доктора Трабаччио вспыхнул, словно спичечный коробок. Сбежался народ, и возрадовался, и возликовал, увидев, что горит жилище проклятого колдуна. Уже обрушилась крыша, полыхали стены, и лишь крепкие балки верхнего этажа сопротивлялись еще силе огня. И вдруг по толпе прокатились крики ужаса: люди увидели двенадцатилетнего сына Трабаччио, который шел по тлеющей балке с ларцом в руках. Лишь какое-то мгновение длилось это видение, после чего мальчика поглотило взметнувшееся вверх пламя.

Доктор Трабаччио, казалось, торжествовал, узнав об этом событии, и, направляясь к месту казни, вел себя с дерзкой наглостью. Когда его привязывали к столбу, он громко рассмеялся и сказал палачу, завязывавшему веревку: "Смотри, приятель, как бы эти узлы не загорелись на твоих руках". Монаху, который хотел подойти к нему с последним напутствием, он крикнул свирепо: "Убирайся! Отойди от меня! Неужели ты думаешь, что я так глуп, чтобы на радость вам принять мучительную смерть? Нет, час мой еще не пришел!" Затрещали подоженные дрова; но не успел огонь добраться до Трабаччио, как вспыхнул он ярко, словно соломенный факел, в ту же минуту с одной из отдаленных возвышенностей донесся пронзительный саркастический хохот. Все посмотрели в ту сторону, и ужас обуял людей, когда увидели они живого доктора Трабаччио в черном платье, отороченном золотом плаще, со шпагой на боку, в испанской шляпе с низко опущенными полями и красным пером на голове, с ларцом под мышкой — точно такого же, каким он ходил по улицам Неаполя. Рейтары, сбирры, сотни других людей рванулись на холм, но Трабаччио бесследно исчез. Старуха испустила дух в ужаснейших муках, изрытая страшные проклятья в адрес своего господина, вместе с которым совершала жестокие преступления.

Итак, так называемый Игнац Деннер был не кем иным, как сыном доктора Трабаччио, который благодаря адскому искусству своего отца целым и невредимым выбрался из огня вместе с ларцом, в котором хранились самые редкие и таинственные драгоценности. Уже с самого раннего возраста отец обучал его тайным наукам, и душа его принадлежала дьяволу прежде, чем он стал себя осознавать. Когда доктора Трабаччио бросили в тюрьму, мальчик остался в запертой комнате, населенной духами зла, обузданными и прирученными дьявольским искусством его отца; когда же доминиканец одолел эти чары, мальчик ввел в действие тайный механизм, вызвавший к жизни пламя, которое в считанные минуты охватило весь дом, в то время как сам он поспешил в лес, где была назначена встреча с отцом. Ему не пришлось долго ждать: появился доктор Трабаччио, и они бежали. Их целью были расположенные в трех днях пути от Неаполя руины старинного римского строения, которые скрывали вход в большую, просторную пещеру. Здесь доктор Трабаччио был с громким ликованием встречен одной из многочисленных разбойничьих банд, с которой уже давно имел связь и которой с помощью своих тайных наук не раз оказывал ценные услуги. Разбойники хотели вознаградить его никак не меньше, чем коронованием: ему предложили стать главарем всех банд, действовавших в Италии и Южной Германии. Трабаччио объяснил, что вынужден отказаться от этой чести, ибо по воле звезд, определяющих его судьбу, он должен вести бродячий образ жизни и не может связывать себя никакими отношениями и обязательствами, однако он всегда будет на стороне разбойников и всегда готов служить им своим искусством и умением. Тогда разбойники решили избрать своим королем двенадцатилетнего Трабаччио, чем доктор был в высшей степени доволен. Так мальчик остался среди разбойников, и когда ему исполнилось пятнадцать лет, он уже был настоящим главарем. Вся его жизнь с самого начала была цепью гнусных преступлений и дьявольских упражнений, — в эту науку его все более глубоко посвящал отец, который часто появлялся среди разбойников, иногда неделями оставаясь в пещере наедине с сыном. Война, объявленная разбойникам, становившимся все более дерзкими и жестокими, королем Неаполя, но более всего вспыхнувшие между ними раздоры привели к тому, что гнусное братство распалось, тем более что молодого Трабаччио многие возненавидели из-за его высокомерия и жестокости, а унаследованные от отца дьявольские умения не могли служить надежной защитой от кинжалов его подданных. Он бежал в Швейцарию, взял себе имя Игнац Деннер и под видом странствующего кушца бродил по рынкам и ярмаркам Германии до тех пор, пока из рассеянных членов большой банды не образовалась группировка поменьше, которая избрала бывшего короля разбойников своим главарем...

И вот теперь Деннер заверил своих сообщников, что отец его жив, посещал его в тюрьме и обещал спасти прямо с места казни. Однако, когда он стал свидетелем того, как Божественное провидение спасло Андреса,— а это означало, что власть его отца потеряла силу,— он подобно кающемуся грешнику готов был отречься от дьявола и смиренно принять смерть как справедливое возмездие. Андрес, услышавший всю эту историю из уст графа фон Ваха, ни минуты не сомневался, что именно банда Трабаччио напала в окрестностях Неаполя на его господина; был он уверен и в том, что это старый доктор Трабаччио собственной персоной являлся перед ним в образе сатаны и хотел поколебать его дух, пробудить в нем злое начало. Только теперь он полностью осознал, какой опасности подвергался с того самого момента, когда мнимый Игнац Деннер появился в его доме; хотя и не понимал, почему он и его жена так привлекли этого проклятого злодея, ведь выгоды, которые мог извлечь Деннер из пребывания в домике егеря, были не столь значительны.

Ужасные бури, которые пережил Андрес, роковым эхом прокатились по всей его жизни. Раньше крепкий и сильный, Андрес из-за тоски, длительного заточения, неопикуемой боли пыток превратился в хилого и больного человека и не мог более заниматься охотой. Но самым прискорбным было то, что таяла и Джорджина, южная природа которой, памятью пережитый ужас, буквально на глазах увядала, словно снедаемая пылающим жаром. Никакая помощь ей более была не нужна, и она умерла через несколько месяцев после возвращения мужа. Андрес был в полном отчаянии, и лишь красивый, умный мальчик, точная копия матери, служил ему утешением. Ради него он делал все, чтобы поддержать в себе жизнь и набраться сил, так что по прошествии примерно двух лет здоровье его значительно улучшилось и время от времени он мог отправляться даже в лес на охоту. Процесс против Трабаччио достиг наконец своего завершения: он был, как когда-то его отец, приговорен к смерти через сожжение на костре, что и должно было свершиться через несколько дней.

Однажды, когда уже опустились сумерки, Андрес возвращался из леса. Он был уже почти возле замка, когда услышал жалобные стоны, доносившиеся из расположенного неподалеку рва. Поспешив подойти поближе, он увидел лежащего на земле, закутанного в жалкие лохмотья человека, который стонал от боли и, казалось, собирался испустить дух. Андрес, отбросив ружье и патронташ, с трудом вытащил несчастного, но когда он взглянул ему в лицо, то с ужасом узнал Деннера. Задрожав всем телом, он отпрянул, но Деннер вдруг глухо застонал:

— Андрес, Андрес, ты ли это? Ради милосердного Господа, которому отдал я свою душу, сжался надо мной! Вели ты спасешь меня, ты спасешь одну душу от вечного проклятья; ибо вскоре меня постигнет смерть, а покаяние мое еще не закончено!

— Проклятый лицемер! — вскричал Андрес.— Убийца моего ребенка, моей жены, неужто сатана снова привел тебя сюда, чтобы ты и меня погубил? Мне не о чем с тобой говорить. Умри и истлей, как падаль, проклятый! Андрес хотел было снова столкнуть его в ров, но его остановил душераздирающий вопль Деннера:

— Андрес! Ты спасешь отца твоей жены, твоей Джорджины, которая молится за меня у трона Всевышнего!

Андрес задрожал, при звуке милого имени его пронзила жгучая печаль, а вместе с нею — сострадание к этому разрушителю его жизни, убийце его счастья. Он с трудом поднял Деннера и отнес в свое жилище, где дал выпить укрепляющих напитков. Вскоре Деннер очнулся от забытья...

В ночь перед казнью Деннера охватил смертельный страх перед мучительной смертью на костре. В безумном отчаянии стал он трясти железные прутья зарешеченного окна, и они вдруг, оторвавшись, остались у него в руках. Луч надежды зародился в его душе. Он находился в башне рядом с высохшим городским рвом. Посмотрев вниз, Деннер тут же принял решение выпрыгнуть из тюремного окна и таким образом либо спастись, либо погибнуть. Избавиться от цепей было невозможно. Спрыгнув вниз, он потерял сознание и пришел в себя, когда уже ярко светило солнце. Он увидел, что упал в высокую траву между большими кустами, все его члены затекли и окаменели, он не мог даже пошевелиться. Навозные мухи и прочие насекомые садились на его полуобнаженное тело, и жалили его, и пили его кровь, а он не в состоянии был их отогнать. Так прошел полный мучений день. Лишь ночью удалось ему отползти подальше, и он был счастлив, когда добрался до канавки, где собралось немного дождевой воды, которую он тут же жадно проглотил. Почувствовав прилив сил, он смог с трудом подняться и двинуться дальше, что и сделал. Вскоре Деннер добрался до леса, начинавшегося неподалеку от Фулды и раскинувшегося почти до замка фон Ваха, а потом добрал и до того места, где его, боровшегося со смертью, нашел Андрес. Страшное напряжение последних часов совершенно вымотало его, и приди Андрес несколькими минутами позже, он наверняка был бы уже мертв. Не думая о том, что будет дальше со сбежавшим преступником, Андрес поместил его в отдельную комнату и ухаживал за ним, соблюдая максимальную осторожность, чтобы никто не мог даже

заподозрить присутствия чужака. И только своему сыну, безоглядно преданному отцу, доверил он эту тайну.

Андрес спросил Деннера, не солгал ли он, сказав, что является отцом Джорджины.

— Это истинная правда,— отвечал тот.— Однажды в окрестностях Неаполя я похитил прекрасную девушку, которая родила мне дочь. Теперь ты уже знаешь, Андрес, что одним из главных составляющих искусства моего отца было изготовление чудотворного ликера, главным ингредиентом которого была кровь из сердца детей, которым исполнилось девять недель, девять месяцев или девять лет и которых родители должны сами добровольно передать в руки приготавливавшему снадобье. Чем в более близком родстве состоят дети с чародеем, тем более действенным получается снадобье, приобретая способность увеличивать жизненную силу, даровать вечную молодость и даже способствовать созданию искусственного золота. По этой причине убивал мой отец своих детей, и я был готов во имя высших целей принести в жертву мою дочурку. До сих пор не могу понять, каким образом моя жена заподозрила мой умысел, но до истечения девятой недели она исчезла вместе с ребенком, и лишь через много лет я узнал, что она умерла в Неаполе, а дочь ее Джорджина воспитывалась у скупого хозяина гостиницы. Узнал я и о ее замужестве, и о вашем местонахождении. Теперь ты понимаешь, Андрес, почему я обнаруживал такую склонность к твоей жене и почему, обреченный на это проклятое дьявольское искусство, преследовал твоих детей. Но тебе, лишь тебе, Андрес, и чудесному твоему спасению Всемогуществом Божиим обязан я своим глубоким раскаянием, своим внутренним уничтожением. Кстати, ларец с драгоценностями, хранящийся у вас,— это тот самый, что спас я по приказанию своего отца из огня, и ты должен сохранить его для своего мальчика. "Ларец!" — ударило в голову Андреса.

— Но ведь Джорджина вернула его вам в тот день, когда совершили вы страшное убийство?

Конечно, — подтвердил Трабаччио,— однако Джорджина, сама того не ведая, снова стала его владелицей. Загляни в большой черный сундук, что стоит в прихожей.

Андрес пошарил в сундуке и действительно обнаружил на его дне проклятый ларец в том же состоянии, в каком принял он его на хранение от Трабаччио.

Андрес был очень недоволен собой, ибо не мог избавиться от мысли, что уж лучше бы он нашел Деннера уже мертвым. Правда, его раскаяние казалось искренним: не покидая своей кельи, он проводил все свое время за чтением божественных книг, и единственной его утехой было общение с маленьким Георгом, которого он, казалось, очень полюбил. Андрес решил, тем не менее, принять меры предосторожности и при первой же возможности открыл эту тайну молодому графу фон Ваху, который немало был удивлен этой странной игре судьбы.

Так прошло несколько месяцев, наступила поздняя осень, и Андрес стал чаще, чем обычно, ходить на охоту. Малыш оставался вместе с дедом и одним старым егерем, который тоже был посвящен в эту тайну. Однажды, когда Андрес возвратился с охоты, старый егерь сообщил ему испуганным шепотом: "Господин, у вас в доме недобрый жилец. К нему является нечистая сила! Входит через окно и выходит обратно дымом и паром".

Андресу стало плохо, словно в него ударила молния. Он прекрасно знал, что это может означать. Тем временем старый егерь продолжал свой рассказ. Уже много дней подряд, говорил он, когда становится совсем темно, в комнате Деннера слышатся странные голоса, которые беседуют и сердито спорят, перебивая друг друга, а сегодня, когда он неожиданно открыл дверь к Деннеру, ему показалось, что к окну метнулась фигура в красном, отороченном золотом плаще.

Разгневанный Андрес поспешил подняться к Деннеру, сообщил ему о подозрениях егеря и заявил, что не преминет запереть его в темнице замка, если он не оставит свои злые дела. Деннер оставался спокоен и ответил печально: "Ах, дорогой Андрес! Правда здесь лишь то, что отец мой, смертный час которого еще не пришел, невыносимо терзает и мучит меня. Он хочет, чтобы я снова обратился к нему и отрекся от обретенной веры, однако я был непреклонен и не думаю, чтобы он снова возвратился сюда, ибо увидел, что не имеет больше власти надо мной. Будь спокоен, сын мой Андрес, и дай мне умереть рядом с тобой как набожному христианину, примиренному с Богом".

И действительно, ужасный Трабаччио, похоже, больше не появлялся. Между тем глаза Деннера временами сверкали прежним огнем, иногда он снова улыбался так же насмешливо, как и раньше. В часы молитв, которые Андрес возносил вместе с ним, того, казалось, потрясали судорожные содрогания; время от времени по комнате пролетал резкий, свистящий сквозняк, с шумом переворачивающий страницы молитвенных книг и даже вырывающий эти книги из рук Андреса. "Безбожный Трабаччио, проклятый сатана! — вновь не выдержал однажды Андрес.— Ты держишь здесь этого адского призрака! Что тебе нужно от меня? Изыди, ибо ты не властен надо мной! Изыди!" Внезапно раздался громкий издевательский смех и в окно словно забили черные крылья. Заплакал, проснувшись, маленький Георг. Это дождь бьет в окно, это воет осенний ветер, утверждал Деннер.

— Нет,— негодовал Андрес,— ваш безбожный отец не смог бы творить здесь свои бесчинства, если бы вы полностью отреклись от него. Вы должны покинуть мой дом. Ваше настоящее жилище давно ждет вас — это темница замка; там вы можете общаться со своим призраком сколько угодно. Деннер заплакал и во имя всех святых просил разрешить ему остаться, а маленький Георг, не понимая, что все это значит, тоже поддерживал его просьбу.

— Так и быть, оставайтесь здесь еще завтра,— сдался Андрес.— Я посмотрю, как пройдет у нас час молитвы, когда вернусь с охоты.

На следующий день стояла прекрасная осенняя погода, и Андрес рассчитывал на богатую добычу. Когда он возвращался домой, было уже совсем темно. На душе у него было весьма беспокойно: вся его необычная и нелегкая судьба, лицо Джорджины, его убитое дитя,— все это так живо представилось его внутреннему взору, что он, глубоко уйдя в свои мысли, все больше отставал от охотников, пока наконец, сам того не замечая, оказался один-одинешенек на одной из боковых троп в глубине леса. Собираясь вернуться на основную дорогу, он вдруг заметил ослепительный свет, пробивающийся сквозь густые заросли. И тут охватили его страх и ужасное предчувствие. Он рванулся вперед, продираясь через кусты,— и первым увидел фигуру старого Трабаччио в отороченном золотом плаще, со пшагой на боку, в шляпе с красным пером и врачебным ларцом под мышкой. Горящими глазами смотрел он в огонь, красными и синими языками выбивающийся из-под реторты. У костра, на своеобразной решетке, лежал Георг, обнаженный и вытянувшийся, а проклятый сын сатанинского доктора занес вверх блестящий нож, готовый нанести смертельный удар. Андрес закричал от ужаса, но не успел убийца оглянуться, как просвистела пуля из ружья Андреса, и Деннер рухнул с разmozженной головой в костер, который тотчас же погас. Призрак Трабаччио исчез. Андрес подскочил, развязал несчастного Георга и быстро понес его домой. Мальчик был невредим, лишь от сильного страха лишился чувств. Затем Андрес разбудил старого егеря, который спал глубоким, вероятно насланным Трабаччио, сном, они взяли с собой фонарь, крюк и лопату и отправились обратно в лес,— Андрес хотел убедиться в смерти Деннера и закопать труп. Окровавленный Деннер лежал на прежнем месте; как только Андрес приблизился к нему, он приподнялся, посмотрел на него безумным взглядом и захрипел: "Убийца! Убийца отца своей жены, но духи мои не оставят тебя в покое!" "Отправляйся в ад, сатанинский злодей,— вскричал Андрес, борясь с охватившим его ужасом,— отправляйся в ад, ты, который сотни раз заслужил смерть и которому я дал эту смерть, ибо ты хотел убить мое дитя, дитя своей дочери! Ты лицемерно изображал раскаяние и набожность во имя позорного предательства, и пусть сатана приготовит достойные муки для твоей души, которую ты ему продал". Тут Деннер взвыл, судорожно вытянулся и, все глуше и глуше стелая, испустил дух. Двое мужчин выкопали глубокую яму и опустили в нее мертвое тело. "Кровь его не ляжет на меня! — убежденно сказал Андрес.— Я не мог иначе, я был послан для этого Богом, чтобы спасти моего Георга и отомстить за бесчисленных жертв этого злодея. Но все же я хочу помолиться за его душу и поставить на его могиле крест".

Когда на следующий день Андрес собрался исполнить свое намерение, он нашел землю разворошенной, а труп исчезнувшим. Сделали ли это дикие звери или еще кто-нибудь, так и осталось тайной. Андрес отправился со своим маленьким сыном и старым егерем к графу фон Баху и рассказал ему обо всем случившемся. Молодой граф одобрил поступок Андреса, который убил ради спасения своего сына разбойника и убийцу, и распорядился записать все подробности этого невероятного дела и сохранить эти записи в архиве замка.

Все эти события потрясли Андреса до глубины души, и, наверное, поэтому, когда наступила ночь, он долго ворочался в постели, не в силах заснуть. И вот когда он уже почти погрузился в сон, по комнате вдруг пронеслось потрескивание и шорох, возникло и тут же исчезло красное свечение. Андрес услышал чей-то глухой голос, почти невероятное бормотание: "Теперь уже ты мастер,— напрягши слух разобрал он,— ты владеешь сокровищем, владеешь сокровищем, повелевай силой, она твоя!" Незнакомое чувство самодовольства и какого-то странного тайного удовлетворения внезапно шевельнулось в нем, но с первым лучом утренней зари он опомнился и стал страстно и ревностно молиться, как привык это делать, Господу, просветившему его душу. "Я знаю, что я должен сделать, чтобы справиться с искусителем и отвести грех от моего дома!" — так сказал Андрес, взял ларец Трабаччио и, не открывая, бросил его в глубокое ущелье...

Андрес дождался спокойной старости, и никакая враждебная сила не смогла больше смутить его душу.

ЦЕРКОВЬ ИЕЗУИТОВ В Г.

Затворенный в жалкой почтовой колымаге, которую, руководствуясь инстинктом, покинула даже моль, как крысы корабль Просперо, я, весь словно батогами избитый после выматывающей душу и тело изнурительной езды, наконец остановился перед гостиницей на рыночной площади города Г. Все предначертанные мне несчастья обрушились и на мою карету, которая валялась теперь, поломанная, у почтмейстера последней станции. Спустя некоторое время четыре тощие загнанные клячи при помощи нескольких мужиков и моего слуги дотащили наконец эту дорожную развалюху; пришли знатоки, покачали головами и заявили, что здесь требуется капитальный ремонт, на который уйдет два, а то и все три дня. Городок оказался мне приветливым, окрестности живописными, и все же я немало испугался, узнав, что мне грозит вынужденная остановка.

Если тебе, любезный читатель, случалось когда-нибудь провести денька три в маленьком городке, где у тебя нет знакомых, где ты совершенно чужой для всех, тогда — если только какая-то затаенная боль не погасила в тебе стремления к приятному общению, дружеской беседе — ты поймешь мою досаду. Ведь только живительная сила слова делает нашу жизнь полноценной; обитатели же маленьких городов настроены на один лад и подобны оркестру с постоянным составом, исполняющему одни и те же произведения, и только эти опусы получаются чисто и правильно, а каждый звук чужого голоса звучит для их слуха диссонансом, и они моментально умолкают.

В весьма скверном настроении я ходил по комнате из угла в угол и вдруг вспомнил, что один из моих приятелей не раз бывал в Г. и много рассказывал мне о некоем человеке духовного звания, отличавшемся незаурядным умом и ученостью, с которым он здесь с приятностью общался. Я смог вспомнить даже имя: это был профессор иезуитской коллегии Алоизий Вальтер. Я решил отправиться туда и использовать знакомство моего товарища в своих собственных интересах. В коллегии мне сообщили, что у профессора сейчас лекция, и предложили либо зайти попозже, либо подождать в одном из залов. Я выбрал последнее.

Монастыри, коллегии и церкви иезуитов, как правило, построены в том итальянском стиле, который опирается на античные формы, предпочитая изящество и пышность суровому благочестию и религиозному аскетизму. Так и здесь высокие и просторные залы, полные света и воздуха, отличались богатым архитектурным декором, а наддверные орнаменты, изображающие хоровод античных гениев либо фрукты и прочие изысканные лакомства, составляли весьма странный контраст развешанным между ионическими колоннами картинам с ликами различных святых.

Вошел профессор, я напомнил ему о своем товарище — и тут же получил от господина Вальтера любезное приглашение воспользоваться его гостеприимством во время моей вынужденной остановки в Г. Мой приятель не преувеличивал: профессор был красноречивым и остроумным собеседником, мудрым и воспитанным человеком, — словом относился к лучшим представителям духовных особ высокого сана; благодаря ученой образованности кругозор его не ограничивался одним только требником: он повидал мир и хорошо знал жизнь. Когда я обнаружил, что и его комната обставлена с современной элегантностью, я поделился с профессором мыслями, которые посетили меня в залах коллегии.

— Вы правы, — отвечал он, — мы изгнали из наших строений эту мрачную суровость, это давящее величие могущественного тирана, от которого теснит в груди и охватывает глухой ужас; я полагаю, заслуживает похвалы и то, что мы вернули нашим творениям жизнерадостность древних.

— Но разве, — возразил я, — именно это величавое достоинство, эта устремленность к небесам не есть отражение истинного духа христианства, чья отрешенность от всего мирского и низменного противопоставит земной чувственности, так свойственной античности? Профессор улыбнулся.

— Высший мир, — сказал он, — надобно познавать во время земной жизни, и этому познанию могут помочь те радостные символы, которые предлагает сама жизнь, они ниспосланы нам Божественным духом. Конечно, отчизна наша на небесах, но куда мы пребываем здесь, то принадлежим и этому миру.

"Несомненно, — подумал я, — всеми своими делами вы доказываете, вкушаете все блага именно этого бренного мира". Но с профессором Алоизием Вальтером я этой мыслью, естественно, не поделился. Он же тем временем продолжал:

— То, что вы говорите о роскоши нашего здешнего храма, можно, по-видимому, отнести лишь на счет приятности формы. Здесь, где мрамор недоступен, где великие художники работать не станут, приходится в соответствии с новыми тенденциями применять суррогаты. Мы осмелились на полированный гипс, и это уже много; мраморы же наши — дело рук живописца, что как раз сейчас можно наблюдать в нашей церкви: благодаря щедрости наших покровителей мы имеем возможность подновить ее убранство.

Я выразил желание осмотреть церковь, и профессор провел меня вниз. Вступив в коринфскую колоннаду, отделяющую главный неф церкви от боковых приделов, я в полной мере испытал на себе эстетическое воздействие изящных пропорций. Слева от главного алтаря были возведены высокие леса, на которых стоял человек и расписывал стены под нумидийский мрамор.

— Как идут дела, Бертольд? — окликнул живописца профессор. Тот обернулся, но тотчас же снова принялся за работу, проговорив глухим, едва слышным голосом:

— Сплошное мучение — все искривлено, переплетено, с линейкой и близко не подступишься.

Звери... Обезьяны... Человеческие лица... Лица... О, я жалкий глупец! — последние слова он выкрикнул громко, таким голосом, который может быть исторгнут лишь глубокой, бушующей в душе болью. Что-то во всем этом несказанно меня поразило: эти речи, выражение лица, взгляд, которым он посмотрел на профессора, представили моему воображению смятенную, наполненную неразрешимыми противоречиями жизнь несчастного художника.

На вид ему было чуть больше сорока лет; во всем его облике, несмотря на бесформенную, перепачканную рабочую одежду, сквозило неопишное благородство, а глубокая тоска могла обесцветить лишь его лицо, но не погасить огонь, струящийся из его глаз. Я попросил профессора рассказать об этом художнике.

— Он не из этих мест, — отвечал господин Вальтер, — и объявился здесь как раз тогда, когда было решено реставрировать эту церковь. Мы предложили ему работу, и он согласился; повезло и нам — его приезд оказался для нас счастливым случаем, ибо ни здесь, ни во всей дальней округе не сыщешь такого искусного мастера по всем видам росписи, и притом столь старательного и усердного. К тому же он еще и добрейшей души человек, мы все его полюбили, так что в коллегии он принят как нельзя лучше. Кроме неплохого гонорара, который он получит за свой труд, мы предоставляем ему еду и жилье; впрочем, это весьма незначительный расход — в еде он чрезвычайно воздержан, что, по-видимому, можно приписать его болезненной конституции.

— А мне он показался таким угрюмым, таким... раздраженным, — вставил я свое слово.

— Тому есть особенная причина, — ответил профессор. — Однако давайте-ка лучше посмотрим с вами алтарные образы в боковых приделах, там есть отличные работы. Не так давно они достались нам по чистой случайности. Среди них только один оригинал кисти Доменико, остальные картины написаны неизвестными мастерами итальянской школы. Но если вы будете смотреть без предвзятости, то убедитесь, что каждая из них достойна самой именитой подписи.

Все так и оказалось, как говорил профессор. По неожиданной странности, единственный оригинал относился к числу слабых вещей и был едва ли не самым слабым, зато некоторые безымянные картины были так хороши, что совершенно пленили меня. Одна из картин была занавешена; я полюбопытствовал, зачем ее укрыли.

— Эта картина, — сказал мне профессор, — лучше остальных и принадлежит кисти одного молодого художника новейшего времени; по всей видимости, это последнее его произведение, ибо он остановился в своем полете. По некоторым причинам нам пришлось на время занавесить картину, но завтра или послезавтра я, может быть, смогу ее вам показать.

Я хотел проявить настойчивость и продолжить расспросы, но профессор вдруг быстрым шагом двинулся дальше; я понял, что он не расположен сейчас к дальнейшим объяснениям.

Мы вернулись в коллегию, и я с удовольствием согласился прокатиться с профессором в находившийся поблизости загородный парк. Назад мы вернулись поздно. Собралась гроза; и не успел я переступить порог моего жилища, как хлынул ливень. Время было уже, верно, за полночь, когда небо наконец прояснилось и лишь изредка еще доносилось далекие раскаты грома. Через раскрытые окна в душную комнату повеяло прохладой, воздух был напоен благоуханием; несмотря на усталость, я решил немного прогуляться; едва добудившись сердитого привратника, который уже часа два храпел в постели, я с трудом втолковал ему, что желание прогуляться в полночь вовсе не означает безумия; и вот я очутился на улице.

Поравнявшись с церковью иезуитов, я заметил, что одно из ее окон необычайно ярко светится.

Боковая дверь оказалась приоткрытой, я вошел внутрь и увидел, что перед высокой полукруглой нишей горит факел. Вся ниша была затянута веревочной сеткой, за которой вверх и вниз по стремянке сновала какая-то темная фигура; подойдя поближе, я разглядел, что это был Бертольд. Он раскрашивал нишу черной краской так, чтобы мазки точно повторяли тень, отбрасываемую сеткой. Рядом со стремянкой на высоком мольберте был установлен эскиз алтаря. Я оценил эту остроумную выдумку. Если и ты, благосклонный читатель, хоть немного знаком с загородным искусством живописи, то нет необходимости объяснять, чем был занят художник и для чего нужна была сетка. Бертольд должен был нарисовать в нише выпуклый алтарь. Для того чтобы верно изобразить маленький эскиз в увеличенном масштабе, пришлось бы, если следовать обычной методе, расчертить

сеткой как сам эскиз, так и поверхность, на которую его предстояло перенести. Однако эта поверхность была не плоской, а вогнутой и искажение, которое неизбежно должны были получить квадраты, а также правильные пропорции архитектурных деталей, которые в росписи должны были предстать выпуклыми, невозможно было рассчитать иначе, чем этим гениальным в своей простоте способом. Опасаясь, как бы моя тень не выдала моего присутствия, я встал сбоку, чтобы не заслонить факел, но все же достаточно близко, чтобы наблюдать за живописцем. Его нелегко было узнать; может быть, пламя факела было тому причиной, но только лицо у него разругалось, а глаза сверкали, выражая полное душевное удовлетворение. Он закончил чертеж и стоял подбоченясь перед нишей, насвистывая веселую песенку и любуясь своей работой. Затем обернулся, чтобы убрать сетку, и заметил меня.

— Эй, кто там? Это вы, Христиан? — громко окликнул он.

Приблизившись, я сказал, что случайно забрел сюда на огонек, а затем воздал должное его находчивости, показав, что кое-что смыслоу в живописи и сам не чужд этому благородному занятию. Оставив мои слова без ответа, Бертольд пробурчал:

— Впрочем, что с него возьмешь, с этого Христиана! Лодырь, да и все тут! Обещался, что пособит мне, а сам, небось, давно спит без задних ног. Мне же надо поторапливаться, завтра, быть может, ни черта не получится, а сейчас мне одному не справиться.

Я предложил в помощники себя. Он расхохотался, хлопнул меня по плечу и воскликнул:

— Вот это здорово! Оставим Христиана с носом! Что-то он скажет завтра, когда увидит, что и без него обошлись! Так пойдемте же, приятель, первым делом помогите мне строить!

Он зажег свечи, мы приволокли козлы и доски и быстро соорудили подле ниши высокий помост.

— Ну, теперь за дело! — возгласил Бертольд, взбираясь наверх.

Я только дивился, с какой стремительностью он переводил эскиз на стену, проворно и безошибочно вычерчивая линии, рисунок его был точен и чист. У меня тоже был кое-какой навык в этом деле, и я усердно помогал художнику: перемещаясь то вверх, то вниз, я прикладывал к нужной отметке длинную линейку, затачивал и подавал угольки и т.д.

— А из вас толковый помощник, — весело заключил Бертольд.

— А вы, — отозвался я, — непревзойденный мастер архитектурной росписи. А кстати, неужели вы с вашей сноровкой, да при такой верной руке никогда не пробовали писать что-нибудь другое?

Простите меня за этот вопрос!

— Как вас понимать? — переспросил Бертольд.

— Да так и понимать, что вы способны на нечто большее, чем разрисовывать церкви мраморными колоннами. Как ни посмотри, архитектурная живопись все-таки не такое уж значительное искусство; историческая живопись или пейзаж, безусловно, стоят выше. Тут ум и воображение не ограничены тесными рамками геометрических линий, ничто не сковывает их полета. Единственное, что питает фантазию в вашей живописи, это иллюзия, создаваемая перспективой; но ведь и она зависит от точного расчета, а не от гениальной идеи.

Художник опустил кисть и слушал меня, подперев голову руками.

— Незнакомый друг мой, — начал он в ответ глухим и торжественным голосом. — Незнакомый друг, кощунственно устанавливая иерархию между отдельными видами искусства, словно между подданными могущественного владыки. Еще того хуже — почитать лишь тех заносчивых гордецов, которые свободны от рабских цепей, которых не давит тяжесть земного притяжения; возмнив себя едва ли не богами, они стремятся властвовать над самою жизнью. Знаешь ли ты миф о Прометее, который, возжелав стать творцом, украл огонь с неба, чтобы оживить мертвых истуканов? И что же? Его создания отправились бродить по земле, и в глазах у них плясали отблески огня, зажженного в их сердцах; зато святотатец, осмелившийся похитить Божественную искру, был проклят и осужден на вечную казнь. Грудь его, в которой зародился божественный замысел и жили неземные устремления, терзает злой стервятник, кровавое орудие мести, питающийся плотью отважного гордеца. Тот, кто лелеял небесную мечту, навек обречен на земную муку, от которой нет избавления.

Умолкнув, художник погрузился в свои мысли.

— Как же так, Бертольд? — воскликнул я. — Какое отношение это имеет к искусству? Разве назовет кто-нибудь святотатцем скульптора или живописца за то, что они создают человеческий образ?

Бертольд с горечью рассмеялся:

— Ха-ха! Б ребяческих забавах не может быть святотатства!.. Большинство ведь только и тешит себя такими забавами: обмакнул кисть в краску — и мажет холст, не очень-то задумываясь, однако ж претендуя изобразить на нем человека. А выходит так, как сказано в одной трагедии, где неумелый подмастерье природы задумал создать человека, да только не удалась затея. Это еще не грешники, не святотатцы, а всего лишь несмышленные дурачки! Но коли тебя вдохновляет высший идеал, не

торжество плоти, как у Тициана,— нет! — но высшее проявление божественной природы, Прометеева искра в создании Божьем, тогда... Тогда, сударь, это — гибельная скала среди бушующих волн! Узенькая полоска под ногами! Под ней же — бездна, над которой стремится свой путь отважный мореход, а дьявол являет ему внизу — внизу! — то, чего искал его взор в надзвездных высях! Художник глубоко вздохнул и провел рукой по лбу.

— Но что это я! Заболтался невесть о чем, а работа стоит! Поглядите-ка лучше сюда! Вот то, что называется честным, добротным рисунком. Какая славная штука — гармония! Все линии сочетаются ради единой задачи, тщательно продуманного эффекта. Где мера — там и человечность. А что сверх меры — то от лукавого.

Сверхчеловек — это либо Бог, либо дьявол; ни того, ни другого человек не может превзойти по части математики. Почему бы не допустить, что Бог и создал нас для того, чтобы мы воплощали его замыслы, пользуясь доступными для нашего познания математическими правилами, подобно тому, как и сами мы понаделали себе всяких механических приспособлений, лесопилок, к примеру, или ткацких станков. Профессор Вальтер давеча утверждал, что будто бы иные животные затем только и созданы, чтобы другие их поедали, а в конечном счете выходит, что такой порядок существует для нашей же пользы. Так, кошки обладают врожденным инстинктом к поеданию мышей, чтобы мы не остались без сахара, припасенного к чаю. Так, может быть, он прав? Может, в самом деле животные, да и мы сами — это целесообразно обустроенные механизмы для переработки определенных веществ, которые предназначены на стол некоему неведомому правителю?.. А ну-ка, живей, мой помощник! Подавай мне горшочки! Вчера при солнечном свете я подобрал нужные оттенки, чтобы не ошибиться вечером, все краски пронумерованы и стоят в углу. Подавай сюда номер первый, мальчик! Серым по серому — сплошная серость! Ну, до чего бы скучной и унылой была наша жизнь, кабы Господь небесный не дал нам в руки разных игрушек! Послушным детям не вздумается ломать ящичек, в котором играет музыка, стоит лишь покрутить ручку. Утверждают, что все это так естественно: музыка звучит потому, что я кручу ручку!.. Вот сейчас я изображу эти брусья в правильной перспективе, и для зрителя они предстанут объемными. Номер второй сюда, мальчик! Теперь я выпишу их правильно подобранными красками, и они зрительно отодвинутся в глубину на четыре локтя. Все это я знаю наверняка! О! Мы такие умники! Отчего получается так, что, отдаляясь, предметы уменьшаются в размере? Один дурацкий вопрос какого-нибудь китайца может поставить в тупик самого профессора Эйтельвейна; хотя на крайний случай его выручит та же шарманка: можно ответить, что я не раз, мол, крутил ручку и всегда наблюдал при этом одинаковое действие... Фиолетовую номер один, мальчик!.. Другую линейку!.. Толстую отмытую кисть! Ах, что такое наши возвышенные стремления и погоня за идеалом, как не беспомощное барахтанье младенца, которое ранит его благодетельную кормилицу!.. Фиолетовый номер два, мальчик, живее!.. Идеал — это обманчивая и пустая мечта, порождение кипучей крови... Забирай горшочки, мальчик, я слезаю... Видать, черт нас дурачит: вместо ангелов подсовывает бездушных кукол с приклеенными крылышками!

Решительно невозможно дословно воспроизвести все, что говорил Бертольд; при этом он не переставал писать и гонял меня как настоящего подручного. Подобным образом он продолжал язвительно глумиться над ограниченностью всех земных стремлений; в общем, я заглянул в глубину смертельно раненной души, заглушающей свою боль в едкой иронии.

Забрезжило утро. Поток солнечных лучей затмил свет факелов. Бертольд продолжал писать истоиво, однако постепенно выдыхался, и вскоре лишь отрывочные звуки, а под конец уже одни только вздохи вырывались из его измученной груди. Черновая работа была завершена; благодаря верно подобранным оттенкам детали неоконченной росписи с изумительной пластичностью проступали на стене.

— Это великолепно! Просто великолепно! — воскликнул я в восхищении.

— Стало быть, у меня кое-что получилось? — промолвил Бертольд усталым голосом.— По крайней мере, я старался. Но на сегодня — баста. Больше ни одного мазка!

— Это просто невероятно,— заметил я.— Всего за несколько часов вы осилили такую работу; однако вы совсем себя не бережете — более того, вы просто истязаете себя!

— Да ведь это для меня самые счастливые часы,— пробормотал Бертольд.— Может, я тут наболтал много лишнего, но ведь это не более как слова, в которых изливается страдание, терзающее мою душу.

— Вы очень несчастны, мой бедный друг,— сказал я.— Мне кажется, что с вами приключилось какое-то ужасное событие, разрушившее вашу жизнь.

Художник не спеша отнес в часовню свои рабочие принадлежности, потушил факел, затем подошел ко мне, взял меня за руку и промолвил дрогнувшим голосом:

— Возможно ли хотя бы минуту прожить со спокойной душой, когда на твоей совести чудовищное, ничем не искупимое преступление?

Я застыл на месте. Ясные солнечные лучи озаряли покрывшееся мертвенной бледностью, потерянное лицо художника; похожий на привидение, он неверной поступью скрылся за дверь, которая вела в коллегию.

На другой день я едва дождался часа, назначенного профессором Вальтером для нашей встречи. Я подробно рассказал ему обо всем, что произошло этой ночью и что так взволновало меня. В самых живых красках я описал странное поведение художника и передал все его слова, не утаив и тех, которые имели отношение к нему самому. Однако профессор не разделял моих чувств. Более того, меня поразило его равнодушие. Видя, что я без устали готов говорить о Бертольде, он в ответ на мои настоятельные просьбы рассказать все, что ему известно о художнике, усмехнулся весьма неприятной усмешкой.

— Да, странный человек этот художник,— вяло подтвердил профессор.— Вроде бы и кроток, и добродушен, и трудолюбив. Вот только надежной закваски в нем нет, иначе никакое внешнее событие, даже убийство, не могло бы превратить великого-живописца в убогого маляра.

Слово "маляр" возмутило меня не меньше, чем безразличие профессора. Я попытался растолковать ему, что Бертольд и сейчас еще как художник достоин всяческого уважения и заслуживает самого живого участия.

— Ну что же,— сдался профессор.— Уж коли наш Бертольд до такой степени вас заинтересовал, то вы, так и быть, узнаете про него все, что известно мне самому, а это не так уж мало. Для начала отправимся в церковь. Проработав всю ночь напролет, Бертольда утомили и полдня будет отдыхать. Если же окажется, что он сейчас в церкви, то наше предприятие не состоится.

В церкви профессор распорядился, чтобы открыли занавешенную картину — и предо мною предстала такая безупречная, ослепительная красота, какой я раньше никогда не видывал. Композиция картины была выдержана в стиле Рафаэля — проста и божественно прекрасна: Мария и Елизавета, сидящие в чудесном саду на лужайке, перед ними играющие с цветами младенцы Иоанн и Христос, на заднем плане — коленопреклонная мужская фигура. Волшебное лицо Марии, царственность и возвышенность всего ее облика потрясли меня до глубины души. Она была восхитительна, в целом мире не было женщины прекраснее ее! Но подобно мадонне Рафаэля взор ее говорил об иной, высшей власти — власти Божьей матери. Ах! Разве не достаточно человеку заглянуть в эти дивные очи, осененные глубокой тенью, чтобы в душе его рассеялась неутолимая тоска? Разве не слышатся из этих полураскрытых неясных уст утешительные, словно райское пение, слова о бесконечном небесном блаженстве? Пасть перед нею ниц и лежать у ее ног,— вот какие чувства вызывал этот дивный лик, Я не мог оторвать глаз от божественной картины. До конца были выписаны только Мария и дети. Елизавете недоставало завершающих мазков, а фигура молящегося была намечена лишь контуром. Подойдя ближе, я узнал черты Бертольда и предугадал слова профессора прежде, чем он успел их вымолвить.

— Эта картина,— объяснил профессор,— последняя работа Бертольда; несколько лет назад мы приобрели ее в Верхней Силезии, на аукционе в Н. И хотя она не закончена, мы решили заменить ею убогую поделку, которая раньше была на этом месте. Когда Бертольд увидел эту картину, он громко вскрикнул и упал без чувств, после чего старательно избегает на нее смотреть и заявил, что это его последнее творение в таком роде. Я надеялся, что со временем сумею уговорить Бертольда и он допишет остальное, но он и слышать об этом не хочет, отвечая отказом на все мои просьбы с ужасом и отвращением. Чтобы не смущать его душу, пришлось на время занавесить картину. Ибо стоит ему нечаянно на нее взглянуть, как он, точно влекомый неодолимой силой, подбегает к ней, с рыданиями бросается наземь, впадает в транс и потом на несколько дней выбывает из строя.

— Бедный, несчастный человек! — воскликнул я.— Какая же дьявольская сила вмешалась в его жизнь и так ее искалечила?

— Ну, ответ будет таков: он сам и есть источник этой силы. Да, да! Без сомнения, он сам является тем злым демоном, тем Люцифером, который адским огнем озарил его жизнь.

Я стал упрашивать профессора не медля поведать мне все, что знает он о жизни несчастного художника.

— Слишком уж долгая это история, чтобы рассказать ее одним духом,— возразил профессор,— Давайте не будем портить этот прекрасный солнечный день такими печальными вещами. Лучше позавтракаем, а потом отправимся на мельницу, где нас ожидает отменный обед.

Однако я был настойчив и не отставал от профессора со своими расспросами, и так, слово за слово, наконец выяснилось, что к Бертольду, когда он здесь появился, всей душой привязался один юноша, учившийся в коллегии; ему-то Бертольд постепенно стал поверять свои сокровенные мысли, а также

события своей жизни; тот же старательно все записывал, а, закончив, отдал рукопись профессору Вальтеру.

— Он был энтузиастом вроде вас,— сказал в заключение профессор,— А кроме того, это увлекательное занятие послужило ему хорошим упражнением в стилистике.

В конце концов я не без труда добился от профессора обещания, что вечером, после прогулки, он даст мне прочесть эти записки. Не знаю, отчего; то ли мое любопытство было доведено до предела, то ли по вине самого профессора, но только я никогда еще не томился так, как в этот день. Уже холодность, с которой профессор относился к Бертольду, произвела на меня отталкивающее впечатление; а разговоры, которые он вел за обедом со своими коллегами, окончательно убедили меня, что, несмотря на всю ученость и светскую испушенность, многие тонкие материи недоступны для его понимания; более грубого материалиста, чем профессор Вальтер, я, пожалуй, не встречал. Оказывается, он и в самом деле исповедовал идею взаимного пожирания, о которой упоминал Бертольд. Все духовные устремления, полет фантазии, способность к творчеству он ставил в зависимость от состояния желудка и кишечника и вообще изрекал еще много невообразимой чепухи. Так, он всерьез утверждал, что всякую мысль продуцирует совокупность двух микроскопических волокон человеческого мозга. Мне стало понятно, как терзал профессор всем этим вздором бедного Бертольда, который в пароксизмах беспешабной иронии отрицал созидательную силу высшего начала; господин Вальтер словно острым ножом бередил его кровоточащие раны.

Вечером профессор вручил мне наконец несколько рукописных листов со словами:

— Вот, милый энтузиаст, получите студенческую писанину. Слог недурен, однако автор своевольно и безо всякой оговорки цитирует художника от первого лица, не считаясь с принятыми правилами. Поскольку я вправе распоряжаться этой рукописью, то дарю ее вам, вы ведь, слава Богу, не писатель. Автор "Фантазий в манере Калло", несомненно, перекроил бы этот опус на свой несуразный лад и тиснул бы в печать; ну, да с вашей стороны ничего такого опасаться не приходится.

Профессор Алоизий Вальтер не знал, что имеет дело со странствующим энтузиастом, хотя мог бы и догадаться. Итак, читатель, я предлагаю твоему благосклонному вниманию составленную студентом иезуитской коллегии краткую повесть о художнике Бертольде. Она вполне объясняет то странное впечатление, которое он произвел на меня при нашей встрече, а ты, о, мой читатель, узнаешь, как прихотливая игра судьбы ввергает нас порой в пагубнейшие заблуждения!

— Не тревожьтесь и отпустите нашего сына в Италию! Он и сейчас уже первоклассный художник; живя в А., он может штудировать превосходные, разнообразные оригиналы, которых у нас здесь предостаточно. И все-таки Бертольду неразумно тут оставаться. Под солнечным небом, на родине искусства он познает жизнь вольного художника, там его дар получит живой импульс, обретет свою идею. Копирование более ничего ему не даст. Для молодого растения необходимо солнце, тогда оно пойдет в рост, расцветет и принесет плоды. У вашего сына душа истинного художника! — так говорил старый живописец Штефан Биркнер родителям Бертольда. Погоревав о предстоящем расставании, те наскребли столько денег, сколько могли выделить из своего весьма скудного достатка, и снарядили сына в дальнюю дорогу. Так осуществилась заветная мечта Бертольда.

"Когда Биркнер сообщил мне о решении моих родителей, я даже подпрыгнул от радости и восторга. Последние дни перед отъездом я жил точно во сне. Кисти валилась у меня из рук. Ко всем, кто уже побывал в Италии, я без конца приставал с расспросами об этой стране, колыбели искусства. Наконец настал день и час моего отъезда. Мое расставание с родителями было горестным: их терзало мрачное предчувствие, что нам не суждено более встретиться. Даже отец мой, человек решительный и твердый, с трудом сохранял спокойствие.

Зато мои товарищи художники приняли это известие с энтузиазмом.

— Ты увидишь Италию! Италию! — восторженно восклицали они.

Глубокая печаль и такая же глубокая страсть разрывали мое сердце. Но решение было принято. И мне казалось, что, перешагнув порог отчего дома, я вступаю на стезю искусства".

Получив неплохую подготовку во всех родах живописи, Бертольд главным образом уделял внимание пейзажу, работая усердно и с увлечением. Однако надежды на то, что в Риме он найдет богатый материал для этих занятий, не оправдались. Он попал в круг художников и ценителей искусства, где считалось, что лишь историческая живопись представляет собой истинную ценность, все остальное — вторично. Ему советовали: если он хочет достичь чего-то выдающегося, лучше сразу обратиться к более высокой цели. Эти советы и знакомство с величественными ватиканскими фресками Рафаэля, которые произвели на Бертольда потрясающее впечатление, сыграли свою роль: забросив пейзажи, он стал срисовывать фрески Рафаэля и копировать небольшие картины других знаменитых художников. Результат, при его навыке, был вполне приличным, однако похвалы художников и знатоков не радовали Бертольда: он слишком хорошо сознавал, что все это говорилось ему в

утешение, чтобы ободрить новичка. Он понимал также, что в его рисунках и копиях совершенно отсутствует та жизнь, которой дышали оригиналы. Ему казалось, что божественные замыслы Рафаэля и Корреджо питают его, вдохновляют на самостоятельное творчество, но как он ни пытался удержать эти образы в своем воображении, они расплывались словно в тумане; он начинал рисовать по памяти, но, как это всегда бывает при смутном и непродуманном замысле, выходило что-то в высшей степени незначительное. Эти тщетные попытки рождали в его душе тоскливое раздражение, он стал чуждаться своих друзей, бродил в одиночестве по окрестностям Рима и, таясь ото всех, пробовал писать пейзажи красками и карандашом. Но и пейзажи теперь не удавались ему так, как бывало прежде, и Бертольд впервые усомнился в своем призвании. Казалось, рушились все его надежды.

"Почтеннейший друг мой и учитель! — писал Бертольд Биркнеру. — Бы ожидали от меня великих свершений, и вот, очутившись здесь, где все должно было послужить моему прозрению и вдохновению, я вдруг понял: то, что вы именovali гениальностью, — всего лишь некая склонность, ремесленная сноровка. Передайте моим родителям, что скоро я вернусь домой и буду учиться какому-нибудь делу, которое обеспечит мне кусок хлеба..."

На это Биркнер отвечал:

"Ах, если бы я мог быть сейчас рядом с тобою, сынок, чтобы поддержать тебя в твоём унынии! Уж поверь мне: твои сомнения говорят в твою пользу, и ты — художник от Бога. Только безнадежный глупец может полагать, что всю жизнь будет сохранять непоколебимую уверенность в своих силах; думать так — значит обманывать себя, ибо такому человеку не к чему будет стремиться, поскольку он лишится важнейшей побудительной причины — сознания своего несовершенства. Наберись терпения! Скоро вера в себя возвратится к тебе, и тогда, не смущаемый более советами и суждениями приятелей, которые, я думаю, и понять-то тебя не могут, ты снова пойдешь своим путем, предназначенным свыше. Оставаться ли тебе пейзажистом или перейти к исторической живописи — ты сможешь решить это сам, забыв и помышлять о враждебном противопоставлении различных ветвей единого древа искусства".

Случилось так, что Бертольд получил утешительное послание своего старого друга и учителя как раз тогда, когда в Риме гремело имя Филиппа Хаккерта. Несколько выставленных им вещей производили впечатление своей гармоничностью и прозрачностью, подтверждая славу этого художника, и даже исторические живописцы вынуждены были признать, что и простое подражание природе таит в себе великие возможности для создания превосходных произведений. Бертольд вздохнул с облегчением: больше ему не приходилось выслушивать насмешек над его любимым искусством; он увидел человека, который, посвятив себя этому жанру, добился признания и всеобщего почитания; словно искра запала в душу Бертольда мысль отправиться в Неаполь и поступить в ученики к Хаккерту.

Воодушевленный, он сообщил Биркнеру и своим родителям, что после долгих мучительных сомнений вышел наконец на верную стезю и надеется вскоре стать мастером в своем деле. Благодушный немец Хаккерт с удовольствием принял своего юного соотечественника, и тот вдохновенно пустился по стопам своего наставника. Скоро Бертольд постиг искусство в полном соответствии с натурой изображать всевозможные деревья и кустарники, весьма недурно удавалась ему и легкая туманная дымка, которая отличала картины Хаккерта. Это снискало ему множество похвал, и тем не менее ему нередко казалось, что его пейзажам, как, впрочем, и пейзажам его учителя, чего-то недостает; чего именно — он не мог пока сказать, хотя явственно ощущал его присутствие в картинах Клода Лоррена и даже в суровых пустынных видах Сальватора Розы. Следствием было то, что у него снова зародились сомнения, теперь уже относительно его наставника; особенно раздражало Бертольда то, с каким раболепным старанием Хаккерт выписывал битую дичь, которую посылал ему король. Однако он сумел совладать с этими кощунственными, как ему казалось, мыслями и он с немецкой старательностью продолжал усердно трудиться, смиренно подражая учителю, а вскоре почти сравнялся с ним.

Однажды Бертольд по настоянию Хаккерта отправил на выставку свой пейзаж, писанный с натуры. На этой выставке преимущественно были представлены пейзажи и натюрморты Хаккерта. Все знатоки хвалили юношу, восхищаясь тщательностью его живописной манеры. И только один странного вида пожилой господин лишь многозначительно усмехался, когда шумные славословия становились слишком уж безудержными. Бертольд заметил, что, остановившись перед его пейзажем, незнакомец с выражением глубочайшего сожаления покачал головой. Слыша со всех сторон лишь хвалебные отзывы и уже несколько возгордившись, молодой художник почувствовал невольную досаду. Он подошел к незнакомцу и спросил довольно резким тоном:

— Бы, сударь, как будто остались недовольны этой картиной, хотя знающие люди находят, что она вовсе не дурна. Не будете ли вы так любезны, чтобы объяснить мне, в чем дело; возможно, я воспользуюсь вашим добрым советом, чтобы что-то поправить.

Пожилой господин пристально посмотрел на Бертольда и очень серьезно сказал:

— Из тебя, юноша, могло бы получиться кое-что стоящее.

От взгляда незнакомца и от его слов Бертольду стало очень не по себе, у него сразу лее пропала всякая решимость, он более ничего не сказал и далее не сделал попыток последовать за незнакомцем, когда тот медленно вышел из зала. Вскоре явился Хаккерт, и Бергольд поспешил рассказать ему об этом странном разговоре. — Ах! — со смехом воскликнул Хаккерт. — Не принимай этого слишком близко к сердцу! Ведь это известный брюзга, я столкнулся с ним при входе. Старичку ничем не угодишь, он всегда только ворчит и бранится. Сам он грек, родом с острова Мальта, человек богатый и со странностями; кстати неплохой художник, причем все его творения носят некий фантастический оттенок; причина, возможно, кроется в том, что он придерживается каких-то диких и нелепых мнений насчет задач изобразительного искусства и выдумал свою особую систему, которая, впрочем, ни к черту не годится. Меня он и в грош не ставит, но я охотно прощаю его, ведь он все равно не может лишить меня заслуженной славы.

Бертольд же чувствовал себя так, словно мальтиец затронул в его душе какое-то болезненное место, но, подобно целительному прикосновению хирурга, это причинило ему лишь благотворное страдание; однако вскоре юноша выбросил все из головы и продолжал работать, как и прежде. Удача, которая выпала на долю первой большой картины, вызвавшей всеобщее восхищение, придала ему уверенности и отваги, и он принялся за другую в этом же роде. Хаккерт указал ему один из красивейших видов в окрестностях Неаполя, и если на первой картине Бертольда был изображен закат, то для второго пейзажа он выбрал туманный утренний свет. Ему предстояло написать множество непривычных для глаз северянина деревьев и виноградников, а главное, напустить побольше дымки.

Как-то раз, усевшись на огромном плоском камне, откуда открывался вид, выбранный для него Хаккертом, Бертольд заканчивал набросок будущей картины.

— Превосходно схвачено! — услышал он вдруг рядом с собою.

Бертольд обернулся, из-за его плеча рисунок разглядывал мальтиец; с саркастической усмешкой старик добавил:

— Вы только одно упустили, мой юный друг! Взгляните-ка, вон там, вдали, увитая зеленью стена далекого виноградника, калитка приоткрыта. Вам непременно надо и это вставить, да как следует положить тени, — приоткрытая калитка даст вам замечательный эффект!

— Вы, сударь, насмехаетесь, — возразил ему Бертольд, — и совершенно напрасно! Эти случайные детали не так уж ничтожны, как вам кажется, потому-то мой учитель и любит использовать их. Позвольте также напомнить вам

про белое полотенце на полотне одного старого голландского живописца, без него пропало бы все впечатление. Очевидно, вы просто не любитель пейзажной живописи, зато я предан ей душой и телом, и потому прошу вас, оставьте меня в покое и не мешайте мне работать.

— Ты очень заблуждаешься, юноша, — отвечал мальтиец. — Еще раз повторяю — из тебя могло бы получиться кое-что стоящее. В твоих работах заметно неустанное стремление к высшей цели, но ты никогда ее не достигнешь, ибо ты избрал неверный путь. Запомни же хорошенько, что я тебе скажу! Быть может, я сумею разжечь в твоей душе то пламя, которое ты так неразумно старательно гасишь, пускай оно ярко запылает и принесет тебе озарение! Тогда ты изведешь истинное вдохновение, которое дремлет в твоей душе. Нет, я не глупец, ставящий пейзаж ниже исторической живописи и не понимающий, что любой художник — и пейзажист, и исторический живописец — должен стремиться к одной общей цели. Осмысленно показать природу, постигнув в ней то высшее начало, которое во всех существах пробуждает стремление к высшей жизни, — вот священная цель искусства. Но ведет ли к этой цели простое копирование природы? Какими убогими, корявыми и несуразными кажутся срисованные письма, если переписчик не знал языка рукописи и, старательно выводя замысловатые завиточки, даже не пытался постичь значения начертанных символов. Так и пейзажи твоего наставника — не более чем точная копия оригинала, написанного на непонятном ему языке. Посвященный чутко внимает языку природы: и куст, и дерево, и полевой цветок, и холм, и воды, — все подает ему таинственную весть, смысл которой открывается его сердцу; и тогда снисходит на него дар выражать постигнутое в своих творениях. Разве тебя не охватывает какое-то удивительное чувство, когда ты созерцаешь пейзажи старых мастеров? Наверняка тогда тебе и в голову не приходит, что листья этих лип, этим пиниям и платанам можно было придать большее сходство с природой, что дымка на заднем плане могла бы быть более воздушной, вода — более прозрачной; тот дух, который пронизывает такую картину, переносит тебя в иной, высший мир, и ты видишь на полотне его отблеск. Поэтому тщательно и прилежно изучай природу и с механической стороны, чтобы овладеть практическими навыками ее изображения, однако не подменяй такими навыками самое искусство.

Когда ты проникаешь в сокровенный смысл природы, в твоей душе непроизвольно рождаются ее образы во всем их волшебном великолепии.

Мальтиец умолк. Потрясенный Бертольд стоял потупив голову, не в силах вымолвить ни слова.

Прежде чем уйти, старик сказал ему на прощание:

— Я вовсе не хотел, чтобы ты усомнился в своем призвании,— напротив, я знаю, что в тебе дремлет великий дух, и воззвал к нему, чтобы он пробудился и воспарил на мощных крыльях. Так прощай же! Желаю тебе всего наилучшего!

Бертольду внезапно осознал, что мальтиец всего лишь облек в слова то, что у него самого давно скопилось в душе. "Да! — звучал его внутренний голос.— Все мои прежние искания, все мои страдания — это беспомощное блуждание слепца. Долой! Долой все, что меня ослепляло!"

Он не сделал больше ни одного штриха в своем рисунке. Он покинул своего учителя, метался в ужасной тоске и страстными мольбами призывал то высшее знание, о котором говорил мальтиец.

"Лишь в мечтах я изведаль счастье и блаженство! В мечтах сбывалось все, о чем говорил мальтиец. Я лежал среди зеленых кустов, овеваемый дуновениями благоуханного ветерка, и голос природы внятно являл себя в мелодичном дыхании леса. "Слушай, слушай, посвященный! — звучало в моей душе.— Внимай первоначальным звукам природы, доступным твоему человеческому восприятию". Мой слух все более явственно различал звучание небесных аккордов, и вот к моим чувствам словно бы добавилось еще одно — и я с волшебной отчетливостью начал воспринимать все, что раньше казалось мне непостижимым. Огненными письменами чертил я в пространстве какие-то странные иероглифы, запечатлевая в них таинственное откровение; затем иероглифы образовали дивной красоты пейзаж, в котором все — и дерево, и куст, и полевой цветок, и холм, и воды — дышало жизнью, звенело и мело, сливаясь в сладостном хоре".

Но, как уже было сказано, бедному Бертольду только в мечтах доводилось испытать подобное блаженство, сила, его была сломлена, а в душе царило еще большее смятение, чем тогда, когда он жил в Риме и намеревался испытать себя в качестве исторического живописца. Когда он отправлялся в зеленый лес, на него нападал там необъяснимый ужас; когда, выйдя на привольную равнину, смотрел на дальние горы, вдруг словно холодные когти вцеплялись ему в сердце, так что у него перехватывало дыхание и смертельный страх леденил кровь. Природа, которая прежде встречала его ласковой улыбкой, превратилась в грозное, опасное чудовище, и вместо приветливых голосов, звучавших для него в шорохе вечернего ветерка, в журчании ручья, в шуме листьев, теперь он слышал весть о своей гибели. Однако в конце концов, постепенно утешась сладостными мечтами, Бертольда несколько успокоился и с тех пор избегал одиночества на лоне природы. А вскоре он подружился с компанией веселых немецких художников и часто стал принимать участие в их прогулках по живописным окрестностям Неаполя.

Один из его новых приятелей, назовем его Флорентин, не столько был занят глубоким изучением искусства, сколько наслаждался всеми радостями, которые давала жизнь. Об этом свидетельствовал и его альбом: пляски крестьянских девушек, процессии, сельские празднества,— все это с непринужденной естественностью запечатлевал он уверенными, быстрыми мазками. Оставаясь небрежными эскизами, эти сценки были полны жизни и движения. Между тем душа Флорентина отнюдь не была чужда и более высоких материй; напротив, мало кому из современных художников удавалось так глубоко проникнуться возвышенным духом старых мастеров. Однажды он сделал в своем альбоме беглую зарисовку фресок одной старинной монастырской церкви, которую вскоре должны были снести. Они изображали житие великомученицы Екатерины. Эти легкие наброски отличались такой одухотворенностью, что ничего более прекрасного и чистого невозможно было себе представить; на Бертольда они произвели удивительное впечатление. Мрачная пустыня, которая его окружала, озарилась вдруг блеском молний; с тех пор он стал более снисходительно относиться к несколько легкомысленному нраву Флорентина; а поскольку последний, живо чувствуя всю прелесть природы, больше всего любил в ней человека, то и Бертольда принял человеческое начало за основу, которой надо держаться, спасаясь от пустоты бесформенного хаоса. Как-то Бертольд стал срисовывать из альбома Флорентина чудный лик Екатерины; ему это более или менее удалось, но, как и тогда в Риме, попытки вдохнуть в свои фигуры жизнь оказались безуспешными. Он посетовал на это Флорентину, которого, не в пример себе, считал истинно гениальным художником, и пересказал ему то, что говорил об искусстве мальтиец.

— А ведь так оно и есть, братец мой, Бертольд! Мальтиец прав! И я ставлю настоящий пейзаж в один ряд с глубокими, серьезными полотнами, созданными старыми мастерами на сюжеты Священного писания. Я тоже считаю, что сперва следует утвердиться в изображении более понятной для нас органической природы; тогда научишься различать свет и в ночном ее царстве. Я советую тебе,

Бертольд, попытаться так изображать человеческие фигуры, чтобы в них внятно выражались твои мысли; может быть, тогда для тебя прояснится и все остальное.

Бертольд последовал дружескому совету, и спустя некоторое время тучи, омрачавшие его жизнь, понемногу начали рассеиваться.

"Я пытался изобразить в иероглифах то, что смутно прозревала моя душа, а сами эти иероглифы складывались из человеческих фигур, которые, сплетаясь в причудливом хороводе, кружили возле какого-то источника света, — им должен был стать некий дивный образ, какого еще не рождала фантазия художника. Но тщетно силился я ухватить черты этого видения, которое являлось мне во сне, излучая небесный свет. Всякая попытка запечатлеть его оканчивалась позорной неудачей, и я сгорал в пламени тоски".

Флорентин заметил странное, граничащее с болезнью возбуждение своего друга и утешал его как умел. Это кризис перед творческим озарением, часто повторял он Бертольду, но утрюмый и мрачный, Бертольд жил точно в бреду, а все его старания оставались бессильными, беспомощными потугами. Неподалеку от Неаполя находилась вилла одного герцога; оттуда открывался прекрасный вид на Везувий и на море, поэтому ее ворота были всегда гостеприимно открыты для приезжих художников, в особенности для пейзажистов. Бертольд нередко работал там в парке, а еще чаще, уединившись в гроте, предавался своим фантастическим мечтам. Однажды он спрятался в гроте, снедаемый жгучей тоской, которая вконец измучила ему сердце, и, рыдая, молил небо о том, чтобы какая-нибудь звезда осветила его мрачную стезю, как вдруг в кустах послышался шорох, и перед ним, словно небесное видение, возникла некая прекрасная дева.

"Яркий солнечный свет заливал ее ангельский лик, она обратила ко мне свой дивный взор. Сама святая Екатерина! Нет, то был мой идеал! Моя молитва была услышана! В трепетном восторге я пал перед нею на колени, и в то же мгновение видение с пленительной улыбкой словно растаяло в воздухе!"

В грот вошел Флорентин; Бертольд со слезами восторга кинулся к нему на грудь:

— Друг мой! Друг мой! Какое счастье! Какое блаженство! Я нашел ее, нашел!

Он бросился к себе в мастерскую, натянул холст и начал писать. Могучий порыв божественного вдохновения водил его кистью, воссоздавая представшее перед ним видение неземной красоты. С этой минуты в нем совершился полный переворот. Тоска, иссушавшая сердце, покинула его; он воспрянул духом, сделался бодр и весел. Прежде всего Бертольд увлеченно и истово занялся изучением старых мастеров. Выполнив несколько превосходных копий, он принялся за самостоятельное творчество и удивил всех знатоков. О пейзажах он и не помышлял: сам Хаккерт признал, что юноша наконец-то обрел свое истинное призвание. Бертольду поручили писать алтарные образа для нескольких церквей. Чаще всего он выбирал радостные сюжеты христианских легенд, и на всех картинах сиял дивный образ его идеальной мечты. Многие находили, что лицо и стан поразительно напоминают принцессу Анджелу Т. и многозначительно посмеивались, намекая, что огненные очи прекрасной донны ранили молодого художника в самое сердце. Бертольд страшно гневался на вздорных болтунов, которым непременно надобно было низвести небесное до земной обыденщины.

— Ужели вы думаете, — вопрошал он, — будто такое создание может существовать на бренной земле? Я был удостоен божественного видения, в котором открылся мне высший идеал; этот миг посвятил меня в таинства искусства.

Отныне Бертольд жил полноценной, счастливой жизнью, которая продолжалась вплоть до победоносного итальянского похода Бонапарта, когда французская армия подступила к границам Неаполитанского королевства и здесь разразилась революция, нанеся сокрушительный удар по мирному благополучию его обитателей. Король с королевой покинули Неаполь, был созван парламент. Наместник заключил позорное перемирие с французским генералом, и вскоре прибыли французские комиссары, чтобы получить дань. Спасаясь от народной ярости, наместник бежал. В народе же решили, что и наместник, и парламент — словом, все, кто должен был защищать город от вражеского нашествия, бросили жителей на произвол судьбы. Рухнули все устои, на которых держалось общество; в порыве анархического буйства лазароне* попрали порядок и законность, и с кличем "Viva la santa fede!"** неистовые орды ринулись на улицы, грабя и поджигая дома знати, предавшей народ, как считала толпа. Напрасно Молитерно и Рокко Романо, любимцы и предводители народа, пытались обуздать это сумасшествие. Уже были убиты герцоги дела Торре и Клементий Филемарини, но толпа все еще не утолила жажду крови...

Полуодетого Бертольда, выскочившего из горящего дома, в ту же секунду увлекла за собой толпа, которая, с горящими факелами и сверкающими ножами в руках, устремилась ко дворцу герцога Т.

"Viva la santa fede!" — вопили безумные, и спустя несколько минут герцог, его слуги и все, кто осмелился оказать сопротивление, были убиты, а самый дворец ярко вспыхнул, со всех сторон охваченный пламенем.

Толпа несла Бертольда в глубь дворца. Пробегая анфиладу покоев с распахнутыми настежь дверьми, он тщетно искал выхода, иначе ему снова грозила опасность погибнуть от пожара.

Вдруг впереди послышался испуганный крик. Бертольд бросается в залу — и видит женщину, которая бьется в руках оборванца, но тот крепко держит свою добычу и уже изготовился пронзить ее грудь ножом. Это — принцесса! Идеал Бертольда! Не помня себя от ужаса, Бертольд кинулся к ним, схватил оборванца за горло, повалил его, ножом перерезал ему глотку, подхватил принцессу на руки, помчался через пылающие

* Презрительная кличка бедняков и нищих в Неаполе.

** За святую веру! (*итал.*)

залы, выскочил на лестницу, сбегал по ступенькам и — вон из дома, на улицу, наперерез бурлящей толпе! Все это свершилось в мгновение ока!

Никто не посмел остановить Бертольда; почерневшего от копоти, в растерзанном платье, с окровавленным ножом в руке, его принимали за убийцу и грабителя, который уносит с собой законную добычу. В одном из заброшенных закоулков города, среди ветхих стен Бертольд наконец остановился и рухнул наземь, потеряв сознание. Когда он очнулся, то первое, что он увидел, было лицо принцессы: склонясь над ним, она студеной водой смачивала ему лоб.

— Слава Богу! — молвила она удивительно нежным и мелодичным голосом. — Ты очнулся, мой спаситель!

Бертольд приподнялся и потрясенно воззрился на принцессу. Да, то была она — прекрасное небесное видение, которое зажгло Божественную искру в его душе!

— Возможно ли? Не сплю ли я? Неужели я еще жив? — воскликнул он/

— Ты жив, — отвечала ему принцесса, — и отныне живешь для меня. То, о чем ты не смел и мечтать, сбылось. Я знаю, кто ты! Ты — немецкий художник Бертольд; ты полюбил меня и прославил в своих лучших картинах. Мог ли ты думать, что я стану твоею? И вот я твоя на веки вечные! Давай убежим вместе!

Странное чувство пронзило вдруг молодого художника при этих словах принцессы, словно внезапная боль ворвалась в его сладкие сны. Но когда его обняли белоснежные руки пленительной красавицы и Бертольд прижал ее к своей груди, он вдруг весь затрепетал от неведомого сладостного чувства и, ощутив себя наверху блаженства, в безумном восторге воскликнул:

— О, нет! Не обманчивую мечту держу я в своих объятиях, а свою жену. Я нашел ее и никогда больше не выпущу!

Бежать из города было невозможно: у ворот стояли французские войска, и народ три дня держал оборону, не давая врагу вступить в город, несмотря на то, что ни должного вооружения, ни какого бы то ни было руководства у них не было. Бертольд с Анджелой перебрались из своего убежища в другое, потом в третье и наконец выбрались на волю.

Охваченная пылкой любовью к своему спасителю, принцесса Анджела не захотела оставаться в Италии, ради Бертольда она была согласна, чтобы на родине ее считали умершей. У нее было с собой алмазное ожерелье и драгоценные перстни, и в Риме, куда после долгих странствий попали оба беглеца, они на эти драгоценности смогли купить себе все необходимое, а затем благополучно добрались до южной Германии, в город М. Бертольд решил там поселиться и зарабатывать на жизнь своим искусством.

О таком счастье Бертольд не мог и мечтать. Подумать только! Сама Анджела, это удивительное небесное создание, красавица, мечта художника, неожиданно стала его женой, вопреки всем преградам, которые жизненные обстоятельства воздвигли между ним и его возлюбленной! Бертольд не мог поверить своему счастью и наслаждался им до тех пор, пока внутренний голос не стал все настойчивее напоминать ему о том, что пора бы уже вспомнить о своем искусстве. Бертольд предполагал, что большое полотно, которое он должен был написать для церкви Девы Марии, принесет ему известность. Замысел картины был прост: Бертольд хотел изобразить Марию и Елизавету на лужайке в чудесном саду с играющими в траве младенцами Христом и Иоанном; однако, как ни тцился он увидеть духовным зрением будущую картину, ее образы расплывались, как и раньше, во время пережитого им злосчастного кризиса, и вместо царицы небесной перед его мысленным взором предстала — увы! — земная женщина, его жена Анджела, причем в каком-то чудовищно искаженном облике. Наперекор тем таинственным страшным силам, которые хотели

подчинить его своей власти, он все-таки приготовил краски и начал писать, однако результат был ничтожным: как когда-то, он чувствовал себя совершенно беспомощным. Все у него выходило безжизненным, застывшим, даже Андже́ла — Андже́ла! Его идеал! Она сама ему позировала, но сколько он ни пытался написать ее портрет, ничего не получалось: с полотна на него стеклянными глазами таращилась восковая кукла.

В душе Бертольда поселилось прежнее уныние, переросшее затем в безнадежную тоску и в конце концов уничтожившее всю его жизнерадостность. Бертольду расхотелось работать, да он уже и не мог творить, и постепенно он впал в нищету, которая тем более угнетала его, что Андже́ла ни разу не проронила ни единой жалобы.

"Непрестанная боль, которую питали несбывшиеся надежды и нескончаемое непосильное напряжение, всякий раз оказывающееся тщетным, разрушали мою душу; вскоре я пришел в состояние, близкое к помешательству. У нас родился сын, и это довершило мое уничтожение; долго копившаяся обида вырвалась наружу яростным озлоблением. Она, она одна повинна в моем несчастье! О, нет, она не воплощение моего идеала! Обманным путем приняла она обличье того небесного создания, чтобы погубить меня! В отчаянии я проклял ее и невинного младенца, желая обоим смерти, чтобы избавиться от невыносимой муки, которая терзала мою душу. И вот во мне зародилась безумная мысль! Напрасно читал я на покрывшемся смертельной бледностью лице Андже́лы, в ее слезах отражение моего жуткого дьявольского замысла. "Ты сломала мне жизнь, окающая баба!" — заорал я на нее однажды и отпихнул от себя ногой, когда она упала передо мною наземь, обнимая мои колени".

Жестокое обращение Бертольда с женой и ребенком привлекло к себе внимание соседей, и они сообщили об этом в полицию. Его хотели арестовать, но, когда полиция пришла в дом, оказалось, что и он, и жена с ребенком бесследно исчезли.

Вскоре Бертольд объявился в Верхней Силезии; к тому времени он уже был без жены и ребенка и бодро принялся писать свою картину, которая никак не получалась у него в М. Однако он успел закончить только Марию и младенцев, как вдруг с ним приключилась ужасная болезнь, которая чуть было не свела его в могилу. Впрочем, он и сам желал тогда смерти. Люди, которые за ним ухаживали, понемногу распродали все его имущество, в том числе и неоконченную картину, и, едва придя в себя после болезни, он покинул эти места жалким и хворым нищим.

Впоследствии он кое-как добывал себе пропитание, пробавляясь настенной росписью, когда ему перепадал какой-нибудь заказ.

— История Бертольда таит в себе нечто ужасное и зловещее, — сказал я профессору, — Неужели он убил свою ни в чем не повинную жену и родного сына?

— Он глупец и сумасшедший, — ответил на это профессор. — Но я не верю, чтобы у него хватило духу на такой поступок. Сам он ничего определенного об этом не говорит; возможно, он только воображает, будто повинен в смерти жены и сына. Кстати, сейчас Бертольд опять малоем мрамор; нынче ночью он будет заканчивать алтарь, в это время он бывает в хорошем настроении, и, может быть, вам удастся выведать у него побольше об этом деликатном вопросе.

Должен сознаться, что после чтения записок, из которых я узнал историю Бертольда, у меня мороз по коже прошел при одной мысли среди ночи остаться наедине с этим человеком в пустой церкви. И я решил повидаться с ним при ясном свете.

Я застал Бертольда, когда он, погруженный в угрюмую задумчивость, стоял на помосте и кропил краской стену, чтобы получить мраморные прожилки. Вобразившись к нему, я стал молча подавать ему горшочки с красками. Он обернулся и с удивлением посмотрел на меня.

— Я — ваш подручный, — промолвил я тихо. Он улыбнулся.

Спустя несколько минут я как можно непринужденнее заговорил о его жизни как будто бы возвращаясь к этой теме, и он, по-видимому, решил, что сам прошлой ночью обо всем мне рассказал. Постепенно я подводил разговор к роковой катастрофе, а потом вдруг прямо брякнул:

— Так, стало быть, вы в припадке умопомрачения убили свою жену и ребенка?

Тут он выронил горшочек с краской и кисть и, вперив в меня засверкавший взор, вскричал, потрясая воздетыми руками:

— Эти руки не запятнаны кровью моей жены и сына! Еще одно такое слово — и мы вместе бросимся вниз и разможем свои головы о каменный пол!

Момент был весьма щекотливый, и я решил отвлечь внимание художника.

— Ах, взгляните-ка, милый Бертольд, — произнес я как можно хладнокровнее, — какие безобразные потеки получаются от этой темно-желтой краски.

Он глянул и начал замазывать пятно, а я тем временем потихоньку спустился с лесов, вышел из церкви и отправился к профессору, представляя, как он будет потешаться оттого, что мне поделом досталось за мое любопытство.

Коляску мою уже починили, и я покинул Г., взяв с господина Вальтера обещание, что он сразу же напишет мне обо всем, что бы ни приключилось с Бертольдом.

Прошло, кажется, около полугода, как я и в самом деле получил от профессора письмо, в котором он пространно изливался по поводу удовольствия, полученного от нашего знакомства. О Бертольде же он написал следующее:

"Вскоре после Вашего отъезда с нашим чудаком-художником стали происходить удивительные вещи. Он вдруг повеселел, дописал свою картину, и все дивятся на нее пуще прежнего. А потом внезапно исчез, ничего с собой не взяв. Спустя несколько дней на берегу реки обнаружили его шляпу и дорожный посох, и по этой причине мы все полагаем, что он, верно, лишил себя жизни".

SANCTUS

Доктор с глубокомысленным видом покачал головой.

— Как? — воскликнул капельмейстер, порывисто вскакивая со стула, — значит, катар Беттины — это действительно серьезно?

Доктор раза три или четыре тихонько стукнул об пол своей испанской тростью, вынул табакерку и положил ее обратно, не понюхав табаку, а потом поднял глаза, будто считая розетки на потолке, и начал кашлять, не говоря ни слова. Это вывело капельмейстера из себя: он отлично знал, что все эти манипуляции в переводе на обычный язык означают следующее: "Весьма тяжелый случай, я ничего не могу посоветовать и ничем не могу помочь, визиты мои напоминают визиты доктора из Жильбласа де Сантильяна".

— Скажите же что-нибудь! — сердито вскричал капельмейстер, — скажите, в чем дело, и не придавайте такого значения простой хрипоте, которая сделалась у Беттины потому, что она имела неосторожность не надеть шали, выходя из церкви. Ведь малютка не заплатит за это жизнью? — О, нет, — сказал доктор, снова вынимая табакерку и на этот раз нюхая табак, — но очень вероятно, что она больше никогда в жизни не споет ни одной ноты.

Тут капельмейстер так ударил себя по голове обоими кулаками, что пудра с его волос полетела во все стороны, и забегал по комнате, крича как помешанный:

— Она не будет петь?! Не будет петь?! Беттина не будет петь?! Умрут все дивные канцонетты, восхитительные болеро и сегидильи, которые лились из ее уст, как звучащее дыхание цветов? Мы не услышим в ее исполнении ни благочестивого Агнуса, ни утешительного Бенедиктуса? О, о! Ни одного Мизерере, счищавшего с меня земную грязь жалких мыслей, воскрешавшего порой целый мир непорочных церковных тем?

Ты лжешь, доктор, лжешь! Тебя посетил сатана, чтобы меня погубить. Тебя подкупил соборный органист, преследующий меня своей злобной завистью с тех пор, как я сочинил восьмиголосый *qui tollis*, которым восхищается весь мир. Ты хочешь ввергнуть меня в позорное отчаяние, чтобы я бросил в огонь свою новую мессу, но это тебе не удастся. Здесь, здесь, с собой ношу я сольные партии Беттины, — он похлопал себя по правому карману сюртука, — и малютка должна лучше, чем когда-либо, спеть их своим высоким, звонким голосом.

Капельмейстер схватился за шляпу и хотел удалиться, но доктор удержал его, промолвив очень тихо:

— Я уважаю ваше благородное негодование, драгоценный друг мой, но я ничего не преувеличиваю и вовсе не знаю соборного органиста. Дело в том, что после того, как Беттина исполнила во время службы в католической церкви сольные партии в *Gloria* и *Credo*, на нее напала странная хрипота, или, вернее, безголосие, которое не поддается моему искусству, и я боюсь, что она никогда не будет больше петь.

— Ну, хорошо, — согласился капельмейстер, изображая покорное отчаянье, — дайте ей тогда опиуму, столько опиуму, чтобы она умерла тихой смертью, потому что, если Беттина не будет петь, она не должна больше жить: ведь она только тогда и живет, когда поет, вся ее жизнь в пении. Божественный доктор, сделай милость, отрави ее как можно скорее! У меня есть связи в криминальной коллегии: я учился в Галле вместе с ее президентом, он был великий трубач, мы разыгрывали с ним по ночам пьески под аккомпанемент котов и собачек! Тебе не навредит это честное убийство. Отрави же ее, отрави!

— Вы, кажется, уже в летах,— прервал доктор кипучего капельмейстера,— и довольно давно уже пудрите себе волосы, но, несмотря на это, когда дело касается музыки, вы становитесь трусом. Не надо так кричать и говорить о преступном убийстве, надо сесть спокойно вот здесь, в это удобное кресло, и выслушать меня не перебивая.

— Что я должен слушать? — воскликнул капельмейстер плачущим голосом, но тем не менее сделал то, что ему велели.

— В состоянии Беттины есть нечто совершенно особенное и странное,— начал доктор.— Она говорит в полный голос,— здесь не может быть и речи ни о какой банальной болезни горла; она может даже воспроизвести музыкальный звук, но как только она хочет возвысить голос в пении, ее силы подкашивает нечто абсолютно непонятное, не проявляющееся никакими обычными симптомами болезни, как, например, покалывание, пощипыванье, щекотанье, и каждая нота звучит не сдавленно и нечисто, как бывает при катаре, а как-то бесцветно и слабо. Сама Беттина очень верно сравнивает свое состояние со сном, когда у человека возникает ощущение способности летать и он пытается подняться в воздух — но тщетно. Этот коварный недуг издевается над моим искусством, и все мои средства не действуют. Вы правы, капельмейстер, вся жизнь Беттины определяется пением; эту маленькую райскую птичку только и можно представить себе поющей, потому она так глубоко взволнована мыслью, что может пропасть ее дар, а значит, и она сама. Я почти убежден, что это все возрастающее душевное беспокойство усиливает ее болезнь и сводит на нет все мои старания. Она сама говорит, что от природы очень впечатлительна, и теперь, после того как я столько времени хватался то за одно, то за другое средство, как тонущий человек хватается за любую щепку, я думаю, что болезнь Беттины более психического, чем физического свойства.

— Верно, доктор! — воскликнул здесь странствующий энтузиаст, который все это время молча сидел в углу со скрещенными руками.— Верно! Вы наконец попали в точку, прекрасный врач мой! Болезнь Беттины есть физическое следствие психического влияния, и это еще опаснее и хуже! Я один могу вам все объяснить!

— Что такое?! — простонал капельмейстер, а доктор придвинул свой стул поближе к странствующему энтузиасту и посмотрел на него с каким-то странным смеющимся выражением. Странствующий энтузиаст поднял глаза вверх и продолжал, не глядя ни на доктора, ни на капельмейстера:

— Капельмейстер! Однажды я видел маленькую пеструю бабочку, которая попала между струн ваших двойных клавикордов. Она весело порхала и задевала блестящими крыльшками то за верхние, то за нижние струны, и они издавали тихие-тихие, доступные только для самого изощренного уха аккорды и звуки,— казалось, что бабочка порхает или слабо колеблется на волнах. Но иногда какая-нибудь сильнее задетая струна, точно сердясь на это веселое порханье в фортепьяно, звучала громче и колебалась больше, с крыльев бабочки осыпался наряд из цветочной пыльцы, а раненая бабочка, не замечая этого, носилась в веселом звоне и пенье, струны били ее все сильнее и сильнее, и наконец она, бездыханная, упала на деку в отверстие резонанса.

— Что хотим мы этим сказать? — спросил капельмейстер.

— *Fiat applicato**, милейший! — изрек доктор.

— Здесь нет ничего особенного,— пожал плечами энтузиаст,— я действительно слышал, как вышеупомянутая бабочка играла на клавикордах капельмейстера, но я хотел вообще выразить идею, которая пришла мне тогда в голову и касается всего того, что я буду говорить о болезни Беттины. Впрочем, вы можете счесть все это за аллегорию и изобразить в альбоме какой-нибудь странствующей виртуозки. Мне казалось тогда, что природа воздвигла вокруг нас тысячструнные клавикорды и мы завертелись в их струнах, принимая ее аккорды и звуки за свои собственные, вызванные свободной волей, и что часто мы бываем смертельно ранены и не подозреваем, что эти раны нанес нам негармонично затронутый звук.

— Очень жаль,— заметил капельмейстер.

— О,— со смехом воскликнул доктор,— имейте терпение, он сейчас сядет на своего конька и поскачет ускоренным галопом в страну предчувствий, снов, психических влияний, симпатий, идиосинкразии и далее — до самой станции магнетизма, где он остановится, чтобы позавтракать.

— Тише, тише, мой мудрый доктор,— остановил его странствующий энтузиаст,— вы можете хорохориться сколько хотите, но не пренебрегайте вещами, которые должны бы были смиренно признать и уважать. Не сами ли вы только что сказали, что болезнь Беттины происходит от психического возбуждения или есть просто психическое страдание?

*Это нужно использовать (*лат.*).

— Но какое отношение,— прервал энтузиаста доктор,— имеет Беттина к несчастной бабочке?
— Когда желают,— отвечал энтузиаст,— все разложить на самые маленькие клеточки и высмотреть, и рассмотреть каждую крупинку, то это влечет за собой такую скуку! Оставьте бабочку лежать в клавикогдах капельмейстера! Ну, скажите мне сами, капельмейстер, не сущее ли это несчастье, что благодатная музыка сделалась интегральной частью нашего разговора? Самые дивные таланты засасываются обыденной, жалкой жизнью! Вместо того чтобы, как прежде, звуки лились на нас из какой-то священной дали, как из чудесного небесного царства, теперь все у нас можно пощупать руками и все отлично знают, сколько чашек чая должна выпить певица или сколько стаканов вина должен проглотить бас, чтобы достичь требуемого градуса. Я отлично знаю, что есть общества, где царствует настоящий дух музыки и ею занимаются с истинным благоговением, но эти несчастные разукрашенные, расфранченные... нет, я не буду впадать в гнев! Когда я приехал сюда в прошлом году, бедная Беттина была в большой моде, она была, как говорится, *recherchée*, почти ни одно чаепитие не обходилось без испанского романса, итальянской канцонетты или даже французской песенки *Souvent i'amoür* и так далее, и все это должна была петь Беттина. Я положительно боялся, что доброе дитя вместе со своим дивным талантом погибнет в этом море чая; слава Богу, этого не случилось, но произошла катастрофа.

— Какая катастрофа? — воскликнули разом доктор и капельмейстер.

— Видите ли, господа, бедную Беттину, как говорится, глазили или заколдовали, и, как ни прискорбно мне

в этом сознаться, я должен сказать, что я и есть тот колдун, который совершил это злое дело и не может теперь сразу снять чары с заколдованного им существа.

— Все это вздор, пустяки, а мы сидим себе и спокойно позволяем этому насмешливому злодею мистифицировать себя! — возмутился доктор, вскакивая с места.

— Но, черт возьми, подайте мне катастрофу, катастрофу! — кричал капельмейстер.

— Успокойтесь, господа,— сказал энтузиаст, сейчас мы дойдем до факта, за который я могу поручиться; можете считать мое колдовство шуткой, но иногда мне бывает очень тяжело от того, что, сам того не зная и не желая, я употребил неизвестную психическую силу, избравши предметом воздействия бедную Беттину. Вероятно, это нечто вроде проводника в электричестве, который безо всякой самостоятельности и свободной воли производит удар.

— Гоп! Гоп! — воскликнул доктор,— посмотрите-ка, какие курбеты выделяет его конек!

— Но в чем же дело, в чем суть? — горячился капельмейстер.

— Вы уже упоминали, капельмейстер,— вел далее энтузиаст,— что в последний раз, непосредственно перед тем, как потерять голос, Беттина пела в католической церкви. Вспомните, это было в первый день Пасхи прошлого года. Вы надели ваше торжественное одеяние и дирижировали великолепной Гайдновской мессой в D-moll. Сопрано было представлено целой толпой прелестно одетых молодых девушек, среди них была и Беттина, которая удивительно сильным и звучным голосом исполняла небольшие solo. Вы знаете, что я стоял в тенорах. Начался Sanctus, я почувствовал трепет глубочайшего благоговения, но за моей спиной вдруг что-то зашуршало. Оглянувшись, я к своему удивлению увидел Беттину, которая пробиралась между рядами играющих и поющих, желая выйти из хора.

— Вы уходите? — спросил я ее.

Она отвечала очень приветливо:

— Это крайний срок, когда я могу попасть в **** церковь, чтобы участвовать там, как я обещала, в одной кантате; кроме того, мне нужно еще попробовать два дуэта, которые я буду петь сегодня на музыкальном чае у Б., потом будет ухсин у Д. Ведь вы придете? Будут петь два хора из Генделевского "Мессии" и первый финал из "Свадьбы Фигаро".

В это время раздались мощные аккорды Санктуса, и ладан вознесся голубыми облаками к высоким сводам церкви.

— Разве вы не знаете,— сказал я,— что грешно и не-безнаказанно уходить из церкви во время Санктуса? Вы больше не будете петь в церкви!

Я хотел пошутить, но почему-то вышло, что слова мои прозвучали слишком торжественно. Беттина побледнела и молча вышла из церкви. С этих пор она потеряла голос.

Тем временем доктор снова сел и оперся подбородком о палку; он ничего не сказал, но капельмейстер воскликнул:

— Это в самом деле странно, очень странно!

— Тогда,— продолжал энтузиаст,— у меня в мыслях не было ничего определенного, да и после я не видел ни малейшей связи между безголосием Беттины и случаем я церкви. Только теперь, когда я явился сюда и слышу от вас, доктор, что Беттина все еще страдает своей несносной болезнью, мне показалось, что я тогда уже подумал об истории, которую много лет назад прочел в одной старой книге и которую могу рассказать вам, так как вы, повидимому, милы и впечатлительны.

— Расскажите! — воодушевился капельмейстер.— Может быть, в ней найдется хорошая тема для оперы. Доктор же заметил:

— Если вы, капельмейстер, можете положить на музыку сны, предчувствия и магнетическое состояние, то вам пригодится то, что вы услышите.

Оставив эту реплику без внимания, странствующий энтузиаст откашлялся и начал торжественным тоном:

— На необозримое пространство раскинулся лагерь Изабеллы и Фердинанда Арагонского под стенами Гранады...

— Господь земли и неба! — прервал рассказчика доктор.— Это начинается так, как будто в ближайшие дни и ночи не кончится. Я сижу здесь, а пациенты мои страдают. Я пошлю к черту ваши мавританские рассказы, я читал Гонзалво Кордуанского и слышал сегидильи Беттины, а теперь — баста! Все дальнейшее будет от лукавого!

Доктор поспешил к двери, капельмейстер же остался на месте и спокойно сказал:

— Я замечаю, что история времен войн мавров с Испанией — это та тема, на которую я давно уже хотел написать музыку: сражения, шум, романсы, шествия, кимвалы, хоралы, трубы и литавры, ах, литавры! Теперь мы с вами сошлись, рассказывайте же, любезнейший энтузиаст, кто знает, какое зерно заронит в мои чувства этот желанный рассказ и какие исполинские лилии из него вырастут.

— Ах,— отвечал энтузиаст,— для вас, капельмейстер, все сейчас же складывается в оперу, и от этого происходит то, что благоразумные люди, рассматривающие музыку как крепкую водку, которую пьют только время от времени, в маленьких дозах для укрепления желудка, часто принимают вас за сумасшедшего. Но рассказывать вам я буду, и вы смело можете, если придет охота, прибавить со своей стороны пару аккордов.

Пишущий эти строки чувствует необходимость прежде, чем он припишет этот рассказ энтузиасту, попросить тебя, благосклонный читатель, чтобы ты позволил ему ради краткости особым образом обозначить аккорды, взятые капельмейстером. Итак, вместо того, чтобы писать: сказал тут капельмейстер, будет стоять просто: капельмейстер.

"На необозримое пространство раскинулся лагерь Изабеллы и Фердинанда Арагонского под крепкими стенами Гранады. Напрасно ожидая помощи, отчаивался малодушный Боабдиль и, горько осмеиваемый народом, называвшим его "маленький король", находил минутное утешение только в кровавой жестокости к жертвам. Отчаяние и страх с каждым днем все больше и больше охватывали народ Гранады и воинов, и вместе с тем живее становились надежда на победу и жажда битвы в испанском лагере. Штурм был не нужен, Фердинанд довольствовался тем, что обстреливал стены и отбивал вылазки осажденных. Эти маленькие битвы больше походили на веселые турниры, чем на настоящие сражения, и даже павшие в бою поднимали дух испанского войска, возвеличенные всем великолепием церковного культа, как сияющей славой мученичества. Как только вступила в лагерь Изабелла, она велела воздвигнуть посредине высокое деревянное здание с башнями, на которых развевались знамена с красными крестами. Внутри все было устроено, как в монастыре и церкви, бенедиктинские монахини жили там, совершая ежедневную службу. Королева в сопровождении своей свиты и рыцарей каждое утро приходила слушать мессу, которую служил ее духовник, подерживаемый пением хора монахинь. Однажды Изабелла заметила голос, выделявшийся необычайной звонкостью в хоре остальных голосов. Звучание его напоминало победные трели соловья, этого царя лесов, который господствует над ликующим родом пернатых. Но произношение слов было чуждым, и странная, своеобразная манера пения указывала на то, что певица еще не привыкла к церковному стилю и, может быть, далее в первый раз поет во время службы. Изабелла с удивлением посмотрела по сторонам и убедилась, что ее свита испытывает такие же чувства. Когда же королеве попался на глаза храбрый полководец Агуиляр, тоже принадлежавший к ее свите, у нее возникло подозрение, что здесь кроется какое-то необыкновенное приключение. Стоя на коленях и сложив руки, Агуиляр не сводил глаз с решетки, за которой находился хор, и мрачный взгляд его горел страстной тоскою.

Как только кончилась месса, Изабелла пошла в комнаты настоятельницы донны Марии и спросила о чужеземной певице.

— О, королева,— отвечала Мария, — не угодно ли вам припомнить, что месяц тому назад дон Агуиляр задумал атаковать одно укрепление, которое, соединяясь с великоленной террасой, служило

маврам местом для увеселений. Каждую ночь лагерь оглашался нечестивыми песнями неверных; они звучали, как сладкие голоса сирен, потому-то и хотелось храброму Агуиляру разорить и разрушить гнездо греха. Укрепление было уже взято, и женщин увели во время битвы, но вдруг неожиданное нападение заставило наших, несмотря на мужественное сопротивление, все бросить и отступить в лагерь. Враг не посмел преследовать их; таким образом, женщины и богатая добыча остались за ними. Между пленниц была одна, безутешное горе и отчаяние которой привлекли ним мание Агуиляра. С приветливой речью обратился он к женщине, окутанной покрывалом, но она, будто не находя другого способа для выражения своей скорби, взяла несколько аккордов па цитре, висевшей у нее на шее на золотой перевязи, и запела романс, глубокие вздохи и душераздирающий напев которого говорили о разлуке с милым и со всеми радостями жизни. Потрясенный Агуиляр решил отпустить женщину назад в Гранаду. Она бросилась к его ногам и откинула покрывало. "Не Зулэма ли ты, свет певиц Гранады?" — изумился Агуиляр. Это была та самая Зулэма, которую полководец видел во время одного посольства при дворе Боабдила, ее чудесный голос с тех самых пор звучал в глубине его сердца.

"Я возвращаю тебе свободу!" — воскликнул Агуиляр, но тут заговорил почтенный отец Агостино Санхес, шедший с крестом в руках:

"Помни, что, отпуская пленницу, ты совершаешь большую несправедливость по отношению к ней: быть может, отрешившись от язычества, она восприняла бы свет истинной веры и возвратилась в лоно церкви".

"Она может оставаться у нас месяц,— решил Агуиляр,— и, если не почувствует, что в нее проник дух Господень, пускай вернется в Гранаду".

Так, ваше величество, Зулэма была взята в монастырь. Сначала она беспрестанно предавалась безутешной скорби и оглашала монастырь то дико и страшно звучащими, то глубоко жалобными романсами, — везде звучал ее проникающий в душу звучный голос. Однажды в полночь мы собрались в церкви, хор пел в той дивной, священной манере, которой выучил нас великий мастер пения Феррэрас. Я заметила, что Зулэма стоит при свете свечей в открытом проходе хоров и с умиротворенным, набожным видом смотрит вниз; когда мы парами пошли с хоров, Зулэма, проходя близ образа Девы Марии, преклонила колени. На другой день она уже не пела романсов, была тиха и сосредоточенна. Потом, настроив цитру на низкий лад, начала подбирать аккорды того самого хорала, который мы пели в церкви, а затем стала тихо-тихо, очень странно произнося слова, напевать. Я видела, что Дух Божий заговорил с ней кроткими, утешительными словами песнопений и что душа ее открывается для принятия благодати, и поэтому послала к ней регентшу хора сестру Мануэлу, чтобы та раздула эту тлеющую искру. Так и случилось, что священные церковные напевы пробудили в ней веру. Зулэма еще не принята в лоно церкви посредством святого крещения, но ей было позволено присоединиться к нашему хору и возносить свой дивный голос во славу религии.

Королева знала теперь, что происходило в душе Агуиляра, когда по наущению Агостино он не отправил Зулэму в Гранаду, а позволил взять ее в монастырь, и еще более радовалась обращению Зулэмы к истинной вере. Через несколько дней Зулэма крестилась и получила имя Юлия. При священном акте присутствовала сама королева, маркиз Кадикский, Энрикес да Гусман и полководцы Мендоса и Вильена. Можно было думать, что чудеса веры сделают пение Юлии еще более глубоким и правдивым; так оно и было первое время после крещения, но вскоре Мануэла заметила, что Юлия начала сбиваться с хорала, примешивая к нему какие-то чуждые звуки. Порой вдруг проносился по хорам глухой звон низко настроенной лютни. Звук этот походил на отголосок струн, по которым проносилась буря. Тогда Юлия делалась беспокойной, и случалось даже, что она как бы невольно вставляла в латинский гимн мавританские слова. Мануэла предостерегала вновь обращенную, наставляя ее, чтобы она твердо сопротивлялась врагу, но легкомысленная Юлия не обращала на это внимания и, к досаде сестер, в то самое время, когда звучали строгие, священные хоралы старого Феррэраса, пела суетные любовные мавританские песни, играя на цитре, которую снова настроила на высокий лад. Странно звучали теперь струны цитры: они были высоки и резки, как пронзительный свист маленьких мавританских флейт".

Капельмейстер: "Flauti piccoli — октавные флейты. Но, милейший, пока еще ничего, ничего нет для оперы, никакой экспозиции, а ведь это главное дело; меня поразила только низкий и высокий настрой цитры. Думаете ли вы, что у черта тенор? Он фальшив, этот черт, и поэтому поет фальцетом!"

Энтузиаст: "Боже небесный! Вы становитесь день ото дня все забавнее, капельмейстер! Но вы правы — оставим чертовскому началу всякий неестественно высокий свист, писк и так далее. И продолжим рассказ, ибо я подвергаюсь опасности перескочить через какой-нибудь замечательный момент. Однажды королева в сопровождении благородных полководцев пришла в церковь бенедиктинских монахинь, чтобы по обыкновению послушать мессу. У ворот церкви лежал несчастный, оборванный

нищий. Драбанты хотели его прогнать, но он, слегка привстав, снова с воем бросился на землю и, падая, задел королеву. К нему в гневе подскочил Агуиляр и хотел оттолкнуть его ногой, но тот, приподнявшись с земли, закричал:

"Наступи на змею! Наступи на змею! Она ужалит тебя насмерть!" ударив при этом по струнам цитры, спрятанной у него под лохмотьями, и они порвались с неприятно резким, свистящим звуком, так что все со страхом отскочили. Драбанты прогнали этого несчастного, и все говорили, что человек этот — попавший в плен сумасшедший мавр, который забавлял лагерных солдат своими безумными шутками и чудной игрой на цитре.

Королева вошла в церковь, и служба началась. Сестры запели Sanctus, настал момент, когда Юлия должна была вступить своим могучим голосом: Pleni sunt coeli gloria tua*, но тут хоры огласились резкими звуками цитры; Юлия быстро сложила свои ноты и хотела уйти.

— Что ты делаешь?! — воскликнула Мануэла.

— О, — сказала Юлия, — разве ты не слышишь дивные звуки мастера? Я должна петь там, вместе с ним!

И она поспешила к двери, но Мануэла промолвила строгим, торжественным голосом:

— Грешница, уклоняющаяся от службы Господней! Если в то время, как уста твои произносят Ему хвалу, ты имеешь в сердце суетные мысли, уйди отсюда, но в тебе уже сломлена сила песни, в груди твоей замерли чудесные звуки, воспламененные духом Господним!

Слова Мануэлы поразили Юлию как громом — она зашаталась и упала.

Ночью, когда монахини собрались для пения службы, церковь вдруг наполнил густой чад. Вскоре, шипя и свистя, над стенами ближайшего здания взвилось пламя и охватило весь монастырь. С трудом удалось спасти монахинь, по лагерю разносились призывы трубы и рога, и солдаты вскочили, пробудившись от первого сна. Видели, как полководец Агуиляр выскочил из монастыря, растрепанный, в полуобгоревшей одежде, он хотел спасти Юлию, но всякий след ее пропал.

*Небо полно славой Твоею (*лат.*).

Тщетно боролись с огнем, который раздувало поднявшейся бурей, — он распространялся все дальше и дальше, и вскоре весь блестящий лагерь Изабеллы обратился в пепел.

Мавры решили воспользоваться несчастьем христиан и, уверенные в успехе, осмелились совершить на них нападение, но ни одна битва не явилась такой блестящей победой для испанского оружия, как эта, и когда испанцы, венчаные победоносным громом труб, отступили за свои укрепления, королева Изабелла взошла на трон, который ей воздвигли, и повелела, чтобы на месте сожженного лагеря построили город. Это должно было доказать гранадам маврам, что осада никогда не будет снята".

Капельмейстер: "Можно ли отважиться выступить в театре с религиозным сюжетом? Ведь и без того уже приходится страдать от милой публики, когда вставляешь туда или сюда небольшой хорал. Но Юлия была бы недурной партией. Представить только двойной стиль, которым она могла бы блеснуть! Сначала романсы, а потом — церковное пение. У меня уже готовы несколько прелестнейших испанских и мавританских романсов, недурен также победный испанский марш, а молитву королевы я хочу обработать мелодраматично, но как это все связать — известно одному Богу! -- Но рассказывайте дальше, вернемся к Юлии, ведь она, я надеюсь, не сгорела?"

Энтузиаст: "Представьте себе, дорогой капельмейстер, что этот город, который испанцы построили за 21 день и обнесли стенами, — не что иное, как и поныне еще стоящий Санта-Фэ. Но, обращаясь непосредственно к вам, я оставляю торжественный тон, который один только и подходит к такому торжественному сюжету. Мне бы хотелось, чтобы вы сыграли одну из респонсорий Палестрины, которые стоят раскрытые на попире фортепиано".

Капельмейстер исполнил его просьбу, и странствующий энтузиаст продолжал:

"Мавры не упускали случая всячески беспокоить испанцев во время строительства города, отчаяние придавало им безоглядную храбрость, и битвы стали серьезнее прежнего. Однажды Агуиляр преследовал до самых стен Гранады мавританский отряд, напавший на испанскую передовую стражу. Он возвращался со своими рыцарями и, остановившись около миртового леса, недалеко от первых укреплений, отослал свою свиту, чтобы полностью предаться серьезным мыслям и печальным воспоминаниям. Образ Юлии стоял как живой перед его духовными очами. Во время битвы он слышал ее голос, звучавший то игриво, то жалобно, и теперь ему тоже казалось, что в темных миртах чуть слышно проносится какое-то странное пение: то мавританская песня, то христианский церковный напев.

Вдруг что-то зашуршало, и меж деревьев показался мавританский рыцарь в чешуйчатой серебряной броне, на легком арабском скакуне, и в ту же минуту возле головы Агуиляра просвистела стрела. Он

хотел броситься на врага с поднятым мечом, но полетела вторая стрела и глубоко впиалась в грудь его лошади. Лошадь взвилась на дыбы от боли и ярости, и Агуиляр вынужден был боком быстро скатиться с нее, чтобы избежать тяжелого падения. Мавр подскочил и занес свою кривую саблю над непокрытой головой Агуиляра. Однако полководец ловко отклонил смертельную опасность, сильно ударив по сабле. Мавра спасло только то, что он спрятался, припав к лошади. В ту же минуту лошадь мавра наскочила прямо на Агуиляра, и он не смог нанести второй удар. Мавр выхватил свой кинжал, но полководец снова опередил его: с исполинской силой схватил врага, стащил с лошади и, завертев в воздухе, бросил на землю. Затем наступил коленом на грудь мавра и сжал левой рукой его правую руку так, что тот не мог двинуться, а правой выхватил кинжал. Агуиляр готов уже был проткнуть неверному горло, как тот выдохнул:

— Зулэма!

Агуиляр окаменел, рука его не могла довершить удара.

— Несчастный! — воскликнул он. — Какое имя произнес ты?

— Добей, — простонал мавр, — добей того, кто поклялся тебя убить! Узнай, коварный христианин, узнай,

что ты похитил Зулэму у Хихэма, последнего из рода Альгамара! Узнай, что тот оборванный нищий, который под видом безумца прокрался в ваш лагерь, был Хихэм. Узнай, что мне удалось разрушить мрачную тюрьму, в которую вы, проклятые, заключили свет моих мыслей, и я спас Зулэму!

— Так, значит, Зулэма, Юлия, жива? — воскликнул Агуиляр.

Хихэм захохотал с мрачной издевкой.

— Да, она жива, но образ вашего кровавого, увенчанного терном идола опутал ее злыми чарами и душистый, пылающий цвет жизни увял под погребальными покровами безумных женщин, которые называют себя невестами вашего идола. Узнай, что звуки и песня умерли в ее груди, точно от ядовитого дыхания самума; вся радость жизни исчезла вместе со сладкими песнями Зулэмы, и потому убей меня, убей, ведь я не мог совершить мщения над тобой, который отнял у меня то, что дороже жизни!

Агуиляр выпустил Хихэма и медленно встал, поднявши с земли свой меч.

— Хихэм, — сказал он, — Зулэма, получившая в святом крещении имя Юлия, была взята в плен в честном бою. Просвещенная милостью Божией, она отрекалась от презренного служения Магомету, а то, что ты, заблуждающийся мавр, называешь злыми чарами идола, было искушением дьявола, которому она не могла противостоять. Если ты называешь Зулэму своею возлюбленной, то Юлия, обращенная ко Христу, будет дамой моих мыслей, и с нею в сердце и во славу истинной веры я хочу сразиться с тобой в открытом бою. Возьми свое оружие и нападай на меня — как хочешь, по своему обычаю.

Быстро схватил Хихэм свой меч и щит, но, подбежав к Агуиляру, с громким воем отшатнулся назад, вскочил на коня и умчался быстрым галопом. Агуиляр не знал, что это должно означать, но тут он услышал за своей спиной голос достойного старца Агостино Санхеса, который, кротко улыбаясь, произнес:

— Кого же испугался Хихэм — меня или Господа, который живет во мне и любовь к которому он презирает?

Агуиляр рассказал все, что узнал про Юлию, и они оба ясно вспомнили о пророческих словах Мануэлы, когда в душе Юлии, соблазненной звоном цитры Хихэма, умерла всякая набожность и она оставила хоры во время Санктуса".

Капельмейстер: "Я не думаю больше об опере, но битва мавра Хихэма, закованного в чешуйчатую броню, и испанца Агуиляра тоже представилась мне в музыке. Черт побери! Да где же звучит лучшая схватка, чем в Моцартовском Дон-Жуане, вы знаете, в первом акте..."

Энтузиаст: "Довольно, капельмейстер, я хочу поставить последнюю точку в моем слишком длинном рассказе. Будут еще разные вещи, и необходимо сосредоточить свои мысли, тем более что я все время думаю о Беттине, и это порядочно меня пугает. Я бы вовсе не хотел, чтобы она когда-нибудь узнала про мою испанскую историю, а между тем мне все время кажется, что она подслушивает у той двери, что, конечно, нужно приписать только моему воображению. Итак, я продолжаю. Побиваемые во всех сражениях, ежедневно и ежечасно мучимые голодом, мавры были вынуждены наконец сдаться на милость победителя. Фердинанд и Изабелла вступили в Гранаду под гром выстрелов, окруженные торжественной пышностью. Священники превратили большую мечеть в собор, и туда направилось шествие, чтобы в благочестивой мессе возблагодарить Бога торжественным *Te deum** за славную победу над служителями неверного пророка Магомета. Все знали, что с трудом подавленное сопротивление мавров может вспыхнуть с новой силой, и потому отряды войска, готового к битве, были рассредоточены по городу, прикрывая шествие, двигавшееся по главной улице. Когда Агуиляр,

следовавший из отдаленного пункта во главе пешего отряда, входил в собор, где уже начиналась служба, в его левое плечо вдруг вонзилась стрела. В то же мгновение из темного сводчатого прохода выскочила толпа мавров и стремительно напала на христиан. Во главе их был Хихэм. Он бросился на Агуиляра, но полководец, лишь слегка задетый и почти не чувствующий боли от раны, ловко отбил его могучий удар. Мгновение — и Хихэм лежал у ног Агуиляра с отрубленной головой. Теперь уже испанцы яростно перешли в наступление, и коварные мавры вскоре обратились в бегство. Они успели спрятаться в каменном доме, быстро закрыв ворота. Агуиляр велел поджечь этот дом. Уже пламя

взвилось над крышей, когда, заглушая гром перестрелки, из горящего здания зазвучал удивительный голос: Sanctus, sanctus Dominus deus Sabaoth!***. "Юлия! Юлия!" — а отчаянно закричал Агуиляр.

Неожиданно ворота раскрылись, и из них вышла Юлия в одежде бенедиктинской монахини. "Sanctus, sanctus Dominus deus Sabaoth", — громко пела она. За Юлией шли мавры со склоненными головами, сложив крестом на груди руки. Изумленные испанцы расступились. Юлия и мавры, проследовав меж их рядов, вошли в собор. "Benedictus qui venti in nomine dominus"***, пела Юлия. Народ невольно преклонил колена — словно явилась святая, посланная небом возвестить благословение Божье.

Устремив к небу просветленный взор, Юлия твердым шагом подошла к главному алтарю и, встав между Фердинандом и Изабеллой, начала петь службу, со страстью исполняя священные обряды. А при последних словах: "Dona nobis pacem"**** она без чувств упала на руки королеве. Все обращенные к Богу мавры получили в тот же день святое крещение".

Так закончил энтузиаст свой рассказ. Как раз в эту минуту с великим шумом — стуча палкой об пол и громко негодуя — вошел доктор. "Вы все еще сидите здесь и рассказываете глупые фантастические истории, не замечая того, что творится вокруг", — сердито кричал он.

— Что случилось, дражайший? — испугался капельмейстер.

— Я знаю, в чем дело, — спокойно сказал энтузиаст, — просто-напросто Беттина услышала наш громкий разговор, вошла в соседний кабинет и теперь все знает.

— Это все вы, сумасшедший энтузиаст! — возмутился доктор, — вы с вашими безумными манерами и проклятыми лживыми историями отравляете и разрушаете нежные организмы, вы за это ответите!

*Te deum laudamus (лат.) — Господи, мы восхваляем Тебя

**Свят, свят, свят Господь Саваоф (лат.).

***Да будет благословен пришедший от имени Господа (лат.).

****Дай нам мир (лат.).

— Милейший доктор! — прервал энтузиаст разгневанного приятеля, — не горячитесь, а подумайте лучше о том, что психическая болезнь Беттины требует психического лекарства и, может быть, моя история...

— Довольно, довольно! — отмахнулся доктор. — Я знаю, что вы хотите сказать.

— Для оперы это не годится, но тут было несколько замечательно звучащих аккордов, — пробормотал капельмейстер, беря шляпу.

Спустя три месяца странствующий энтузиаст слушал выздоровевшую Беттину, которая великолепным звонким голосом пела Stabat Mater Перголезе. Это было не в церкви, но в довольно большом помещении. Полный радости и благоговейного восторга, он поцеловал ее руку, а она сказала:

— Вы не то чтобы колдун, но иногда идете наперекор природе.

— Как все энтузиасты, — прибавил капельмейстер.

ПУСТОЙ ДОМ

Все были согласны в том, что человек может иногда иметь такие чудесные видения, каких не в состоянии изобрести даже самое разгоряченное воображение.

— Мне кажется, — сказал Лелио, — что в истории можно найти много примеров в подтверждение этому и что именно по этой причине так называемые исторические романы, в которых сочинитель силится выдать наивные вымыслы своего холодного воображения за действия вечной силы, управляющей природой, кажутся нам столь ничтожными и нелепыми. — В непостижимой таинственности, — возразил Франц, — пронизывающей все, что окружает нас, мы прозреваем владычествующего над нами высшего, самостоятельного Духа.

— Ах! — продолжал Лелио, — в этом то и беда наша, что вследствие испорченности после грехопадения мы лишились сей способности прозрения.

— Много призванных, но мало избранных, — перебил Франц своего друга. — Неужели ты не веришь, что некоторым людям прозрение дано как особенное чувство? Но чтобы не запутаться в мудреных умозаключениях, которые могут ввести нас в заблуждение, я объясню это таким сравнением: люди, одаренные способностью прозрения и, как следствие, способностью иметь чудесные видения, похожи, по моему мнению, на летучих мышей, у которых ученый Спаланцани открыл особенное шестое чувство, не только заменяющее, но и превосходящее все прочие чувства, совокупно взятые. — Ого! — воскликнул Франц смеясь. — Значит, летучие мыши должны быть настоящими *сомнамбулами*! Сравнение это, однако же, для меня неубедительно, ибо надобно заметить, что это шестое, по-твоему, удивления достойное чувство есть не что иное, как способность во всем усматривать видения, невзирая — лица ли то, причина ли или проявление особенностей, находящихся вне привычного круга наших понятий, подобных которым в обыкновенной жизни мы не находим и потому называем чудесными. Но что такое, однако же, обыкновенная жизнь? Не что иное, как узкий круг, в котором мы не зрим далее своего носа и в котором недостает места не только прыгать и кувыркаться, но даже и прохаживаться самым размеренным шагом. У меня есть один знаковый, который твердо уверен, что одарен способностью иметь чудесные видения. По этой причине случается, что он иногда по целым дням бежит за совершенно незнакомыми ему людьми, имеющими что-нибудь необычное в походке, одежде, голосе или взгляде. Самое обыкновенное происшествие, совершенно незначительный случай, не заслуживающий ни малейшего внимания, заставляют его задумываться, выстраивать странные соображения и умозаключения, которые никому, кроме него, не пришли бы на ум.

— Постой! Постой! — перебил его Лелио. — Я знаю, о ком ты говоришь, — это, верно, наш Теодор. Посмотри, как задумчиво и какими странными глазами глядит он в небо? Похоже в голове у него сейчас нечто совершенно особенное.

— Очень может статься, — согласился Теодор, который до сего времени молчал, — что в моих глазах и вправду было странное выражение: я размышлял об одном в самом деле удивительном происшествии, недавно случившемся со мной.

— Ах, расскажи, пожалуйста, расскажи нам, — в один голос воскликнули его друзья.

— Охотно, — отозвался Теодор, — но я должен заметить, любезный Лелио, что для объяснения моей способности иметь видения ты привел очень дурные примеры. Ты должен знать из "Синонимики" Эберхарда, что *чудными* называются все вообще воплощения прозрений и желаний, которым рассудок не находит объяснения, а *чудесным* называется то, что обыкновенно почитают невозможным, непостижимым, что переходит за грани законов природы или кажется противным оным. Из этого вытекает, что, говоря прежде всего обо мне, ты смешиваешь чудное с чудесным. Неоспоримо, однако же, что чудное, по-видимому, из чудесного проистекает, только иногда от нас сокрыто то древо чудесного, от которого простираются видимые нами ветви чудного, со всеми своими отпрысками и листьями. В приключении, о котором я вам поведаю, переплелось чудное и чудесное, и, сдается мне, в необыкновенно ужасающем виде.

Теодор вынул из кармана записную книжку, в которой он делал разные заметки во время своего путешествия, и начал свое повествование, подчас заглядывая в нее.

— Вы знаете, что все прошедшее лето я провел в ***. Множество старых друзей и знакомых, которых я там встретил, веселая, вольная жизнь, наслаждение искусствами и науками, — все привязывало меня к этому месту. Никогда не был я так весел, я мог наконец всецело предаваться давней своей страсти бродить в одиночестве по улицам, останавливаться перед каждой выставленной в витрине картиной, перед каждой афишей или разглядывать прохожих, мысленно угадывая их будущее. Обилие произведений искусства и роскоши, множество великолепных зданий, — все приковывало мое внимание, возбуждало мое любопытство. Одна из улиц-аллей, застроенная подобными замечательными строениями, ведущая к **** воротам, служит местом, где обитает публика, которая по праву своего происхождения или состояния ведет весьма роскошную жизнь. Нижние этажи этих высоких, просторных зданий большей частью заняты шикарными магазинами, в которых торгуют предметами роскоши, а в верхних размещаются апартаменты людей, принадлежащих к упомянутому классу общества. На этой же улице находятся лучшие отели, живут знатные посланники иностранных держав, ни в какой другой части столицы нет такого оживленного движения жизни, как здесь, и сам город в этом месте кажется гораздо многолюднее, чем он есть на самом деле. Желание поселиться здесь заставляет многих довольствоваться гораздо меньшими квартирами, нежели им необходимо; и оттого иные дома так переполнены людьми, что уподобляются ульям. Я уже не раз прогуливался по этой улице, как вдруг однажды мое внимание привлек дом, который самым странным образом

отличался от всех прочих. Вообразите себе невысокое, шириной в четыре окна, строение, как бы втиснувшееся между двумя высокими, прекрасными зданиями, второй этаж его лишь чуть-чуть выше нижнего этажа соседнего дома, а ветхая крыша, окна, частично заклеенные бумагой ввиду отсутствия стекол, и стены с выцветшей от времени краской свидетельствуют о заброшенности, о совершенном нерадении хозяев к его поддержанию. Можете себе представить, как выглядел такой дом между зданиями, отделанными со вкусом и великолепием. Я остановился и при ближайшем рассмотрении заметил, что окна этого дома плотно занавешены, а окна нижнего этажа даже наглухо заложены кирпичом, что на воротах, находящихся сбоку и служащих входной дверью, нет ни колокольчика, ни замка, ни даже ручки. Я твердо уверился, что дом сей должен быть совсем необитаем, тем более что, в какое бы время и как бы часто мне не случалось проходить мимо, я не замечал в нем ни малейшего следа живой души. Необитаемый дом в этой части города! Странное явление, впрочем, тому может быть весьма естественное и простое объяснение! Вполне могло статься, что владелец, находясь в продолжительном путешествии или постоянно живя в каком-нибудь отдаленном поместье, не хотел этот дом ни продавать, ни сдавать внаем, чтобы тотчас по возвращении в *** расположиться в нем. Так думал я, но что-то непонятное мне самому заставляло меня всякий раз, когда я проходил мимо, останавливаться перед домом и погружаться в самые удивительные мысли. Всем вам, верные товарищи моей веселой юности, известна давнишняя моя склонность делать из себя духовидца; сколько раз вы пытались доказать мне естественное происхождение того, что, по моему мнению, было порождено неким таинственным, непостижимым миром.

Что ж, смейтесь, сколько хотите, я откровенно признаюсь, что нередко сам мистифицировал себя самым забавным образом. И с этим пустым домом могло произойти то же самое; но поучительная развязка этой истории вас обезоружит! Итак, к делу!

Однажды, в тот самый час, когда согласно правилам хорошего тона надлежит прохаживаться взад и вперед по аллее, стоял я, по обыкновению углубившись в свои размышления, перед домом — и вдруг чувствую, что кто-то останавливается рядом со мной и пристально на меня смотрит. Это был граф П., который, как и я, не раз проявлял себя духовидцем, и я нимало не сомневался, что таинственный дом привлек к себе и его внимание. Когда я сообщил ему, какое необыкновенное впечатление произвело на меня это запустелое строение, он понимающе усмехнулся. Вскоре, однако, все объяснилось. Граф П. сделал более моего: его наблюдения, размышления и соображения выстроились в такую удивительную историю об этом доме, какую могло породить только самое пылкое поэтическое воображение. Я бы охотно рассказал вам историю графа, которая еще очень свежа в моей памяти; но голова моя так занята теперь тем, что произошло со мною в действительности, что я никак не хочу отвлекаться от своего повествования. Каково же было разочарование бедного графа, когда он узнал, как на самом деле обстоят дела: что опустевший дом — это всего лишь пекарня, принадлежащая кондитеру, который содержал в соседнем доме весьма богатое торговое заведение.

Окна нижнего этажа были замурованы потому, что там размещались печи, а плотные шторы верхнего этажа были призваны предохранять хранящиеся в этих помещениях готовые лакомства от солнца и насекомых.

Меня тоже будто окатили холодной водою, когда граф сообщил мне эти незамысловатые подробности.

Невзирая на столь прозаическое объяснение, я продолжал невольно поглядывать на дом всякий раз, когда проходил мимо; и по-прежнему при виде его по всем членам моим пробегал легкий трепет, а в голове рождались причудливые образы. Я никак не мог привыкнуть к мысли о пекарне, марципанах, конфетах, тортах, засахаренных фруктах и проч. Слово по чьей-то странной прихоти в воображении моем звучал некий сладкий, обворожительный голос: "Не пугайтесь, дорогой приятель, — нашептывал голос, — мы все претихие маленькие создания. Только вот-вот может грянуть гром!" "Ну! Не суший ли ты безумец и глупец, — говорил я себе. — Хочешь из самого обыденного сделать чудесное, и не поделом ли называют тебя друзья сумасбродным духовидцем?"

Дом, следуя своему назначению, о котором рассказал мне граф, оставался, разумеется, все таким же; глаза мои мало-помалу к нему привыкли, и все чудесные видения, которые, бывало, проступали сквозь его стены, постепенно рассеялись и исчезли. Однако случай пробудил все, что казалось уснувшим. Зная мою рыцарскую верность чудесному, вы можете себе представить, что, несмотря на видимое наружное спокойствие, я все-таки не выпускал из виду загадочный дом. И вот однажды в полдень я, как обычно, прогуливался по аллее, и взгляд мой упал на занавешенные окна пустого дома. Внезапно я заметил, что гардина на последнем окне, находящемся подле кондитерской, шевельнулась. Сначала показалась кисть руки, потом и целая рука. Я поспешно вынул из кармана небольшую подзорную трубу и, глядя в нее, отчетливо рассмотрел прелестнейшей формы и ослепительной белизны женскую руку, на пальце с необыкновенной яркостью сверкал бриллиант, а на красивом ок-

руглом запястье — богатый браслет. Рука поставила на подоконник высокий, странного вида хрустальный сосуд и скрылась за гардиной. Я окаменел. Необыкновенное, неизъяснимо-сладостное чувство охватило все мое существо блаженной теплотой; я не сводил глаз с таинственного окна, и, должно быть, из моей груди вырвался страстный вздох. Когда я очнулся, то увидел, что вокруг меня собралась целая толпа людей разного звания, которые так же, как и я, с любопытством смотрели на дом. Сначала это меня рассердило, но потом я подумал, что толпа верна себе: упадет с шестого этажа какого-нибудь дома ночной колпак — тотчас соберется целая армия зевак, которые целый день будут стоять на одном месте и дивиться, что в колпаке во время падения не спустилось ни одной петли. Я потихоньку выскользнул из толпы, и демон прозы тотчас шепнул мне, что прекрасная рука принадлежит богатой, по-праздничному принаряженной жене кондитера, которая как раз ставила на подоконник пустой графин из-под розовой воды или что-нибудь в этом роде. И тут мне вдруг пришла в голову весьма благоразумная мысль. Я повернул назад и вошел в богатую, сверкающую зеркалами кондитерскую рядом с пустым домом. Сдувая остужающим дыханием пенку с горячего шоколада, я будто невзначай заметил:

— Право, вы очень хорошо сделали, что присоединили к своему заведению еще и это соседнее строение.

Кондитер ловко бросил несколько разноцветных конфеток в бумажный кулек и, подав его милостливой юной покупательнице, облокотился на прилавок и, близко склонившись ко мне, устремил на меня, улыбаясь, такой вопросительный взор, как будто бы вовсе не понял, о чем речь. Я повторил, что он весьма благоразумно поступил, устроив в соседнем доме свою пекарню, хотя и жаль, что здание из-за этого смотрится нежилым и являет собою резкий контраст с окружающими строениями.

— Помилуйте, сударь! — возразил наконец кондитер. — Да кто сказал вам, что соседний дом принадлежит нам? Правда, сначала мы пытались приобрести его, но не преуспели в этом; впрочем, кажется, об этом не стоит и жалеть, потому что в доме этом творится что-то странное.

Можете себе представить, друзья мои, какое любопытство возбудил во мне ответ кондитера и как настойчиво я стал просить его рассказать подробнее о доме.

— Правду сказать, сударь, я и сам не слишком много знаю; достоверно известно только, что дом этот принадлежит графине З., которая живет в своем поместье и уже несколько лет не была в ***. Когда не существовало еще ни одного из великолепных зданий, украшающих нашу улицу, дом этот стоял уже, как мне рассказывали, точно в таком виде, как теперь, и с тех самых пор всякий ремонт ограничивался тем, чтобы кое-как сбересть его от полного разрушения. В доме обитают только два живых существа: старый нелюдим-управитель и дряхлая собака, которая иногда воет на заднем дворе. Говорят, что в пустом строении всю проказничают духи, и в самом деле, мой брат, владелец кондитерской, и я не раз слышали по ночам, когда все стихает, и особенно в канун Рождества, когда мы дольше обычного задерживаемся здесь, странные жалобные стоны, явно доносящиеся из-за стены соседнего дома. После этого поднимался такой ужасный шум и царпанье, что обоих нас мороз по коже продирает. Еще недавно ночью так там распевали, что и описать не могу. Мы ясно различили голос старой женщины, но звуки были так звонки и чисты, рассыпались такими мелодичными трелями на таких высоких нотах, что я такого никогда не слыхивал, а ведь я бывал в Италии и Франции, да и у нас, в Германии, слышал многих отличных певцов. Мне казалось, что поют на французском языке; слов, однако, я разобрать не мог, да и вообще не имел охоты слушать чертовскую музыку, потому что волосы у меня от нее становились дыбом. Иногда также, когда шум на улице утихнет, мы слышим глубокие вздохи, как будто бы у нас в задней комнате, потом глухой дребезжащий смех, как из какого-нибудь подземелья; но, приложив ухо к стене, ясно различаем, что все эти звуки доносятся из соседнего дома. Прошу вас, — он повел меня в заднюю комнату и показал на окно, — прошу вас обратить внимание на железную трубу, выходящую из стены: из нее временами, иногда даже летом, когда совсем нет надобности топить, валит такой густой дым, что брат мой, опасаясь пожара, несколько раз уже бранился со старым управителем, который утверждает, что варит себе еду; Бог знает, однако же, что он ест, потому что именно в то время, когда эта труба дымит, оттуда тянет каким-то необычным запахом.

Стеклянная входная дверь закричала, кондитер поспешил навстречу посетителю и, кланяясь вошедшему, сделал мне выразительный знак глазами.

Я сразу его понял. Кем еще могла быть эта странная фигура, как не управителем таинственного дома? Представьте себе невысокого, сухощавого человека с лицом цвета мумии, острым носом, плотно сжатыми узкими губами с застывшей на них полубезумной улыбкой, с блестящими зелеными, как у кошки, глазами, с напудренными, завитыми в маленькие букли и украшенными высоким старомодным тупеем, забранными в пучок волосами, в коричневом, полинявшем от времени, но довольно еще

крепком и хорошо вычищенном платье, в серых чулках и больших тупоносых башмаках с пряжками. При этом сия сухощавая фигура отличалась крепким сложением, особенно приковывали к себе внимание руки с необыкновенно длинными пальцами. Он твердым шагом подошел к прилавку и, все так же беспрестанно усмехаясь и устремив взор на хрустальные вазы с конфетами, произнес неожиданно жалобным голосом:

— Прошу дать мне два засахаренных апельсина, два миндальных печенья, два каштана в сахаре и проч.

Представьте себе все это и судите сами, были ли у меня причины ожидать чего-то необыкновенного? Кондитер выложил все, что требовал старик.

— Взвесьте, взвесьте, почтеннейший сосед! — простонал этот необычный человечек, вынул из кармана, кряхтя и вздыхая, небольшой кожаный кошелек и стал медленно отсчитывать деньги. Я заметил, что монеты, которые он клал на прилавок, были по большей части очень старинные или даже уже вышедшие из обращения. Все это он проделывал с весьма печальным видом, приговаривая при этом:

Надобно, чтобы конфеты были как можно слаще, как можно слаще; сатана потчует супругу свою медом, чистым медом!

Кондитер с улыбкою взглянул на меня и сказал, обратившись к старику:

— Вы, кажется, не совсем здоровы, сударь; что делать! Старость, слабость, силы убывают.

Старик, не изменив своей мины, вдруг громко выкрикнул:

— Что? Старость? Слабость? Силы убывают? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — и при этом так крепко сжал кулаки, что хрустнули суставы, а затем подпрыгнул так высоко и с такою силою, стукнув в воздухе нога об ногу, что вся кондитерская затряслась и зазвенела посуда. Но в то же мгновение раздался отчаянный визг: старик наступил на лапу лежавшей на полу у самых его ног черной собаке.

— Проклятое животное! Сатанинская собака, — прежним тихим и жалобным голосом промолвил старик, развернул кулек и дал ей миндальное печенье. Собака, визг которой превратился почти в человеческое всхлипывание, тотчас же умолкла, села на задние лапы и, как белка, начала грызть печенье. Оба успели окончить свое дело одновременно: собака съест лакомство, а старик завернуть и спрятать в карман кулек с конфетами.

— Спокойной ночи, почтеннейший сосед, — сказал он, протянул руку кондитеру и так сильно сжал его пальцы, что тот громко вскрикнул,

— Дряхлый, слабый старикашка желает вам покойной ночи, почтеннейший сосед! — повторил он и вышел; черная собака потащилась за ним, слизывая с морды крошки миндаля. Меня старик, казалось, не заметил; я стоял, оцепенев от изумления.

— Вот видите, сударь, — повернулся ко мне кондитер, — вот таков этот чудной старик; он приходит к нам каждый месяц по крайней мере два или три; но все, что мы от него могли выведать, так это то, что он прежде был камердинером у графа З., что теперь смотрит за его домом и уже несколько лет всякий день ожидает прибытия графской семьи и потому не сдает дом внаем. Брат мой приступил было к нему однажды, чтобы он растолковал ему причину шума, случающегося по ночам у него в доме; на что старик спокойно отвечивал: "Да! Все говорят, что в доме водятся нечистые духи; не верьте, однако же, это неправда".

Пришло время, когда хороший тон предписывает посещение кондитерской — дверь распахнулась, щеголеватый народ посыпался в заведение и я не мог более расспрашивать.

Теперь я по крайней мере узнал достоверно, что сведения графа П. касательно собственности и назначения дома неверны и что в доме этом обитает не только старый управитель — без всякого сомнения, здесь кроется, вернее, тщательно скрывается, какая-то важная тайна. Ибо иначе как соотнести рассказ о необыкновенном и в то же время ужасном пении с явлением прекрасной руки? Было ясно, что рука не принадлежала, не могла принадлежать какой-нибудь сморщенной старухе; вместе с тем, по рассказам кондитера, там пела не молодая, цветущая девушка. Впрочем, могло быть, что голос казался старым и дребезжащим по причине акустического обмана или что кондитер, объятый страхом, расслышал невнятно. Затем я стал размышлять о дыме, о странном запахе, о хрустальном, необыкновенного вида сосуде, виденном мною, и воображению моему ясно представился образ прелестнейшего создания, которое стало жертвой злодейского волшебства. Старик превратился в злого, мерзкого колдуна, который, не имея никакого отношения к семье графа З., творит свои темные дела в заброшенном доме. Воображение мое кипело; уже в ту же ночь видел я, и нельзя сказать, что во сне — скорее в полусне, — ясно видел я руку с блестящим браслетом вокруг кисти, со сверкающим бриллиантом на пальце. Сначала возникло, как бы медленно проступая из негустого седого тумана, прелестное лицо с томными, печальными небесно-голубыми глазами, а потом и вся женская фигура в расцвете юности и красоты. Вскоре я заметил, что принимаемое мною

за туман было на самом деле тонким паром; его клубящиеся кольца вышывали из хрустального сосуда, который это неземное существо держало в руке. "О, прелестное, очаровательное создание! — воскликнул я, исполненный восторга.— Скажи, где ты обитаешь и кто держит тебя в неволе? Ах, с какой печалью и любовью взираешь ты на меня! О, я знаю: ты во власти гнусного чернокнижника, ты томишься в плену у злого демона, который расхаживает в темно-коричневом платье, носит напудренный пучок на затылке, посещает кондитерские, в которых скачет, бьет там все и ломает, отдавливает ноги адским собакам и задабривает их потом миндальными сладостями. О, милое, доброе создание, я все, все знаю! Бриллиант на твоей руке — это отблеск жаркой страсти! Мог ли он так блеснуть, мог ли так переливаться тысячью восхитительных оттенков, если бы не был напоен твоей кровью? Но я примечаю, что браслет, сомкнувшийся на твоей руке, есть кольцо той цепи, которую этот злой старик называет магнетической. Не верь ему, волшебница! Я вижу, что он опустил другой конец этой цепи в голубое пламя реторты. Я разобью ее, и ты будешь свободна! Признайся же, милое, несравненное существо,— неправда ли, что я все, все знаю? Раскрой же свои пленительные уста, промолви хоть одно слово". Внезапно через плечо мое протянулась мускулистая рука и, схватив хрустальный сосуд, мгновенно обратила его в мелкие осколки, разлетевшиеся по воздуху. Прелестный образ с глухим, скорбным стоном растаял в ночной тьме.

Ваша улыбка дает мне понять, что я опять кажусь вам неисправимым фантазером; но уверяю вас, что сон мой, ежели вы непременно желаете так это называть — очень походил на самое настоящее видение. Но так как вы продолжаете упорствовать в своем прозаическом недоверии, то я лучше умолчу об этом и стану продолжать мой рассказ.

Едва забрезжило утро, я выбежал на улицу и, преисполненный тревожного ожидания, остановился перед злополучным домом. Окна в нем были не только задернуты гардинами — на них были спущены жалюзи. На улице еще не было видно ни души; я подошел вплотную к окну нижнего этажа и стал прислушиваться, но в доме было так же тихо, как в могиле.

Наступил день, вокруг стали появляться люди, и я удалился.

Зачем утомлять вас рассказом о том, как много дней кряду бродил я в разное время около дома, не сделав ни малейшего открытия, как все мои расспросы не приносили никаких положительных результатов и как наконец прелестный образ моего видения начал мало-помалу изглаживаться из моего воображения?

Наконец однажды, возвращаясь поздно вечером с прогулки и проходя мимо пустого дома, заметил я, что ворота полурастворены и из них выглядывает старик-управитель. Я тотчас же решился:

— Не здесь ли живет господин тайный советник Биндер? — спросил я, чуть ли не вталкивая старика во внутренность дома, в переднюю, слабо освещенную лампадой. Старик взглянул на меня со своей обычной язвительной улыбкой и произнес тихим, протяжным голосом:

— Нет, такой здесь не живет, никогда не жил и не будет жить, и вообще не живет на этой улице.

Люди болтают, что у нас тут водятся духи, но уверяю вас, это неправда; в домике нашем все очень тихо и спокойно; завтра приезжает, чтобы поселиться здесь, ее сиятельство графиня З., и засим прощайте, желаю вам покойной ночи!

С этими словами старик учтиво выпроводил меня и запер за мной ворота. Я слышал, как он, кряхтя и кашляя, гремел ключами и, удаляясь, шаркал по каменному полу, после чего, как мне показалось, спустился вниз по ступеням. В продолжении короткого моего пребывания в загадочном доме я успел заметить, что стены в передней затянуты старинными пестрыми обоями, кресла, обитые красным пгтофом, больше подходили бы для мебелировки залы. Все это было весьма странно.

Эта попытка проникнуть в таинственный дом снова заставила меня ожидать приключений!

И что же? Подумайте только: на другой день в полдень иду я по аллее, уже издали невольно устремляя свой взор на пустой дом, и вдруг вижу, что в последнем окне верхнего этажа что-то блестит. Подхожу ближе — и замечаю, что наружные жалюзи подняты и до половины отодвинута гардина.

Сверкающий бриллиант слепит мои глаза. О небо! Опершись на руку, на меня печально смотрит мое ночное видение. Среди толпящегося народа невозможно долго оставаться на одном месте. Я вспомнил, что почти напротив пустого дома, в аллее есть скамья, на которой обычно отдыхают гуляющие. Я бросился в аллею и, облокотившись на спинку скамьи, стал без помехи смотреть на загадочное окно. Да! Это, без сомнения, была именно та прекрасная девушка, которую я уже видел прежде! Вот только во взгляде ее было нечто странное: он не был устремлен на меня, как мне сначала показалось, и было в нем что-то неподвижное, безжизненное; если бы не едва заметное движение руками, то я принял бы ее за бездушную картину. Целиком погрузясь в созерцание таинственного создания, вызывавшего такое волнение во всем моем существе, я не услышал дребезжащего голоса итальянского разносчика, который, должно быть, давно уже стоял подле меня, предлагая свой товар. Чтоб обратить на себя мое внимание, он наконец дернул меня за рукав; я с досадою обернулся и

довольно грубо предложил ему отвязаться. Однако он не переставал упрашивать меня купить у него хоть что-нибудь, хоть парочку карандашей, хоть связку зубочисток, сетуя, что он в этот день ничего еще не продал. Потеряв терпение и желая поскорее освободиться от докучливого продавца, я хотел дать ему какую-нибудь мелкую монету и опустил руку в карман за кошельком. Со словами: "Вот и здесь есть у меня прекрасные вещицы!" — он выдвинул нижнюю часть своего ящика и вытащил из нее круглое карманное зеркальце, лежавшее сбоку, несколько поодаль от прочих вещей. Я взглянул на него и увидел в нем отражение пустого дома позади меня, окно и в самом резком, ясном ракурсе ангельский лик моего видения. Я тотчас же купил это зеркальце и теперь имел возможность спокойно и беспрепятственно, не привлекая к себе внимания, наблюдать за окном.

Но чем дольше я смотрел на лицо в окне, тем больше меня охватывало какое-то непонятное, неизъяснимое чувство, которое можно было назвать сном наяву. Мне казалось, что какое-то оцепенение овладело мною, — мой взгляд был прикован к зеркалу, я не мог отвести его. К стыду своему, должен признаться, что в ту минуту мне вспомнилась сказка, которую в детстве рассказывала мне моя нянька, чтобы заставить лечь спать, когда я, бывало, вечером вздумаю посмотреть в большое зеркало, висевшее в комнате моего отца. Она говорила, что если дети на ночь глядя засмотрятся в зеркало, то там появляется страшное лицо и глаза ребенка навсегда останутся неподвижными. Я ужасно боялся этого, но все же не мог иногда удержаться хоть мимоходом взглянуть в зеркало. Однажды мне и вправду почудилось, что в зеркале сверкают два ужасающих глаза; я вскрикнул и упал без чувств на пол. Обстоятельство это ввергло меня в продолжительную болезнь, но мне и до сих пор кажется, что я действительно видел в зеркале эти глаза.

Когда в голове моей пронесся весь этот сумбур из ребяческих лет, озноб пробежал по всем моим членам, я хотел отшвырнуть от себя зеркало, но был не в состоянии сделать этого: внезапно небесные глаза прелестного создания обратили на меня свой взор, и он проник в самую глубину моего сердца. Ужас, объявивший меня, уступил место сладостному томлению, которое пронзило меня электрическим теплом. "Какое у вас красивое зеркальце!" — вдруг произнес рядом со мной чей-то голос. Я пробудился от своих мечтаний и немало удивился, увидев сидящих по обе стороны от меня незнакомых людей, которые пристально смотрели на меня и многозначительно улыбались. Без сомнения, заметив, как пристально я гляжу в зеркало и, возможно, увлеченный своим разгоряченным воображением, даже делаю странные гримасы, они развлекались наблюдая за мной. "Прекрасное зеркальце у вас!" — повторил один из незнакомцев, сопровождая свои слова взглядом, в котором можно было прочесть вопрос: "Но скажите на милость, какого черта вы так уставились в это зеркало, что это вы с таким усердием там разглядываете? Что вы в нем видите и проч.?" Человек, заговоривший со мною, был уже довольно преклонного возраста, весьма прилично одет, в его голосе и взгляде было что-то необыкновенно добродушное и внушающее доверие. Я без обиняков признался ему, что смотрю в зеркало на лицо прекрасной девушки, сидящей у окна пустого дома, находящегося позади нас, и при этом заинтересовался, не видит ли и он этого лица.

— Вот там, напротив? В пустом доме? В последнем окне? — с большим удивлением переспросил пожилой господин.

— Ну, да, разумеется, — отвечал я.

— В самом деле?! Неужто мои старые глаза уже отказываются служить мне? Правда, у меня нет с собой очков; но мне, право, кажется, что в этом окне — всего лишь искусно написанный маслом портрет.

Я поспешно обернулся, чтобы взглянуть на окно, но все уже исчезло и жалюзи были спущены.

— Да! Теперь уже поздно удостоверяться в этом, — продолжал старый господин, — ибо слуга, живущий в этом доме, насколько мне известно, в качестве управляющего графини З., только что, обтерев пыль с картины, убрал ее и опустил жалюзи.

— Вы уверены, что это был портрет? — ошеломленно переспросил я.

— Поверьте моим глазам, — подтвердил старый господин, — нет сомнения, что это отражение в зеркале увеличивало оптический обман. В ваши годы и мое воображение, быть может, сотворило бы из картины живое существо.

— Однако же я ясно видел движение руки, — возразил я.

— О! Точно, точно, руки двигались, она вся шевелилась, — засмеялся старый господин и легонько потрепал меня по плечу. Затем он встал, учтиво поклонился и пошел прочь, заметив: "Берегитесь лживых зеркал. Ваш покорный слуга".

Можете представить, каково мне было видеть, что со мной обходятся как с глупым, романтическим мечтателем. Я убедил себя, что старик был прав и что все это было лишь плодом моего неутолимого воображения.

Рассерженный и огорченный отправился я домой, твердо решив выкинуть из головы таинства злосчастного дома и по крайней мере хотя бы несколько дней не ходить по этой аллее. И я следовал своему намерению; днем сидел за письменным столом и трудился над некоторыми неотложными делами, а вечера проводил в кругу веселых и остроумных приятелей и таким образом сумел почти позабыть обо всех этих тайнах. Только изредка случалось, что ночью я вдруг пробуждался, как будто от чьего-то прикосновения, и потом ясно понимал, что меня разбудила мысль о таинственном создании, явившемся мне в окне пустого дома. Часто во время самого увлекательного занятия или в пылу оживленного разговора с друзьями, вдруг безо всякой видимой причины, подобно электрической молнии пронзала меня эта мысль. Впрочем, подобные мгновения бывали непродолжительны. Карманное зеркальце, в котором я столь живо видел отражение прелестного лица, я предназначил для самого прозаического употребления: завязывал перед ним галстук.

Однажды, приступая к этому важному делу, я увидел, что зеркальце несколько потускнело, и, чтобы протереть его, как водится, дохнул на него. Кровь застыла в моих жилах, сердце затрепетало от какого-то неизъяснимо-упоительного страха! Не знаю, как иначе обозначить то чувство, которое охватило меня, когда я увидел в зеркале, едва его коснулось мое дыхание, в голубоватом тумане изображение моего прелестного существа, смотрящего на меня томными, проникающими в душу глазами! Вы смеетесь? Что ж, мне все равно; пускай кажусь я вам неисцелимым мечтателем, говорите, думайте, что хотите: я точно знаю, что пленительное лицо действительно смотрело на меня из зеркала и исчезло в то же мгновение, когда его поверхность снова стала ясной и гладкой.

Не хочу утомлять вас пересказом всех последовавших за этим событий. Скажу только, что я вновь и вновь пытался вызвать чарующий образ, и иногда мне это удавалось. Но случалось и так, что все мои попытки не приносили никаких результатов. Тогда я метался как безумный перед ненавистным домом — но тщетно! Там не было никаких признаков жизни. Время остановилось для меня, я ни о чем больше не мог думать, я забросил все свои занятия и стал избегать друзей.

Порой это состояние сменялось тихой, мечтательной грустью, и тогда прелестный образ, казалось, утрачивал свою власть надо мной; иногда же оно усиливалось и принимало такие размеры, что и сейчас еще мне страшно об этом вспоминать. Не стоит скептически улыбаться и посмеиваться надо мной: это душевное состояние могло стать для меня роковым; лучше послушайте и постарайтесь понять и разделить со мной все, что мне довелось пережить.

Как я уже сказал, когда зеркало не отзывалось на все мои усилия, я физически заболел, а волшебный образ так завладевал моим воображением, так живо и блистательно являлся мне, что казалось, я могу прикоснуться к нему. Но тут же возникало отвратительнейшее чувство, будто этот образ — я сам, будто это мое собственное отражение выступает из голубого тумана на стеклянной поверхности. Такое состояние обычно имело своим следствием жестокую боль в груди и глубокую депрессию, после которой я чувствовал себя совершенно обессиленным. В такие минуты зеркало было глухо к моим мольбам; когда же я ощущал прилив сил, пленительное лицо глядело из зеркала как живое, и меня охватывало — не буду лукавить — какое-то особенное, ранее неведомое мне чувство физического наслаждения.

Постоянное напряжение, с которым я пребывал, пагубно влияло на меня, бледный как смерть, рассеянный и потрясенный, я не замечал ничего вокруг, друзья полагали, что я болен, их неутомимая забота и уговоры заставили меня всерьез обратить внимание на свое здоровье. Наверное, случайно один из моих друзей, изучавший фармакологию, как-то оставил у меня книгу Рейля об умственных расстройствах. Я начал ее читать и в описании навязчивых состояний узнал себя! Представьте себе, какой глубокий ужас охватил меня при мысли, что я близок к сумасшествию! Это заставило меня принять твердое решение, и я сразу же приступил к его исполнению.

Я отправился на прием к доктору К., известному психиатру, который весьма успешно лечил душевнобольных, глубоко проникая в то психическое начало, которое обладает способностью не только вызывать физические болезни, но и излечивать их. Я рассказал ему все, не умолчав ни о малейшей, далее незначительной детали, умоляя спасти меня от грозящей мне жуткой участи. Он выслушал меня, оставаясь внешне совершенно спокойным, но я прочел в его глазах глубокое изумление.

— Пока еще дело обстоит не так скверно, как вам кажется, — вынес свое суждение доктор. — И я убежден, что смогу отвести от вас эту угрозу. Несомненно, вы стали жертвой сильнейшего психического воздействия, но, так как вы ясно осознали это воздействие как нечто враждебное, то есть все основания полагать, что мы сможем с успехом ему противостоять. Отдайте мне ваше зеркальце и займитесь каким-нибудь делом, которое потребует от вас напряжения всех сил — умственных и физических, а потом отправляйтесь на прогулку и к друзьям, с которыми вы так долго не встречались! Подкрепите свое здоровье хорошей пищей, пейте крепкое вино. Вы видите, я хочу в корне

уничтожить вашу навязчивую идею — завораживающее вас лицо в окне пустого дома и в зеркале, я хочу обратить ваш ум к другим предметам и укрепить ваше тело. От вас же требуется всячески мне содействовать.

Нелегко мне было расстаться с зеркальцем, доктор заметил это, и взяв зеркальце у меня из рук, подышал на него, а затем поднес к моему лицу:

— Вы что-нибудь видите? — спросил он.

— Ничего,— ответил я, и это была истинная правда.

— Подышите теперь сами,— сказал доктор, протягивая мне зеркало.

Я исполнил это — и волшебный образ выступил гораздо более отчетливо, чем когда-либо.

— Она здесь! — воскликнул я.

Врач бросил взгляд на туманное стекло и слегка вздрогнул:

— Я ничего не увидел, но, не скрою, когда я заглянул в зеркало, то ощутил необъяснимый страх, впрочем, он сразу же прошел. Видите, я откровенен с вами, и вы вполне можете мне доверять.

Попробуйте-ка еще раз.

Я повиновался. Доктор стал сзади меня, я почувствовал его руку на своем позвоночнике. Лицо проступило снова, доктор, который из-за моего плеча тоже смотрел в зеркало, побледнел, затем взял у меня зеркало, еще раз взглянул на него, запер в свое бюро и несколько минут стоял молча, приложив руку ко лбу. Затем повернулся ко мне:

— Точно следуйте моим предписаниям. Признаться, мне не совсем ясно то состояние, когда вы, как бы отделившись от своего "я", ощущали его только как физическую боль. Но я надеюсь в скором времени в этом разобраться.

Несмотря на то, что это было необычайно трудно, я начал с той же самой минуты вести жизнь, сообразную предписаниям доктора, и скоро ощутил благотворное влияние предписанных мне режима и диеты. Вместе с тем я не освободился от мучительных приступов, которые обычно случались со мною около двенадцати часов дня и были гораздо более сильными около двенадцати часов ночи. Нередко даже в самой веселой компании, где пили и пели, я вдруг чувствовал, как все мои внутренности будто пронзают раскаленные острые кинжалы, и тогда, не в состоянии превозмочь эту боль, я должен был удаляться и возвращался не прежде, как по прекращении некоторого обморочного состояния.

Однажды мне случилось присутствовать на вечерней беседе, где разговор шел о психических влияниях и о темном, непостижимом могуществе магнетизма. Всего более толковали о возможности психического воздействия на расстоянии, в подтверждение чего были приведены многие примеры. Один молодой, приверженный магнетизму врач утверждал, что он, как и многие другие или, вернее, как все сильные магнетизеры, может воздействовать на своих сомнамбулических пациентов издали, посредством только целенаправленной мысли и твердой воли. Было упомянуто все, что говорили об этом предмете *Круге*, *Шуберт*, *Бартельс* и многие другие.

— Наиболее важным из всего этого,— утверждал один из собеседников, проницательный и наблюдательный медик,— по моему мнению, есть то, что магнетизм объясняет, по-видимому, некоторые таинства, которых мы не хотим признать таковыми. К этому, конечно, нужно подходить с осторожностью. Каким образом случается, например, что безо всякого внешнего или внутреннего известного нам повода, часто разрывая цепь наших мыслей, перед нашим внутренним взором вдруг возникает изображение какого-либо лица или даже целого происшествия и овладевает всеми нашими чувствами с такою силой, что мы сами тому удивляемся? Всего замечательнее, что мы иногда вскакиваем во сне. Сновидение погружает нас в темную бездну и там со всей живостью являет нам видение, которое переносит нас в какую-то далекую страну, где перед нами возникают лица, которые давно уже стали для нас чужими и о которых мы на протяжении многих лет далее не вспоминали. Скажу больше: нередко в сновидениях необычно отчетливо являются нам лица, с которыми мы знакомимся лишь некоторое время спустя. Всем нам известно чувство: "Боже мой, как знакомо мне лицо этой женщины или этого мужчины, словно я с ним где-то встречался!" — есть, может быть, не что иное, как воспоминание о таком сне. Что ежели это внезапное появление незнакомых образов в ткани нашего мозга, которое с какой-то особенной силой поражает нас, есть результат воздействия чужого психологического начала? Что ежели чужой дух при известных обстоятельствах может безо всякой подготовки установить магнетическую связь такой силы, что мы против воли должны подчиняться ей?

— Отсюда, — перебил со смехом один из присутствовавших, — всего один шаг до учения о волшебстве, магии, зеркалах и прочих глупых и суеверных бреднях, бытовавших в невежественное старое время.

— Прошу прощения, — возразил медик своему оппоненту, — время никогда не бывает ни старым, ни невежественным; в противном случае так можно назвать любое время, в котором человек начинает мыслить, а следовательно, и то, в котором мы с вами живем. Нельзя же начисто все отвергать, и в особенности вещи, которые нередко подтверждаются самыми строгими юридическими доказательствами. Я не берусь утверждать, что в темной, таинственной обители нашего духа мерцает хотя бы маленький огонек, доступный для наших слабых, беспомощных глаз, но все же трудно предположить, чтобы природа отказала нам в способностях, которыми наделила кротов. Несмотря на свою слепоту и на темноту, окружающую нас, мы тщимся продвинуться вперед. Но подобно слепому, который по шелесту листьев, по журчанию и плеску воды узнает близость леса, в котором надеется найти прохладительную тень или ручей, который утолит его жажду, и достигает таким образом цели своих желаний, подобно этому слепому мы, прислушиваясь к тихому шуму крыльев витающих вокруг нас неведомых существ, предчувствуем, что странствие наше ведет нас к источнику света, перед которым глаза наши прозреют!

Я не мог дольше молчать.

— Итак, вы утверждаете, — обратился я к медику, — возможность влияния постороннего, чужого духа, начала, которому мы против своей воли вынуждены покоряться?

— Да, я полагаю, что такое влияние не только возможно, — подтвердил медик, — но и сходно с другими способами психического воздействия, которые проявляют себя через магнетическое состояние.

— Вы считаете, что и демонические силы могут иметь над нами власть?

— Прокказы падших духов? — улыбнулся медик. — Нет! Им мы не поддадимся. И вообще прошу мои высказывания принимать всего лишь как предположения, к которым я еще могу добавить, что отнюдь не признаю безусловной власти одного духовного начала над другим. Скорее, я готов допустить существование какой-то зависимости, слабости внутренней воли или некоего их взаимодействия.

— Вот теперь только, — вступил в разговор очень пожилой господин, который до сих пор молчал и только внимательно слушал, — теперь только я начинаю соглашаться с вашими странными суждениями о таинствах, которые от нас сокрыты. Ежели и существуют таинственные силы, угрожающие нам нападением, то в нашем духовном организме мы должны находить крепость и силу, способные эти нападения отразить. То есть только болезнь духа подчиняет нас злему началу.

Примечательно, что с самых древних времен из-за душевной неустойчивости люди подвержены влиянию демонических сил. Я имею в виду любовные заговоры, о которых так часто рассказывают старинные хроники. В магических действиях ведьм нередко присутствуют такие вещи, и далее в законах одного весьма просвещенного государства упоминается о любовных зельях, имеющих будто бы способность посредством психического влияния привораживать человека, вызывать в нем желание любви.

Разговор этот напомнил мне одно трагическое происшествие, случившееся недавно в моем собственном доме. В то время, когда Бонапарт наводил своими войсками нашу землю, на квартире у меня стоял полковник итальянской гвардии. Он относился к числу тех немногих офицеров так называемой великой армии, которые отличались тихим, скромным поведением. Лицо его было покрыто мертвенною бледностью, мрачные глаза говорили о болезненной, глубокой меланхолии. Однажды, когда я находился в его комнате, он вдруг со стоном схватился за грудь, будто ощутил сильнейшую боль. Не будучи в состоянии произнести ни слова, он упал на софу, потом взор его словно застыл, а сам он одеревенел и уподобился бездушной статуе. Спустя некоторое время он вздрогнул, как будто внезапно пробудился ото сна, и пришел в себя; но был так слаб, что еще долгое время не мог пошевелиться. Мой врач, которого я к нему прислал, безуспешно испробовав все известные медицинские средства, стал лечить его посредством магнетизма; похоже, это на него подействовало, но, к сожалению, врач вскоре вынужден был прекратить лечение, ибо, магнетизируя больного, сам почувствовал крайнее расстройство здоровья. Однако же он успел завоевать доверие полковника, и тот поведал ему, что во время подобных припадков ему является образ девушки, с которой он был знаком в Пизе; и тогда ему кажется, что ее пламенные взоры пронзают его сердце, вызывая невыносимую боль, которая терзает его до тех пор, пока он не погрузится в беспамятство. От этого состояния остается тупая головная боль и слабость во всех членах. Он никогда подробно не рассказывал об отношениях, в которых, быть может, находился с этой девицею.

Войска должны были выступить в поход, повозка полковника, уже уложенная, стояла у дверей, а сам он завтракал; и вдруг в ту самую минуту, когда он подносил ко рту стакан мадеры, он вдруг с глухим вскриком упал со стула замертво. Врачи нашли, что с ним сделался удар. Несколько недель спустя мне принесли письмо, адресованное полковнику. В надежде узнать что-либо о родственниках полковника, чтобы сообщить им о его внезапной кончине, я решился распечатать письмо. Оно было из Пизы и состояло всего из нескольких слов без подписи: "Несчастный! Сегодня, 7-го числа, ровно в полдень,

Антония, прижимая к себе свое вероломное изображение, скончалась!" Я посмотрел в календарь, в котором записал день смерти полковника, и обнаружил, что Антония и он умерли в один и тот же час. Я уже не слышал ни слова из того, что далее рассказывал старик, ибо вместе с ужасом, объявшим меня при мысли, что мое собственное положение сходно с положением полковника, во мне вспыхнуло такое непреодолимое влечение к таинственному предмету моих мечтаний, что я не мог более ему противиться, вскочил со стула, выбежал вон и помчался к роковому дому.

Издали мне показалось, что сквозь спущенные жалюзи мелькает свет, но когда я подошел ближе, он исчез. В исступлении неутолимой любви я с силой толкнул дверь; она отворилась, и я очутился в слабо освещенной передней. Меня обдало душным, спертым воздухом; сердце мое, охваченное тревогой и нетерпением, сильно билось; внезапно раздался протяжный, пронзительный женский крик, отозвавшийся во всем пустом доме, и я, сам не знаю каким образом, вдруг очутился в просторной, ярко освещенной множеством свечей зале, обставленной в старинном духе раззолоченной мебелью и украшенной причудливыми японскими вазами. Густое синее облако курящихся благовоний окутало меня.

— Здравствуй! Здравствуй, дорогой жених! Настал желанный час, пора к венцу! — женский голос звучал все громче, пока наконец не перешел в крик, и точно таким же непонятным для меня образом, как я оказался в зале, вдруг явилась передо мною из тумана, наполнявшего комнату, молодая, высокая женщина в богатых блестящих одеждах. Повторив еще раз пронзительным голосом: "Здравствуй, дорогой жених!" она двинулась ко мне, раскрыв объятия. И обманутые глаза мои увидели вместо прелестного лица желтое, искаженное старостью и безумием лицо. Потрясенный, объятый ужасом, я отступил назад. Будто загипнотизированный горящим взглядом гремучей змеи, я не мог ни отвести свой взор от жуткой старухи, ни сдвинуться с места. Она приблизилась, и тогда мне показалось, что ужасное лицо ее — всего лишь маска из прозрачной вуали, а сквозь нее просвечивают черты прелестного лица, являвшегося мне в зеркале. Я уже чувствовал прикосновение руки этой женщины, как вдруг она истошно вскрикнула и упала передо мной на пол, а сзади меня раздавался голос: — Эге-ге! Что, бес опять вселился в вас, сударыня? Прошу покорно убираться спать, спать, а не то я вас, сударыня, попотчую плетью!

Я обернулся и увидел старого управителя в одной рубашке, размахивающего большущей плетью. Он собрался ударить старуху, но я схватив его за руку, удерживая, он же отшвырнул меня и закричал:

— Прочь! Ежели бы я не подоспел вовремя, эта старая ведьма отправила бы вас на тот свет; извольте, сударь, скорее выйти вон, вон!

Я опрометью бросился из залы, тщетно стараясь найти в потемках дорогу к выходу. Тем временем в зале послышались удары плети и вопли старухи. Я хотел закричать, позвать на помощь, но вдруг остушился, упал, покотился вниз по лестнице и так сильно ударился об какую-то дверь, что она распахнулась и я очутился в маленькой комнатушке. Увидев измятую только что оставленную постель и лежащий на стуле коричневый спортук, я тотчас догадался, что это жилище старого управителя. Через несколько минут на лестнице раздались шаги, в комнату вбежал он сам и бросился мне в ноги. — Кто бы вы ни были, сударь, — пролепетал он жалобным голосом, — умоляю вас, ради всего святого, не говорите никому, что вы здесь видели, иначе я лишусь места и куска хлеба! Ее сумасшедшее превосходительство наказаны и теперь лежат связанные в постели. Дай Бог вам самого приятного сна. Да, да, сударь, идите почивать... Прощайте, спокойной ночи!

Произнеся это, старик вскочил, взял свечу, вывел меня из подвала, вытолкнул за дверь и накрепко запер ее за мною.

Я возвратился домой в полном смятении. Все эти события так потрясли меня, что в первые дни я не мог привести в порядок свои мысли. Помню только, что волшебное очарование утратило свою власть надо мной. Исчезла и болезненная тоска по прекрасному образу в зеркале, и вскоре я уже стал смотреть на все случившееся как на приключение в сумасшедшем доме. Не приходилось сомневаться — управитель выступал в роли старого надзирателя, приставленного к безумной женщине знатного происхождения, состояние которой скрывается от света; но как объяснить, почему зеркало... и вообще все прочие чудеса. Но далее, далее!

По прошествии некоторого времени я встретил на званом вечере графа П., который, отведя меня в сторону, спросил:

— Знаете ли вы, что тайна нашего пустого дома почти раскрыта?

Я весь обратился в слух; но едва граф начал свой рассказ, как распахнулась дверь в столовую и все направилось к столу. Погруженный в мысли о тайне, которую граф хотел раскрыть мне, я подал руку какой-то молодой даме, вовсе не глядя на нее, и машинально последовал за перемонной вереницей других гостей. Подводя свою даму к свободному стулу, я впервые посмотрел на нее — и увидел... увидел совершенное подобие таинственного образа, являвшегося мне в зеркале. Вы можете легко

представить себе, каково было мое изумление; однако же, уверяю вас, что в душе моей не возникло ни малейшего отзвука той неистовой страсти, которая рождалась во мне прежде, когда мое дыхание вызывало появление в зеркале чудесного образа. Должно быть, растерянность или даже страх весьма ясно отразились на моем лице, потому что девушка посмотрела на меня с таким удивлением, что я счел нужным, постаравшись взять себя в руки, объяснить ей, что если память меня не обманывает, то я имел счастье уже прежде с нею встречаться. Ответ ее был короток: это едва ли возможно, ибо она только вчера и впервые в жизни приехала в ***. Это совершенно обезоружило меня. Я умолк, и только ангельский взгляд прекрасных глаз девушки помог мне справиться с замешательством. Я сделался осторожным и стал внимательно к ней приглядываться. Она была приветлива, нежна, но в ней чувствовалось какое-то болезненное напряжение. Несколько раз, когда разговор оживлялся, и особенно когда я вставлял в него какую-нибудь шутку, она улыбалась, но и сквозь эту улыбку сквозила непонятная горечь.

— Вы, кажется, невеселы, сударыня; не утренний ли визит расстроил вас? — обратился к моей даме сидевший неподалеку офицер; но сосед его дернул за рукав и что-то шепнул на ухо, а дама на другой стороне стола с выступившим на щеках лихорадочным румянцем и тревожным блеском в глазах начала громко расхваливать прекрасную оперу, которую слушала в Париже.

У моей соседки вдруг навернулись на глаза слезы:

— Ну, не глупое ли я дитя! — сказала она, обращаясь ко мне.

— Обычное следствие головной боли, — отозвался я, поскольку прежде она уже жаловалась на мигрень, — против которой самое лучшее лекарство есть дух, присутствующий в пене этого поэтического напитка.

С этими словами я налил в ее бокал шампанского. Сначала она отказывалась, но потом выпила немного и взглядом поблагодарила меня за мое истолкование ее слез, которых она не в состоянии была долее скрывать. После этого она вроде бы несколько повеселела, и все пошло бы хорошо, ежели бы я не имел несчастья задеть бокал, издавший пронзительный, резкий звук. При этом звуке моя соседка побледнела как полотно, да и мое сердце внезапно затрепетало, ибо звук этот напомнил мне голос сумасшедшей старухи в пустом доме.

Когда пили кофе, я нашел повод приблизиться к графу П., и он тотчас понял, зачем.

— Знаете ли вы, — спросил он, — что вашей соседкой за столом была графиня Эдмонда З.? Известно ли вам, что в пустом доме уже много лет содержится взаперти сестра ее матери, которая одержима неизлечимым безумием? Сегодня утром обе они, мать и дочь, навестили несчастную. Старый управитель, единственный человек, который умеет справляться с графиней, когда у нее случаются припадки буйства и надзору которого она по этой причине была вверена, смертельно болен. Теперь, говорят, сестра ее решилась доверить эту семейную тайну известному доктору К., который хочет испробовать кое-какие средства, чтобы если и не восстановить полностью ее здоровье, то хотя бы избавить ее от тех буйных припадков, которые у нее иногда случаются. Больше я пока ничего не знаю.

К графу кто-то подошел, и наш разговор прервался. Доктор К. был тот самый врач, к которому я обращался, когда сам был в критическом состоянии. Само собой разумеется, что я не мешкая поспешил к нему, подробно рассказал обо всем, что со мной приключилось за последнее время, и стал просить его сообщить мне все, что он знает о сумасшедшей старухе. Взяв с меня обещание строго хранить тайну, доктор пошел мне навстречу и поведал следующее:

— Ангелика, графиня фон Ц., — начал доктор, — имела *уже* около тридцати лет от роду, находилась еще в полном расцвете необыкновенной красоты, когда граф фон З., увидел ее в *** при дворе и так пленился ею, что тут же решил просить ее руки, несмотря на то, что был гораздо моложе ее. Когда же графиня уехала на лето в поместье своего отца, он последовал за ней, с тем чтобы открыть старому графу свои намерения, которые, судя по обхождению с ним Ангелики, были отнюдь не безнадежны. Но едва граф З. приехал в поместье, едва увидел он младшую сестру Ангелики Габриелу, как очарование Ангелики померкло для него. В сравнении с Габриелей она показалась ему жалким, поблекшим цветком. Прелести и красота младшей сестры увлекли графа. Он забыл Ангелику и стал просить у старого графа руки Габриелы. Граф принял это предложение тем охотнее, что заметил склонность Габриелы к графу З. Ангелика не выказала ни малейшего сожаления по поводу неверности своего поклонника.

"Он думает, что это он оставил меня. Глупый мальчик! Он и не подозревает, что был всего лишь моей игрушкой, которая мне надоела!" — с высокомерной досадой говорила она и всем своим поведением демонстрировала, что презирает неверного. Впрочем, когда была объявлена помолвка графа З. с Габриелой, Ангелика стала очень редко показываться на людях. Она никогда не выходила к столу и, говорили, бродила в одиночестве в ближней роще, которую давно избрала местом своих прогулок.

Странное происшествие нарушило однообразное спокойствие, царившее в замке. Егери графа Ц., призвав себе в помощь крестьян, поймали шайку цыган, которых обвиняли в поджогах и разбоях, с некоторых пор весьма часто случавшихся в той стороне. Людей этих — мужчин и женщин — привезли во двор замка всех вместе на повозке, скованных одной цепью. Некоторые из них имели вид отъявленных разбойников и озирались по сторонам дикими, звериными глазами, подобно плененным тиграм; более всех бросалась в глаза высокая, худошавая, ужасающего вида женщина, закутанная с ног до головы в шаль кровавого цвета, которая, стоя во весь рост на повозке, повелительным голосом требовала, чтобы ее спустили на землю, что и было исполнено. Граф Ц. вышел во двор замка и приказал по отдельности запереть разбойников в подземельях замка, чтобы потом переправить их в тюрьмы, как вдруг выбежала графиня Ангелика, бледная, с искаженным отчаянием лицом, и, бросившись перед ним на колени, пронзительно закричала: — Батюшка! Освободите этих людей! Отпустите их — они невинны! Если прольется хоть одна капля их крови, то я вонжу этот нож себе в грудь!

Графиня взмахнула блестящим ножом и упала без чувств на землю.

— Я знала, милая, золотая моя куколка, я знала, что ты не допустишь, чтобы с нами так поступили,— просипела старуха, села на корточки перед графиней и стала покрывать омерзительными поцелуями ее лицо и грудь, бормоча:

— Проснись, дочка, проснись! Жених идет, красивый, статный женишок.

После этого старуха вытащила из кармана склянку с жидкостью, похожей на чистый спирт, в которой плескалась маленькая золотая рыбка. Склянку эту она приложила к сердцу графини, и та тотчас же очнулась и, увидев цыганку, бросилась к ней на шею, стала горячо обнимать ее, а потом торопливо удалилась вместе с ней в замок. Граф Ц., Габриела и ее жених, которые тоже вышли во двор, застыли на месте и с ужасом наблюдали эту сцену. Цыгане же оставались все это время совершенно равнодушными и безо всякого сопротивления позволили увести себя в темницу.

На другое утро граф собрал всех своих людей, велел вывести цыган и громогласно объявил, что они не повинны ни в одном из совершившихся в этих местах разбоев и что он дозволяет им свободно покинуть его владения; после чего с цыган сняли оковы и, ко всеобщему удивлению, даже снабдили их паспортами. Женщины в красной шали среди них не было. Носились слухи, что цыганский атаман, которого легко можно было узнать по золотой цепочке на шее и красному перу на шляпе с загнутыми на испанский манер полями, был ночью в комнате у графа. Некоторое время спустя было достоверно доказано, что цыгане действительно не участвовали в грабежах и разбоях.

Между тем приближалась свадьба Габриелы. Однажды она с удивлением увидела, что из ворот замка выехало несколько повозок, груженных мебелью, платьем, бельем; одним словом, всем, что необходимо для устройства дома. На следующее утро она узнала, что Ангелика, в сопровождении камердинера графа З. и закутанной с ног до головы женщины, весьма походившей на старую цыганку, ночью отбыла из замка. Граф Ц. прояснил эту загадку, объявив, что по некоторым причинам он счел нужным согласиться со странным желанием Ангелики и подарил ей дом в ***, позволив жить совершенно независимо от него и самостоятельно вести хозяйство. Он сказал также, что она взяла с него обещание, чтобы никто из их семьи, не исключая и его самого, не переступал порог дома без ее особого позволения. Граф Ц. прибавил к этому, что по настоятельной просьбе Ангелики он отпустил с нею в *** своего камердинера.

Свадьба состоялась, граф З. уехал с молодой супругой в Д*, и целый год они прожили в ничем не омраченном благополучии. Но потом граф стал очень часто хворать. Казалось, что какая-то тайная боль подтачивала его и делала равнодушным ко всем земным радостям. Все старания супруги вырвать у него эту тайну оставались тщетными. Наконец, частые обмороки, угрожавшие его здоровью и жизни, заставили его послушаться советов врачей и отправиться в Пизу. Габриела не могла поехать вместе с ним по той причине, что была беременна; через несколько недель после отъезда графа она сделалась матерью. С этого момента, продолжал доктор, рассказ графини Габриелы фон З. становится столь противоречивым, что надобно иметь большую проницательность, чтобы увязать между собой все дальнейшие происшествия.

Ребенок ее, девочка, вдруг непонятным образом исчезает из колыбели, и все попытки отыскать ее остаются напрасными. Неутешное горе графини доводит ее почти до отчаяния, и в это же самое время она получает от графа Ц. письмо с ужасным известием, что зять его вовсе не ездил в Пизу, но жил в доме Ангелики в ***, где и скончался от апоплексического удара; что Ангелика впала в безумие и что сам он, вероятно, не переживет всех этих несчастий.

Как только Габриела несколько оправилась, она уехала в поместье отца. В одну из бессонных ночей, когда она думала об утраченном супруге и утраченной дочери, ей вдруг почудился за дверью спальни тихий плач ребенка; собравшись с духом, она взяла свечу, зажгла ее от ночника и вышла из спальни.

Великий Боже! У дверей на корточках сидит старая цыганка, завернувшись в красную шаль, и смотрит на нее неподвижными, омертвелыми глазами, держа на руках ребенка, жалобный плач которого пронзает сердце графини. Это ее дитя! Это потерянная дочь ее! Она с силой выхватывает ребенка из рук цыганки, и та, подобно бездушной кукле, падает на землю. Графиня, пораженная ужасом, кричит, все в доме просыпается, сбегаются люди и находят женщину мертвой. Никакие усилия не помогают, и граф приказывает похоронить ее. После этого не остается иного пути, как ехать в *** к безумной Ангелике, чтобы, может быть, там прояснить тайну, связанную с ребенком.

Между тем в *** произошли большие перемены. Все слуги, напуганные приступами дикого помешательства у Ангелики, разбежались, остался только один камердинер. Теперь, напротив, Ангелика сделалась тиха и спокойна. Когда граф стал рассказывать историю с ребенком, она всплеснула руками и захохотала:

— Вы говорите правду? Значит, малютка доставлена вам? Вы похоронили ее? А! Похоронили? Никак встрепенулся фазан с золотыми перышками! А о зеленом слоне с голубыми огненными глазами вы ничего не слышали?

С ужасом видит граф, что к Ангелике вернулось помешательство, с содроганием замечает, что черты ее лица страшно изменились и приобрели большое сходство с цыганкой; он намеревается увезти несчастную дочь в свое поместье, но старый камердинер не советует ему делать это; и действительно, едва начинаются приготовления к отъезду, как Ангелика приходит в неистовство и бешенство.

В минуты просветления она с горькими слезами умоляет отца позволить ей окончить свои дни в этом доме. Граф, глубоко растроганный, соглашается, хотя признание, которое вырывается у нее, принимает за признак возвратившегося безумия, Ангелика открывает ему, что граф З. вернулся в ее объятия и что дитя, принесенное цыганкой в дом графа Ц., есть плод этой связи.

Все полагали, что граф Ц. увез несчастную в свое поместье, между тем как она скрывается здесь, в опустевшем доме, под присмотром старого камердинера, В скором времени граф Ц. умер, и графиня Габриела З. приехала сюда вместе с Эдмондой, чтобы уладить некоторые семейные дела. Она не могла удержаться, чтобы не навестить свою бедную сестру. Надо полагать, что во время этого посещения произошло нечто чрезвычайное; однако графиня лишь весьма коротко упомянула о том, что необходимо освободить несчастную из-под надзора старого камердинера. Впоследствии я узнал, что однажды он весьма жестоко обошелся с Ангеликой, пытаясь справиться с приступом безумия, а она, чтобы задобрить его, выдумала, что умеет извлекать золото; старик поддался этому обману, раздобыл все необходимое, и они вместе занялись алхимическими опытами.

— Излишне было бы, — сказал врач в заключение своего повествования, — указывать вам на таинственную связь всех этих событий. Я не сомневаюсь, что вы ускорили развязку, которая принесет старухе или скорое выздоровление, или скорую смерть. Впрочем, теперь я могу признаться вам, что я испытал немалый ужас, когда, установив с вами магнетическую связь, увидел так же, как и вы, изображение в зеркале. Теперь мы оба знаем, что эта была Эдмонда.

Точно так же, как врач не счел нужным вдаваться в дальнейшие объяснения того, в каком таинственном взаимодействии находились между собой Ангелика, Эдмонда, я и старый камердинер, не буду распространяться об этом и я. Прибавлю только, что после всех этих приключений какое-то непостижимо горестное и гнетущее чувство заставило меня уехать из столицы. Я полагаю, что старуха умерла в то самое время, когда однажды меня вдруг охватило необыкновенное спокойствие и блаженство.

Так окончил Теодор свой рассказ. Друзья долго еще обсуждали его приключения и сошлись на том, что в них самым загадочным образом переплелись *чуждое и чудесное*. Уходя, Франц взял Теодора за руку и пожимаемая им сказал, почти с раскаянием:

— Спокойной ночи, спаланцаниева летучая мышь!

МАЙОРАТ

Неподалеку от остзейского побережья стоит родовой замок баронов фон Р., носящий название Р-зиттен. Окрестности замка пустынны и дики, кое-где из сыпучих песков торчит травянистый пригорок, и вместо парка, какой бывает обыкновенно в дворянских поместьях, к голым стенам замка со стороны берега примыкает жалкий еловый лес, вечный траур которого пренебрегает пестрым веселым нарядом; в этом лесу вместо веселого ликования проснувшихся к новой радости птиц раздастся только печальное карканье ворон и пронзительный крик чаек, предвещающих бурю. За четверть часа ходьбы от этого места природа внезапно меняется. Точно по мановению волшебного

жезла переносишься вдруг в цветущие луга, роскошные поля и долины. Перед глазами вырастает большая богатая деревня с просторным домом управляющего имением. На опушке приветливой ольховой рощи виднеется фундамент большого замка, который намеревался построить один из прежних владельцев. Но его наследники, жившие в своих курляндских имениях, забросили эту стройку, барон Родерих фон Р., который возвратился в родовое поместье, тоже не пожелал продолжать ее, ибо его мрачному, нелюдимому нраву более отвечал старый, одиноко стоящий замок. Он велел подправить, насколько это возможно, ветхое строение и уединился в нем с угрюмым домоправителем и небольшим количеством слуг. Его редко можно было видеть в деревне, но зато он часто бродил и ездил верхом по берегу моря, и издали можно было видеть, как он разговаривает с волнами, прислушиваясь к их реву и рокоту, будто слышал ответный голос духа моря. На самом верху сторожевой башни он устроил себе кабинет и поставил там подзорную трубу с набором астрономических инструментов. Днем он направлял ее на море и смотрел на корабли, часто появлявшиеся на дальнем горизонте, подобно белокрылым птицам. Звездные ночи он посвящал астрономическим или, как утверждала молва, астрологическим занятиям, в чем ему помогал старый дворецкий. Вообще, еще при жизни барона сложилась легенда, что он предавался тайной науке — так называемой черной магии — и что некая неудавшаяся операция, сильно повредившая одному знатному княжескому роду, вынудила его оставить Курляндию. Малейшее напоминание о жизни там приводило его в ужас, однако во всем плохом, что приключилось с ним в жизни, он винил предков, забросивших родовой замок. И дабы хотя бы на будущее привязать главу фамилии к родовому имени, он установил майорат. Владетельный государь тем охотнее согласился на это, что таким образом отечество вновь приобретало известный рыцарскими добродетелями род, ветви которого уже укоренились в чужих землях.

Между тем не только сын Родериха, Губерт, но и нынешний владетель майората, которого звали так же, как и его деда, Родерихом, не пожелали остаться в родовом замке и жили в Курляндии. Видимо, отличаясь более веселым и живым нравом, чем их мрачный предок, они страдались печальной пустынности этих мест. У барона Родериха были две старые незамужние тетки, сестры его отца, жившие на скудные средства и получающие кров и содержание в имении. Они поселились со старой служанкой в маленьких теплых комнатках бокового флигеля, и кроме них да повара, занимавшего большую комнату в нижнем этаже возле кухни, по высоким покоям и залам главного здания бродил только старый егерь, выступающий одновременно в качестве кастеляна. Остальные слуги жили в деревне. Только поздней осенью, когда выпадал первый снег и устраивалась охота на волков и кабанов, заброшенный замок оживал. Приезжал из Курляндии барон Родерих со своей женой, в сопровождении родственников, друзей и многочисленной охотничьей свиты. Являлись все соседние дворяне и даже любители охоты из ближайшего города: главное здание и флигели едва могли вместить всех гостей, во всех печках и каминах трещал огонь, с раннего утра до поздней ночи вращались вертела, вверх и вниз по лестницам сновали сотни веселых людей, господ и слуг; там звенели бокалы и раздавались бодрые охотничьи песни, здесь слышался топот танцующих под громкую музыку; повсюду ликование и смех, и так от четырех до шести недель крыду замок более походил на роскошную гостиницу, стоявшую у оживленной проезжей дороги, чем на жилище помещика. Барон Родерих посвящал это время, насколько это было возможно, серьезным делам и, удалившись от шумных гостей, исполнял обязанности владельца майората. Он не только просматривал все счета, но и выслушивал всякие предложения, касающиеся каких бы то ни было улучшений, а также малейшие жалобы своих подданных, стараясь все привести в порядок и по мере возможности помочь всякому обиженному и восстановить справедливость. В этом ему добросовестно помогал старый адвокат Ф., поверенный в делах фамилии Р., перешедший по наследству от отца к сыну. Он, как правило, приезжал в майорат за восемь дней до прибытия барона.

В 179... году пришло время старику ф. ехать в замок Р. Как ни бодро он чувствовал себя для своих семидесяти лет, но все же, вероятно, полагал, что рука помощи будет для него не бесполезна.

Однажды он сказал мне как будто бы в шутку:

— Тезка! (так звал он меня, своего внучатого племянника, носившего одно с ним имя). Мне кажется, что хорошо бы тебе подышать морским воздухом и поехать со мной в Р-зиттен. Ты мог бы помочь мне в некоторых хлопотных делах, а кроме того, попробуешь дикой охотничьей жизни: одним утром напишешь хорошенький протокол, а на другое взглянешь в горящие глаза такому зверю, как косматый, свирепый волк или клыкастый кабан, а то и уложишь его метким выстрелом.

Я столько всего насыщался про веселое охотничье время в Р-зиттене и так от всей души любил старого милого дядю, что был чрезвычайно рад, что он берет меня с собой. Имея неплохой опыт в тех делах, которыми он занимался, я обещал быть прилежным и избавлять его от всех трудов и забот.

На другой день, завернувшись в теплые шубы, мы сидели в экипаже и ехали в Р-зиттен по снежным сугробам, обозначившим наступление зимы. Дорогой старик рассказывал мне немало удивительных вещей про барона Родериха, который учредил майорат и назначил моего дядю, несмотря на его молодость, своим душеприказчиком и юстициарием. Он говорил о диком, суровом нраве старого барона, вероятно, присущем всему семейству, судя по тому, что даже нынешний владелец майората, которого мой дядя знал еще кротким, мягкосердечным юношей, с каждым годом становился все более угрюмым. Ты должен держаться смело и непринужденно, если хочешь что-то значить в глазах барона, наставлял он меня, а затем перешел к покоям в замке, которые он раз и навсегда выбрал для себя, ибо в них было тепло, удобно и в меру отдаленно, так что мы при желании всегда сможем удалиться от утомительного шума веселящейся компании. Его резиденция была всегда наготове и располагалась в двух небольших, устланных теплыми коврами комнатках рядом с большой залой суда в боковом флигеле против флигеля, где жили старые барыни.

После недолгого, но утомительного путешествия мы поздней ночью приехали в Р-зиттен. Мы проезжали через деревню. Было как раз воскресенье, из корчмы слышались веселые голоса и плясовая музыка, дом управляющего был освещен сверху донизу, там тоже раздавались музыка и пение. Тем более неприятной показалась мне пустынная местность, в которую мы вскоре въехали. Морской ветер завывал резкими, унылыми голосами, и мрачные ели глухо и жалобно стонали, словно жалуясь, что ветер разбудил их от глубокого зачарованного сна. Голые черные стены замка резко выделялись на фоне заснеженной земли. Мы остановились перед запертыми воротами. Тщетно кучер наш звал, хлопал бичом и стучал в ворота — вокруг все будто вымерло, ни одно окно не светилось. Старый дядя пустил в ход свой мощный голос:

— Франц! Франц! — кричал он. — Куда ты запропастился? Поворачивайся, черт возьми! Мы мерзнем у ворот! Снег совсем нас засыпал, да шевелись же, дьявол бы тебя побрал!

Тут начала визжать собака, в нижнем этаже показался колеблющийся свет, загремели ключи, и скоро заскрипели ворота.

— Милости просим! Милости просим, господин стряпчий! Какова погодка! — восклицал старый Франц, высоко держа фонарь, так что свет падал прямо на его морщинистое лицо, странно скривившееся в приветливой улыбке. Экипаж въехал во двор, мы вылезли, и только теперь я разглядел странную фигуру слуги, закутанного в старомодную, широкую егерскую ливрею со множеством затейливых шнурков. Над его широким, белым лбом торчали два седых завитка, на щеках играл здоровый румянец охотника, и хотя напряженные мускулы превращали лицо в какую-то чудную маску, все сглаживалось немного глуповатым добродушием, светившимся в глазах и игравшим в улыбке.

— Ну, старина Франц, — заговорил дядя, отряхиваясь в передней от снега, — все ли готово? Выбывали ли ковры из моих комнат? Принесены ли постели? Топили ли вчера и сегодня?

— Нет, — отвечал Франц совершенно невозмутимо, — нет, почтеннейший господин стряпчий, ничего этого не сделано.

— Ах, Боже мой! — возмутился дядя, — я, кажется, заранее написал, я ведь всегда приезжаю в назначенный день; ведь это преглупо, что я должен жить теперь в промерзлых комнатах!

— Да, почтеннейший господин стряпчий, — согласился Франц, осторожно снимая нагар со свечи и затаптывая его ногой, — однако все это, видите ли, не очень бы помогло, особенно топка, потому что ветер и снег слишком уж расходились с тех пор, как разбиты окна.

— Что?! — перебил дядя, широко растопыривая шубу и подбоченясь обеими руками, — в доме разбиты окна? А куда же смотришь ты, кастелян?

— Да, почтеннейший господин стряпчий, — спокойно и неторопливо продолжал старик, — ничего не поделаешь, очень уж много в комнатах мусору и камней.

— Тьфу ты, черт возьми! Да откуда же в комнатах мусор и камни? — воскликнул дядя.

— Позвольте пожелать вам доброго здравия, молодой барин, — обратился ко мне старик с учтивым поклоном, ибо я чихнул, и добавил: — Это камни и известка от средней стены, той, что обвалилась.

— Да что у вас было землетрясение? — сердито проворчал дядя.

— Этого не было, почтеннейший господин стряпчий, — ответил Франц, улыбаясь во весь рот, — но три дня назад в судейской зале со страшным шумом обрушился тяжелый штучный потолок.

— А, чтоб... — тут мой вспыльчивый и горячий дядя хотел вернуть крепкое словцо, но, поднявши правую руку вверх, а левой стаскивая с головы лисьью шапку, он вдруг остановился, повернулся ко мне и сказал с громким смехом: — Очевидно, тезка, нам лучше держать язык за зубами и более ни о чем не спрашивать, а не то узнаем о еще худшей напасти или весь замок обрушится на наши головы.

Но, — продолжал он, обращаясь к старику, — не будешь ли ты так добр, Франц, чтобы велеть убрать и

протошить для меня другую комнату? И нельзя ли поскорее приготовить ко дню суда какое-нибудь другое помещение?

— Да все уже сделано,— сказал старик, приветливо указывая в сторону лестницы, и сейчас же начал по ней подниматься.

— Каков чудак! — воскликнул дядя, и мы последовали за старым слугой.

Мы проходили по длинным коридорам с высокими сводами, и колеблющийся пламень свечи, которую нес Франц, отбрасывал зыбкий свет, прорезающий густой мрак. Колонны, капители и пестрые арки выступали вдруг из темноты и словно парили в воздухе, наши исполинские тени скользили по картинам на стенах, и эти странные картины, казалось, вздрагивали и шептали в такт нашим шагам: "Не тревожьте нас! Не будите волшебный огонь, что спит в этих старых камнях!"

Когда мы прошли длинный ряд холодных, мрачных покоев, Франц открыл наконец дверь в залу, где пылал в камине яркий огонь, приветствуя нас своим веселым треском.

Как только я вошел туда, у меня сразу стало тепло на душе, но старый дядя остановился посреди залы, огляделся и сказал очень серьезным, почти торжественным тоном:

— Так, значит, здесь будет судейская зала? Франц высоко поднял свечу, так что мне бросилось в глаза светлое пятно величиною в дверь, выделяющееся на темной стене, и произнес глухим, исполненным скорби голосом:

— Здесь ведь однажды уже был свершен суд!

— Что с тобой, старик? — воскликнул дядя, поспешно сбрасывая шубу и подходя к камину.

— Это я так, не обращайтесь внимания,— пробормотал Франц, зажег свечи и открыл соседнюю комнату, которая была уютно устроена к нашему приезду. Вскоре перед камином уже стоял накрытый стол, старик принес отлично приготовленные блюда, за которыми последовала чаша с пуншем, сваренным так, как это умеют делать только на севере, что весьма нас порадовало.

Утомленный путешествием, мой старый дядя после ужина тотчас же улегся в постель; меня же новизна впечатлений, необычная обстановка и пунш слишком возбудили, чтобы я мог думать о сне. Франц убрал со стола, помешал угли в камине и, приветливо поклонившись, удалился.

Я остался один в высокой, просторной рыцарской зале. Метель улеглась, ветер перестал свирепствовать, небо прояснилось, и яркая полная луна светила в широкие сводчатые окна, озаряя волшебным светом все углы этой старинной комнаты, которых не достигал ни скудный свет моих свечей, ни огонь камина. Как бывает еще в старых замках, стены и потолки залы были украшены на старинный лад — тяжелыми панелями, фантазмагорическими рисунками и пестро раскрашенной, золоченой резьбой. На больших картинах, изображавших по большей части сцены из медвежьей и волчьей охоты, выделялись деревянные головы зверей и людей, приставленные к написанным красками телам, и в зыбких, изменчивых отблесках огня и ярком свете луны все это пугающе оживало. Между этими картинами были помещены написанные в натуральную величину портреты рыцарей, выступающих в охотничьих нарядах, вероятно, предки владельцев замка, любившие охоту. И живопись, и резьба сильно потемнели от времени, тем более приковывало взгляд светлое пятно на той стене, где были две двери, ведущие в соседние покои; вскоре я рассмотрел, что там, верно, тоже была дверь, которую потом заложили, и это место, не украшенное ни росписью, ни резьбой, заметно выделялось на общем фоне.

Кто не знает, как сильно и таинственно влияет на наш дух непривычная, загадочная обстановка: самое ленивое воображение просыпается в долине, окруженной причудливыми скалами, в мрачных стенах церкви и тому подобных местах и способно прозревать невиданное. Если я прибавлю к этому, что мне было всего двадцать лет и я выпил не один стакан крепкого пунша, то мне легко поверят, что в этой рыцарской зале я чувствовал себя непривычно тревожно. Представьте себе ночную тишину, в которой глухой рокот моря и странный свист ветра раздаются подобно звукам могучего органа, на котором играют духи, представьте блестящие, светлые облака, которые, проносясь мимо, заглядывают, как сказочные великаны, в гулки сводчатые окна, — право, трепетная дрожь, которая меня прорбирала, должна была предвещать, что предо мной может открыться чуждый, неведомый мир. Но чувство это походило на холодок, который пробегает по коже при живо рассказанной истории о привидениях и который ощущаешь не без удовольствия. Тут мне пришло в голову, что я нахожусь в самом подходящем настроении, для того чтобы читать книгу, которую в то время носил в кармане всякий, кто был хоть сколько-нибудь склонен к романтизму. Это был Шиллеров "Духовидец". Я читал и читал, и воображение мое все больше разгоралось. Я дошел до наиболее захватывающего рассказа о свадебном празднике у графа фон Ф.

И вдруг как раз в тот момент, когда появляется кровавый призрак Джеронимо, с сильнейшим стуком хлопнула дверь, ведущая в переднюю.

Я в ужасе вскочил, уронив книгу; но все стихло, и я устыдился своего детского страха.

Может быть, дверь распахнулась от порыва ветра или по какой-нибудь иной причине. Ничего тут нет — это мое разыгравшееся воображение превращает в призрак всякое естественное явление. Успокоив себя таким образом, я поднимаю с пола книгу и снова падаю в кресло, но тут в зале раздаются тихие, размеренные, медленные шаги, и при этом кто-то издыхает и стонет, и эти вздохи и стоны выражают глубочайшее страдание, безутешное горе.

А! Это, верно, какое-нибудь больное животное бродит по нижнему этажу. Всем известно, как обманчивы ночные звуки: раздающиеся вдали, они кажутся такими близкими. Кто же станет тревожиться из-за таких пустяков!

Так я продолжал успокаивать себя, но тут в том месте, где когда-то была дверь, послышалось царапанье, причем раздавались еще более громкие и более тяжелые вздохи, как бы исторгаемые смертельной тоской.

"Да это какой-нибудь несчастный зверь, которого заперли, вот сейчас я громко крикну, топну ногой, и тогда все немедленно смолкнет или зверь отзовется более естественными звуками".

Так я внушал себе, но кровь стыла в моих жилах и холодный пот выступил на лбу, я застыл в оцепенении, не в силах встать с места и еще менее того закричать. Наконец отвратительное царапанье прекратилось, и снова раздались шаги. Во мне пробуждаются жизнь и движение, я вскакиваю и ступаю два шага вперед, но тут по зале пронесется ледяной порыв ветра, и в ту же минуту месяц бросает свой яркий свет на портрет сурового, почти страшного человека, и мне кажется, что сквозь пронзительный свист ночного ветра и оглушительный шум волн я отчетливо слышу его предостерегающий шепот:

"Не ходи дальше! Остановись! Там ожидают тебя ужасы мира духов!"

И вот опять с силой хлопает дверь, и я ясно различаю шаги в передней; кто-то спускается по лестнице, главная дверь замка с шумом распахивается и захлопывается. Потом я слышу, как из конюшни выводят лошадь, а немного погодя заводят обратно, и вновь все смолкает. В ту же минуту я услышал, что мой старый дядя стонет и вздыхает в соседней комнате. Это тотчас же меня отрезвило, я схватил свечи и поспешил к нему. Старик, по-видимому, боролся с каким-то тяжелым, тягостным сном. "Проснитесь! Проснитесь!" — повторял я, осторожно беря его за руку и держа свечу прямо над его лицом. Старик пошевелился с глухим восклицанием, потом открыл глаза, ласково на меня взглянул и проговорил:

— Ты хорошо сделал, тезка, что разбудил меня, я видел очень дурной сон, в том повинны эта комната и зала, потому что все это навело меня на мысли о давно минувших временах и разных удивительных вещах, которые здесь случались. Ну, а теперь мы будем отлично спать!

С этими словами он повернулся к стене и, казалось, тотчас же заснул, но когда я потушил свечи и лег в постель, то услышал, что он тихонько молится.

На другой день началась работа: пришел управляющий со счетами, заявили о себе разные люди, желавшие разрешить какой-либо спор или кое-что уладить. В полдень дядя отправился со мной во флигель, чтобы по всем правилам представиться старым баронессам. Франц доложил о нас, мы подождали несколько минут, после чего шестидесятилетняя сгорбленная старушонка, одетая в пестрые шелка и назвавшая себя камеристкой достойнейших барынь, ввела нас в святилище. Там нас с комичной церемонностью приняли две старые дамы, диковинно разодетые по очень старинной моде; моя особа возбудила необычайное удивление, когда дядя с большим юмором представил меня как молодого юриста, помогающего ему в делах. По их мианам было видно, что они опасаются, как бы моя молодость не повредила благу владельцев Р-зиттена. В нашем посещении старых дам вообще было немало забавного, однако в душе моей еще остался холодок пережитого предыдущей ночью ужаса, я чувствовал себя так, словно меня коснулась какая-то неведомая сила, или, вернее, так, будто мне оставалось сделать всего один шаг до черты, переступив которую, я бы безвозвратно погиб, и нужно напрячь все силы, чтобы спастись от этого ужаса, за которым следует безумие. Поэтому даже старые баронессы с их удивительными прическами, вздымающимися в виде башен, и диковинными платьями из штофа, разукрашенными пестрыми цветами и лентами, представлялись мне отнюдь не смешными, а какими-то тревожно-призрачными. Их желтые, сморщенные лица с моргающими глазами, плохой французский, которым шамкали их поджатые синие губы и гнусавили острые носы, — все говорило мне о том, что эти старухи на короткой ноге с привидением, бродившим по замку, а возможно, и сами способны сделать что-то ужасное. Мой старый дядя, охотник до всяческого веселья, подшучивал над старухами, сбивая их с толку такими забавными речами, что, будь я в другом настроении, то просто не знал бы, как удержаться от смеха, но, как я уже сказал, баронессы со всей их болтовней казались мне призрачными химерами, так что старик, рассчитывавший меня повеселить, поглядывал на меня с большим удивлением. Как только мы очутились за столом в своей уединенной комнате, он разразился вопросами:

— Скажи мне, ради Бога, тетка, да что с тобой?! Ты не смеешься, не говоришь, не ешь, не пьешь. Уж не болен ЛИ ТЫ?

Я откровенно рассказал ему про все страхи, пережитые мною прошедшей ночью, не умолчав о том, что выпил много пуншу и читал Шиллера "Духовидца".

— Я должен в этом признаться,— прибавил я,— потому что, может быть, это моя разгоряченная фантазия создала эти призраки, существующие лишь в моей голове.

Я думал, что дядя начнет донимать меня своими шутками по поводу моего духовидства, но он вместо этого сделался очень серьезен, уставился в пол, потом быстро вскинул голову и сказал, устремив на меня горящий взор:

— Я не знаю твоей книги, тетка, но ни книга, ни пунш здесь ни при чем. Знай же, что то же самое я видел во сне. Мне снилось, что я сижу в кресле у камина, но то, что коснулось тебя лишь в звуках, я ясно увидел глазами своей души. Да, я видел, как вошел этот страшный призрак, как он бессильно ломился в замурованную дверь, царапал в отчаянии стену, так что кровь текла у него из-под сломанных ногтей, как потом сошел вниз, вывел из конюшни лошадь и опять завел ее туда. Слышал ли ты, как пропел петух в дальнем конце деревни? Тут ты разбудил меня, и мрачный призрак ужасного человека, который все еще бросает угрюмую тень на нашу жизнь, гася ее веселье, ретировался,— я поборол это злое наваждение.

Старик умолк, но я не смел нарушить его молчания, полагая, что он все объяснит мне сам, если найдет это нужным. Пробыв некоторое время в глубокой задумчивости, он продолжал:

— Скажи мне, тетка, хватит ли у тебя мужества еще раз встретиться с этим призраком и сделать это вместе со мной?

Конечно, я заявил, что чувствую себя для этого достаточно сильным.

— В таком случае,— сказал мой дядя,— в эту ночь мы оба не сомкнем глаз. Внутренний голос говорит мне, что мрачный призрак покорится не столько моей духовной силе, сколько мужеству, основанному на твердом убеждении, что с моей стороны это не будет просто дерзостью, а только благим и отважным делом, и я не пощажу жизни, чтобы расправиться с колдуном, изгоняющим потомков из замка их предков. Но, впрочем, о риске здесь нет и речи, ибо при таком честном умысле, с такой благочестивой верой, как у меня, нужно надеяться только на победу. Однако если будет на то воля Божья и темная сила одолеет меня, ты засвидетельствуешь, что я пал в честной христианской битве с адским духом, который затеял ужасное дело! Сам же ты должен держаться в стороне! С тобой ничего не случится!

Вечер прошел в различных занятиях. Франц, как и накануне, принес нам ужин и пунш, полная луна ярко сверкала между блестящими облаками, море шумело, и ночной ветер с воем потрясал дребезжащие стекла сводчатых окон. Мы старались говорить на нейтральные темы, хотя в душе были сильно взволнованы. Старик положил на стол свои часы с репетицией. Пробило полночь. И вот со страшным стуком распахнулась дверь и, как вчера, послышались тихие, медленные шаги, вздохи и стоны. Старик побледнел, но глаза его сверкали небывалым огнем, он поднялся с кресла и стоял, вытянувшись во весь свой высокий рост, подбоченясь левой рукою и протянув правую по направлению к центру залы, подобный повелевающему герою. Все сильнее и явственнее становились вздохи, и кто-то начал царапаться в стену еще ужаснее, чем накануне. Тогда старик направился прямо к замурованной двери, сотрясая пол своими твердыми шагами. Прямо против того места, где раздавалось все более отчаянное царапанье, он остановился и промолвил сильным, торжественным голосом, какого я еще никогда от него не слышал:

— Даниэль! Даниэль! Что делаешь ты здесь в такой час?

Раздался душераздирающий, пронзительный крик, и послышался глухой удар, точно от падения чего-то тяжелого.

— Ищи милосердия у престола Всевышнего! Там твое место! Удались из этого мира, ты никогда больше не сможешь ему принадлежать!

Так воскликнул старик еще громче, чем прежде, и тогда до нас донеслось тихое рыдание, которое поглотил рев поднимающейся бури. Старик подошел к двери и захлопнул ее с такой силой, что в пустой передней отозвалось эхо. В его словах и движениях было что-то сверхчеловеческое, что повергло меня в глубочайший трепет. Когда он снова опустился в кресло, взор его как будто просветлел, он сложил руки и беззвучно молился. Так прошло несколько долгих минут, а потом он спросил меня тем кротким, проникающим в душу голосом, которым так хорошо умел пользоваться:

— Ну что, тетка?

Потрясенный ужасом, страхом, благоговением и любовью, я упал на колени и оросил горячими слезами протянутую мне руку. Старик обнял меня и, нежно прижимая к сердцу, сказал очень мягко:

— Ну, а теперь мы будем спокойно спать, милый тетка!

Так и было, а поскольку следующей ночью не случилось ничего необычайного, то к нам вернулась прежняя веселость к неудовольствию старых баронесс, которые, хотя и было в них нечто призрачное благодаря причудливому виду, однако ж располагали к забавным играм и проделкам, которые мой старик умел обставить самым веселым образом.

Через несколько дней прибыл, наконец, барон со своей женой и многочисленной охотничьей свитой, съехались гости, и во внезапно ожившем замке началась та самая шумная, беспокойная жизнь, о которой я уже упоминал. Когда сразу же по приезде барон вошел в нашу залу, он был, похоже, странно поражен переменой нашего местонахождения; бросив мрачный взгляд на замурованную дверь, он быстро отвернулся и провел рукой по лбу, словно отгоняя недоброе воспоминание. Дядя рассказал ему об обвале в судейской зале и примыкавших к ней покоях, барон попенял на то, что Франц не сумел нас лучше устроить, и очень заботливо просил дядю немедленно сказать, если ему будет неудобно в новом помещении, которое ведь гораздо хуже того, что он занимал раньше.

Вообще, обращение барона с моим старым дядей было более чем сердечным, — в нем сквозило некоторое детское благоговение, почти родственная почтительность. И это было единственное, что хоть отчасти примиряло меня с бароном, чей суровый, повелительный нрав проявлялся более неприятным образом. Меня он едва замечал, видя во мне обыкновенного писца. В первый же раз, когда я выполнял для него какую-то работу, он усмотрел неточность в изложении; кровь закипела у меня в жилах, я хотел ответить что-то резкое, но тут заговорил мой дядя, уверяя, что я все сделал в его смысле и что в судопроизводстве именно так и надлежит делать.

Когда мы остались одни, я стал с досадой жаловаться на барона, который вызывал во мне все большую неприязнь.

— Поверь мне, тезка, — возражал мой дядя, — несмотря на свой неприветливый нрав, барон — самый лучший и добрый человек во всем свете. Да и нрав этот, как я уже говорил тебе, стал он выказывать только с тех пор, как сделался владельцем майората, прежде это был кроткий и милый юноша. Вообще же дела не так уже плохи, как ты представляешь, и я желал бы знать, почему это он так тебя раздражает?

Произнося последние слова, старик довольно-таки насмешливо улыбнулся, и кровь бросилась мне в лицо. Возможно, в этот момент я вполне определенно осознал, что моя странная ненависть проистекает от любви или, вернее, от влюбленности в существо, которое казалось мне самым прекрасным и дивным из всех, когда-либо являвшихся на земле. Этим существом была сама баронесса. Уже когда она только прибыла в замок и шла по комнатам в русской собольей шубке, плотно облежавшей ее изящный стан, и дорогой шали, вид ее подействовал на меня, как все сильные непобедимые чары. И даже то, что старые тетки в своих диковинных нарядах семенили по обе стороны от нее, треща свои французские приветствия, а она, баронесса, смотрела на них невыразимо кротким взглядом и приветливо кивала то одной, то другой, произнося при этом несколько слов на чисто курляндском наречии, — уже это казалось мне таким странным и удивительным, что мое воображение невольно сопоставило эту картину со страшным призраком и превратило баронессу в ангела света, перед которым трепещут все злые силы.

Эта дивная женщина и сейчас живо представляется моему духовному взору. Лицо ее было так же нежно, как и стан, и носило отпечаток величайшей, ангельской доброты; особенным, невыразимым очарованием отличался взгляд ее темных глаз: в нем светилась мечтательная тоска, подобная сиянию месяца, в ее пленительной улыбке было целое небо блаженства и восторга. Часто казалась она погруженной в себя, и тогда по ее прелестному лицу скользили мрачные, туманные тени. Можно было подумать, что ее снедает какая-то боль, но мне казалось, что в эти минуты ее охватывало мрачное предчувствие тяжелого, горестного будущего, и это я тоже связывал с призраком, бродившим в замке, хоть и не мог объяснить себе почему. На следующее утро по прибытии барона, когда все общество собралось к завтраку, дядя представил меня баронессе и, как это обыкновенно бывает при таком расположении духа, в каком я находился, я самым отчаянным образом поглупел и на самые простые вопросы прелестной женщины — нравится ли мне замок и прочее — лепетал нечто совершенно бессмысленное, молол вздор, так что старые тетушки, напрасно приписав мое поведение глубочайшей почтительности перед госпожой и сочтя нужным принять во мне участие, стали расхваливать меня, утверждая, что я очень любезный и умный молодой человек, *garçon très joli**.

*Очень милый мальчик (франц.).

Это меня рассердило, я вдруг вполне овладел собой, и у меня вырвалась острота на более чистом французском языке, чем тот, на котором изъяснялись старухи; при этом они вытаращили глаза и обильно начинили табаком свои острые носы. По строгому взгляду баронессы, с которым она

отвернулась от меня к другой даме, я понял, что моя острога была сильно сродни глупости; это раздосадовало меня еще больше, и я мысленно послал старух ко всем чертям. Мой дядя достаточно упражнялся передо мной в остроумии по поводу времен пастушеских томлений, любовных несчастий и ребяческого самообмана, и все же ни одна женщина не задевала мое сердце так глубоко и сильно, как баронесса. Я видел и слышал только ее, но со всей определенностью знал, что было бы глупостью и безумием отважиться на какую бы то ни было интригу; я находил также невозможным издали преклоняться своему предмету, подобно влюбленному мальчику, от этого мне было бы стыдно перед самим собой. Приблизиться к очаровательной женщине и ни малейшим намеком не дать ей понять, что я чувствую, упиваться сладким ядом ее взглядов и слов и потом вдали от нее долго, быть может, всегда носить ее образ в своем сердце, — вот что я мог и чего желал. Эта романтическая, даже рыцарская любовь, настигшая меня бессонной ночью, так взволновала меня, что у меня достало ребячества произнести перед самим собой патетическую речь, которую я окончил жалобными вздохами: "Серафина! Серафина!" — так что старик мой проснулся и возопил: — Тезка! Тезка! Ты, похоже, мечтаешь вслух! Делай это днем, если можно, а ночью не мешай мне спать!

Я был немало озабочен тем, что старик, который отлично уже заметил мое возбужденное состояние в присутствии баронессы, услышал ее имя и начнет доносить меня своими саркастическими насмешками, но следующим утром он изрек только, входя в судейскую залу:

— Дай Бог всякому достаточно разума и старания, чтобы как следует пользоваться им. Плохо, когда человек становится трусом и следует правилу "ни нашим, ни вашим".

Потом он сел за большой стол и сказал:

— Будь любезен, пиши четко, милый мой тезка, чтобы мне легко было читать.

Высокое уважение и даже детская почтительность, которые выказывал барон моему дяде, проявлялись во всем. За столом он должен был сидеть подле баронессы, чему многие очень завидовали; меня же случай бросал то туда, то сюда, но обыкновенно мною завладевали несколько офицеров из ближнего гарнизона, чтобы обсудить все новости и забавные происшествя, что там случались, да к тому же хорошенько выпить. По этой причине я много дней сидел далеко от баронессы, на другом конце стола, но однажды случай приблизил меня к ней. Когда перед собравшимися гостями открыли двери столовой, компаньонка баронессы, уже не первой молодости, но недурная собою и неглупая барышня, завела со мной разговор, который, по-видимому, доставлял ей удовольствие. Правила хорошего тона требовали, чтобы я подал ей руку, и я был немало обрадован, когда она заняла место совсем близко от баронессы, которая приветливо ей кивнула. Всякий поймет, что все слова, которые я говорил, предназначались не столько моей соседке, сколько баронессе. Очевидно, мой душевный подъем придавал моим речам особый полет, но только барышня все более и более внимательно меня слушала и, наконец, была неодолимо увлечена в пестрый мир сменяющихся картин, которые я перед ней развертывал. Я уже упоминал, что девица была неглупа, и потому вскоре наш разговор непринужденно потек сам собою, независимо от общей беседы, в которую я лишь изредка вставлял несколько фраз, когда мне особенно хотелось блеснуть. Я отлично заметил, что девица бросает на баронессу многозначительные взгляды и что та прислушивается к нашему разговору. В особенности когда разговор коснулся музыки и я с величайшим вдохновением заговорил об этом дивном, священном искусстве, не умолчав о том, что, несмотря на занятия сухой и скучной юриспруденцией, я довольно хорошо играю на фортепьяно, пою и даже сочинил несколько песен.

Перешли в другую залу пить кофе и ликеры, и я нечаянно, сам не знаю как, очутился перед баронессой, беседовавшей с моей соседкой. Она сейчас же со мной заговорила, но уже гораздо более приветливо, как со знакомым, причем повторила те же вопросы: нравится ли мне в замке и прочее. Я отвечал, что в первые дни мне было очень не по себе от тревожной пустынности этих мест, да и сам старинный замок привел меня в очень странное расположение духа, но что в этом настроении было много прекрасного и что теперь я только хотел бы быть избавленным от охот, к которым не привык. Баронесса улыбнулась и сказала:

— Легко могу себе представить, что дикая жизнь в наших еловых лесах не может быть приятной для вас. Вы музыкант и, если я не ошибаюсь, также поэт. Я страстно люблю оба эти искусства. Сама я немного играю на арфе, но вынуждена лишать себя этого в Р-зиттене, так как муж мой не желает, чтобы я брала инструмент, чьи нежные звуки плохо сочетаются с дикими криками охотников и резким звуком рогов, которые здесь только и можно слышать! О Боже! Как не хватает мне здесь музыки!

Я заверил ее, что ради исполнения ее желания отдаю в ее распоряжение все свое искусство, так как в замке, вероятно, найдется какой-нибудь инструмент, хотя бы старое фортепьяно. Тут фрейлейн Адельгейда, компаньонка баронессы, громко рассмеялась и спросила, неужели я не знаю, что в замке с

незапамятных времен не звучало ничего, кроме пронзительных труб, ликующих охотничьих рогов и дрянных инструментов странствующих музыкантов. Баронесса же непременно желала слушать музыку, и в особенности меня, и обе, она и Адельгейда, ломали себе голову, размышляя, как бы достать более-менее сносное фортепьяно. В это время по зале проходил Франц. "Вот тот, у кого на все есть хороший совет, кто достанет все, даже неслыханное и невиданное!" — произнеся это, фрейлейн Адельгейда подозвала старого слугу, и пока она объясняла ему, в чем дело, баронесса слушала, сложив руки и наклонив голову, и с кроткой, просящей улыбкой заглядывала в глаза старому слуге. Она была очаровательна: точно милое прелестное дитя, страстно мечтающее получить желанную игрушку. Франц по своему обыкновению стал пространно рассуждать, перечисляя множество причин, по которым совершенно невозможно скоро достать такой редкий инструмент, а потом наконец погладил свою бороду и сказал, ухмыляясь с довольным видом:

— Правда, жена господина управляющего там, в деревне, очень далее недурственно бренчит на клавицимбале, или как оно там называется по-иностранному, и при этом так ладно и жалостливо поет, что у человека глаза краснеют, как от луку, а ноги сами пускаются в пляс...

— У нее есть фортепьяно! — перебила фрейлейн Адельгейда.

— Оно самое, — подтвердил старик, — доставили прямо из Дрездена, это...

— О, да это великолепно! — воскликнула баронесса.

— Внушительный инструмент, — продолжал Франц, — только немного слабоват: намеренни органист хотел сыграть на нем "Во всех делах моих", так он его дочиста разбил, так что...

— О Боже! — воскликнули разом баронесса и Адельгейда.

— Так что, — закончил старик, — его с превеликим трудом переправили в Р. и там починили.

— Значит оно теперь снова здесь? — нетерпеливо переспросила фрейлейн Адельгейда.

— Конечно, барышня! И жена господина управляющего почтет за честь...

В эту минуту мимо проходил барон. Он с некоторым удивлением посмотрел на нашу группу и, насмешливо улыбаясь, шепнул баронессе: "Что, Франц опять подает добрые советы?"

Баронесса, покраснев, опустила глаза, а Франц, оборвав себя на полуслове, испуганно вытянулся, по-солдатски опустив руки по швам. Старые тетупки подплыли к нам в своих штофных платьях и увели баронессу, за ней последовала фрейлейн Адельгейда. Я стоял на месте как завороженный.

Восторженная радость, что я приближусь к обожаемой женщине, завладевшей всем моим существом, боролась с мрачной досадой и неудовольствием против барона, представлявшегося мне грубым деспотом. Если это не так, разве старый седой слуга вел бы себя так по-рабски?

— Да слышишь ли ты? Видишь ли ты, наконец? — воскликнул старый дядя, хлопая меня по плечу.

Мы пошли в нашу комнату.

— Не привязывался бы ты так к баронессе, — сказал он, как только мы поднялись к себе, — к чему это?

Предоставь это молодым франтам, любителям поволочиться за дамами, их здесь предостаточно.

Я рассказал ему все как было и спросил, заслуживаю ли я его упрека. Он ответил на это только "гм-гм", надел халат, уселся в кресло и, раскурив трубку, заговорил о событиях вчерашней охоты, подшучивая над моими промахами.

В замке все затихло. Дамы и кавалеры готовили в своих покоях вечерние туалеты. Музыканты с жалкими инструментами, о которых говорила фрейлейн Адельгейда, как раз явились и ночью готовились дать бал по всей форме. Старик, предпочитавший мирный сон таким пустым забавам, остался в своей комнате, я же, напротив, уже оделся для бала. В это время в дверь тихонько постучали, и вошел старый Франц, объявив мне с довольной улыбкой, что только что привезли в саниях клавицимбал жены господина управляющего и перенесли к госпоже баронессе. Фрейлейн Адельгейда просила меня тотчас же прийти. Можно себе представить, как билось у меня сердце, с каким сладостным трепетом отворил я дверь комнаты, где была *она*.

Фрейлейн Адельгейда приветливо меня встретила. Баронесса, уже совсем одетая для бала, задумчиво сидела перед таинственным ящиком, где спали звуки, которые я призван был пробудить. Она поднялась с места, сияя такой безупречной красотой, что я смотрел на нее, не в силах произнести ни слова.

— Ну вот, Теодор (по милому северному обычаю, который встречается также и на крайнем юге, она всех называла по имени), ну вот, — молвила она ласково, — инструмент привезен, дай Бог, чтобы он был хоть сколько-нибудь достоин вашего искусства.

Когда я поднял крышку, зазвенело множество лопнувших струн; когда же я взял аккорд, он прозвучал неприятно и резко, ибо те струны, которые еще остались целы, были совсем расстроены.

— Видно, органист опять прошелся здесь своими нежными ручками! — со смехом воскликнула фрейлейн Адельгейда, но баронесса сказала с досадой:

— Да, это сущее несчастье! Значит, у меня не будет здесь никаких радостей!

Я пошарил в инструменте и, к счастью, нашел несколько катушек струн, но молотка не было!

Начались новые сетования.

— Сгодится всякий ключ, бородка которого наденется на колки,— объявил я; баронесса и фрейлейн Адельгейда, радостно засуетившись, стали сновать по комнате, и вскоре передо мной лежало целое собрание блестящих ключей.

Я усердно принялся за дело, фрейлейн Адельгейда и баронесса помогали мне как могли. И вот один из ключей надевается на колки.

— Подходит! Подходит! — радостно восклицают обе.

Но тут со звоном лопается струна, доведенная почти до чистого тона, и обе в испуге отступают.

Баронесса перебирает своей нежной ручкой хрупкие проволочные струны и подает мне те номера, которые я требую, она заботливо держит катушку, которую я разматываю; внезапно одна из катушек вырывается у нее из рук, баронесса издает нетерпеливое восклицание, фрейлейн Адельгейда громко хохочет, а я преследую заблудшую катушку до самого конца комнаты, и все мы стараемся вытянуть из нее еще одну цельную струну, натягиваем ее, а она, к нашему огорчению, снова лопается; но вот наконец найдены хорошие катушки, струны начинают держаться, и из нестройного жужжания постепенно возникают чистые, звучные аккорды.

— Ах, удача, удача! Инструмент настраивается! — восклицает баронесса, глядя на меня с милой улыбкой.

Как быстро изгнали эти общие усилия все чуждое и пошлое, что налагается на людей светскими приличиями! Какое теплое доверие поселилось меж нами; подобно электрической искре оно разрядило страшную тяжесть, давившую мою грудь, точно лед. Тот особый пафос, который часто вызывает к жизни влюбленность, подобную моей, совершенно меня оставил, и когда фортепиано было наконец настроено, я, вместо того, чтобы излить свои чувства в пламенных фантазиях, как собирався сделать раньше, начал петь те милые, нежные канцонетты, которые пришли к нам с юга. Во время всех этих "Seiua di te", "Seniimi, idol mio", "Almen se non poss'io"* бесчисленных "Morir mi sento", и "Addio!", и "Oh, dio!"** глаза Серафины все больше и больше разгорались. Она села за инструмент совсем рядом со мной, и я чувствовал, как ее дыхание касается моей щеки. Серафина оперлась рукой о спинку моего стула, и белая лента, отделившаяся от ее изящного бального платья, упала мне на плечо и развеялась между нами, колеблемая звуками и тихими вздохами Серафины, как верный посланник любви! Просто удивительно, как я не лишился рассудка.

Когда я начал брать аккорды, припоминая какую-то песню, фрейлейн Адельгейда, сидевшая в углу комнаты, подбежала к баронессе, встала перед ней на колени, взяла обе ее руки и, прижимая их к своей груди, стала просить:

— Милая баронесса Серафина, теперь и ты должна спеть!

Баронесса отвечала:

— Что ты говоришь, Адельгейда! Как могу я выступить со своим жалким пением перед таким виртуозом!

Можно себе представить, как я умолял ее; когда же она сказала, что поет курляндские народные песенки, я не отставал до тех пор, пока она, протянув левую руку, не попыталась извлечь из инструмента несколько звуков, как бы в виде вступления. Я хотел уступить ей место за фортепиано, но она не согласилась, уверяя, что не сумеет взять ни одного аккорда и что без аккомпанемента ее пение должно звучать очень жалко и неуверенно. Наконец она запела нежным и чистым, как колокольчик, льющим прямо из сердца голосом; то была песня, отвечающая своей безыскусной мелодией характеру народных песен, которые светят прямо из глубины души, и мы, озаренные их чистым светом, постигаем нашу высшую поэтическую природу. Какое таинственное очарование заключено в незатейливых словах текста— иероглифах того невыразимого, что наполняет нашу грудь.

* "Без тебя", "О, услышь меня, божество мое", "Когда не могу я" (*итал.*).

** "Чувствую, что умираю", "Прощай", "О Боже" (*итал.*).

Кто не знает испанской песенки, содержание которой вмещается всего в нескольких словах: "С девицей моей я плыл по морю, вдруг поднялась буря, и девица в страхе бросалась туда и сюда. Нет! Уж не поплыву я больше с девицей моей по морю!" Песенка баронессы говорила не более того: "Недавно на свадьбе плясала я с милым, и вот из волос моих выпал цветок, и он его поднял и, мне подавая, сказал: "Когда же, моя девица, мы опять пойдем на свадьбу?"

Когда на второй строфе этой песенки я, подобрав аккомпанемент, стал вторить ей аккордами и, охваченный вдохновением, немедленно ловил из уст баронессы мелодии следующих песен, то

показался ей и фрейлейн Адельгейде величайшим мастером музыкального искусства, и они осыпали меня похвалами. Свечи, зажженные в бальной зале, находившейся в боковом флигеле, уже бросали отблеск своего огня в комнату баронессы, и нестройные звуки труб и гобоев возвестили, что пришло время собираться на бал.

— Ах, я должна идти! — воскликнула баронесса. Я вскочил из-за фортепиано.— Вы доставили мне большое наслаждение, это были самые счастливые мгновения, которые судьба подарила мне в Р-зиттене,— с этими словами баронесса протянула мне руку, и, когда я прижал ее к своим губам в восторженном упоении, то почувствовал, как трепетно бьется кровь в ее пальцах... Не знаю, как я очутился в комнате дяди, как попал потом в бальную залу. Некий гасконец боялся битвы, полагая, что всякая рана будет для него смертельна, ибо он весь состоял из одного сердца! Я мог бы уподобиться ему, как и каждый в моем настроении: всякое прикосновение было для меня смертельным. Рука баронессы, ее трепетные пальчики явились для меня отравленными стрелами, кровь моя кипела в жилах.

На другое утро не спрашивая меня прямо, старый дядя мой очень скоро узнал подробности вечера, проведенного с баронессой, и я был поражен, когда он, говоривший со мной всегда весело и со смехом, вдруг сделался очень серьезен и сказал:

— Прошу тебя, тезка, борись с этой глупостью, которая захватила тебя с такой силой! Знай, что твое поведение, как бы ни казалось оно невинным, может иметь ужаснейшие последствия; в беспечном безумии ты стоишь на тонком льду, который подломится под тобой прежде, чем ты это заметишь, и ты бухнешься в воду. Я не стану держать тебя за полу, потому что знаю, что ты сам выкарабкаешься и, весь израненный, скажешь: "У меня сделался во сне небольшой насморк", но мозг твой иссушит страшная лихорадка, и пройдут годы, прежде чем ты оправившись. Черт поberi твою музыку, если ты не нашел ничего лучшего, как смущать ею мирный покой чувствительных женщин.

— Но,— прервал я старика,— разве мне приходит в голову любезничать с баронессой?

— Болван! — вскричал дядя.— Да если бы я об этом узнал, я бы тут же выбросил тебя из окна.

Барон прервал этот тягостный разговор, а дела вывели меня из любовной мечтательности, в которой я видел одну только Серафину. В обществе баронесса лишь изредка говорила мне несколько приветливых слов, однако не проходило почти ни одного вечера, чтобы ко мне не являлся тайный посланник от фрейлейн Адельгейды, звавшей меня к Серафине. Вскоре музыка стала чередоваться у нас беседами на самые различные темы. Фрейлейн Адельгейда, которая была уже не так молода, чтобы быть такой наивной и безрассудной, перебивала нас веселыми и немного путаными речами, когда мы с Серафиной начинали погружаться в сентиментальные грезы и предчувствия. По разным приметам я вскоре убедился, что баронесса чем-то действительно печально озабочена, я прочел это в ее взгляде, еще когда увидел ее в первый раз; теперь я уже не сомневался во враждебном действии домашнего призрака — нечто ужасное, вероятно, случилось или должно было случиться. Мне хотелось рассказать Серафине, как коснулся меня незримый враг и как старый дядя изгнал его, вероятно навеки, но какой-то непонятный страх сковывал мой язык, едва я хотел заговорить.

Однажды баронесса не явилась к обеденному столу, ей нездоровилось, и она не покидала своих покоев. Все с участием спрашивали барона, серьезен ли недуг. Он как-то криво, с горькой насмешкой улыбнулся и сказал:

— Это просто легкий катар, причиненный суровым морским воздухом, здешний климат не терпит нежных голосов и не переносит никаких звуков, кроме грубых охотничьих криков.

При этих словах барон бросил на меня, сидевшего наискосок от него, колющий взгляд. Слова его относились не к соседу, а ко мне. Фрейлейн Адельгейда, сидевшая рядом со мной, густо покраснела; но уставившись в тарелку и царапая ее вилкой, она тихонько прошептала:

— А все же ты сегодня увидишь Серафину, и твои нежные песни успокоят ее больное сердце.

Эти слова тоже предназначались для меня, и мне вдруг показалось, что я состою с баронессой в тайных и запретных любовных отношениях, которые могут окончиться самым ужасным образом.

Предостережения старого дяди тяжелым грузом лежали у меня на сердце. Что было делать? Не видеть ее более? Пока я находился в замке, это было невозможно, а бросить замок и уехать в К. я был просто не в состоянии. Ах, я слишком ясно чувствовал, что у меня неостанет сил самому вырваться из плена ложных надежд, которыми дразнила меня эта обманчивая любовь. Адельгейда вдруг показалась мне обыкновенной сводницей, и я был недалеко от того, чтобы презирать ее, но, опомнившись, устыдился своей глупости. Разве в эти блаженные вечерние часы случилось что-нибудь, что могло бы сблизить нас с Серафиной более, чем дозволяли приличия? Как могло мне прийти в голову, что баронесса питает ко мне какие-то чувства? И все же я был убежден в опасности моего положения! Обед был раньше обыкновенного, ибо собирались еще на волков, которые объявились в еловом лесу, возле са-

мого замка. Охота была мне весьма кстати при моем возбужденном состоянии, и я объявил дяде, что хочу принять в ней участие; он был очень доволен, одобрительно улыбнулся и сказал:

— Хорошо, что и ты наконец выберешься на свежий воздух, а я останусь дома; ты можешь взять мое ружье, заткни за пояс и мой охотничий нож, это надежное оружие, если только сохранять хладнокровие. Егеря оцепили часть леса, где предположительно находились волки. Было ужасно холодно, ветер завывал в елях и сыпал мне в лицо снежные хлопья, так что, когда стемнело, я едва мог видеть на расстоянии

нескольких шагов от себя. Совершенно оочевен, я оставил свой пункт и искал защиты, углубившись в лес. Там я прислонился к дереву, держа ружье под мышкой. Я забыл про охоту и перенесся мыслями к Серафине, в ее уютную комнату. Вдруг вдалеке раздались выстрелы, в ту же минуту в чаще что-то зашуршало, и менее чем в десяти шагах от себя я увидел большого волка, который хотел проскочить мимо. Я прицелился, выстрелил и промахнулся; зверь с горящими глазами бросился на меня, и я погиб бы, если бы не сумел сохранить присутствия духа настолько, чтобы выхватить охотничий нож и глубоко вонзить его в глотку зверя, когда он готов уже был вцепиться в меня, причем кровь его брызнула мне на руку. Один из баронских егерей, стоявший поблизости от меня, подбежал с громкими криками, на зов его рожка все сбежались и окружили нас.

— Боже мой, на вас кровь! Вы ранены? — бросился ко мне барон.

Я уверил его в противном; тогда барон напустился на егеря, стоявшего ко мне ближе всех, и осыпал его упреками за то, что он не выстрелил, когда я промахнулся, и хотя егерь божился, что это было невозможно, ибо в ту же минуту волк прыгнул и выстрел мог попасть в барина, барон все же стоял на том, что за мной, как за наименее опытным охотником, следовало смотреть особо.

Между тем егеря подняли зверя, он был такой большой, какого давно уже не видывали, и все дивились моему мужеству и решимости, хотя мне самому мое поведение казалось весьма естественным, к тому же я просто не подумал о той опасности, которой подвергся. Особенное участие выказывал мне барон, он беспрестанно спрашивал, не дают ли себя знать последствия испуга, пусть даже зверь и не ранил меня. Мы отправились в замок, барон по-дружески взял меня под руку и велел егерю нести мое ружье. Он продолжал говорить о моем геройском поступке, так что в конце концов я и сам поверил в свое геройство, перестал смущаться и стал чувствовать себя далее по сравнению с бароном вполне мужественным мужчиной редкостного хладнокровия и отваги. Школьник успешно выдержал экзамен и перестал быть школьником, избавившись от своей смиренной робости. Теперь казалось мне, я получил право искать милости Серафимы. Известно ведь, на какие дурацкие сопоставления способна фантазия влюбленного юноши.

В замке у камина, за дымящейся чашей пунша я продолжал быть героем дня; кроме меня один только барон уложил большого волка, остальные довольствовались тем, что оправдали свои промахи дурной погодой и темнотою, а также рассказывали истории о прежних охотничьих удачах и опасностях. Я ожидал похвал и удивления со стороны дяди; надеясь на это, я пространно живописал ему мое приключение, не забывая в самых ярких красках расписать кровожадный вид хищного зверя. Но старик засмеялся мне в лицо и сказал:

— Бог помогает слабым!

Когда я, устав от выпивки и от общества, пробирался по коридору в судейскую залу, то увидел, как впереди меня проскользнула какая-то фигура со свечкой в руках. Войдя в залу, я узнал фрейлейн Адельгейду.

— Приходится бродить, как привидение или лунатик, чтобы отыскать вас, мой храбрый охотник,— шепнула она, схватив меня за руку.

Слова "привидение" и "лунатик", произнесенные в этом месте, тяжело легли мне на сердце; мне сейчас же вспомнились призраки двух ужасных ночей; как завывал тогда, подобно басам органа, морской ветер, как он страшно гудел и бился о сводчатые окна, а месяц бросал бледный свет на таинственную стену, у которой раздавалось царапанье. Мне показалось, что я вижу на ней капли крови. Фрейлейн Адельгейда, все еще державшая меня за руку, должно быть, почувствовала ледяной холод, пронизавший меня.

— Что с вами? Что с вами? — тихо спросила, она, — вы совсем оочевенели! Но я сейчас верну вас к жизни. Знаете ли вы, что баронесса не может дожидаться минуты, когда увидит вас? Только тогда она поверит, что злой волк вас не растерзал. Она ужасно беспокоится! Ах, друг мой, что вы сделали с Серафимой? Я никогда не видела ее такой! Ого! Как заторопился ваш пульс! Как внезапно ожил мой мертвый господин! Ну, пойдите же, только тихо, к маленькой баронессе!

Я молча дал себя увести. Манера Адельгейды говорить о баронессе показалась мне недостойной, особенно неприятно поразил намек на какой-то сговор между нами. Когда мы вопли, Серафина с легким вскриком сделала мне навстречу несколько неторопливых шагов, но потом, будто

опомнившись, остановилась посреди комнаты; я осмелился схватить ее руку и прижать к своим губам. Не отнимая руки, баронесса прошептала:

— Боже мой, ваше ли это дело — сражаться с волками? Разве вы не знаете, что баснословные времена Орфея и Амфиона давно прошли и дикие звери потеряли всякое почтение к певцам?

Этот милый оборот, который исключал всякую двусмысленность относительно ее живого участия во мне, подсказал мне верный тон и такт. Не знаю сам, как вышло, что я не сел по обыкновению за фортепьяно, а уселся на диван рядом с баронессой.

— Ну, как же вы подвергли себя такой опасности? — спросила Серафина, выразив наше общее желание, что главным сегодня будет не музыка, а беседа. Когда я рассказал мое приключение в лесу и упомянул про живое участие барона, намекнув, что не считал его на это способным, баронесса сказала очень мягко, почти печально:

— О, барон должен казаться вам таким вспыльчивым и грубым; но поверьте, только во время его пребывания в этих мрачных стенах, во время дикой охоты в этих пустынных еловых лесах так меняется все его существо, по крайней мере, по внешней манере. Его постоянно преследует мысль, что здесь должно случиться что-то ужасное, потому-то его, наверное, так глубоко потрясло это происшествие, которое, к счастью, не имело дурных последствий. Он не желает подвергать малейшей опасности никого из слуг, а тем более милого, вновь приобретенного друга, и, я уверена, что Готтлиб, которого он считает виновным а том, что с вами случилось, если и не будет посажен в тюрьму, то понесет самое позорное охотничье наказание: будет без всякого оружия, с одной дубинкой идти за охотничьей свитой. Уже одно то, что охота в здешних местах никогда не бывает безопасной и что барон, беспрестанно опасаясь несчастья, все же участвует в ней и даже наслаждается ею, дразня злого демона, вносит разлад в его жизнь, и это дурно отражается также и на мне. Рассказывают немало страшного о том предке, который установил майорат, и я знаю, что мрачная семейная тайна, заключенная в этих стенах, тревожит владельцев замка, как страшный призрак, так что они могут проводить здесь только самое короткое время среди шумной толпы и дикой суеты. Но как одиноко чувствую я себя в этой толпе! Как борюсь в душе с тем ужасом, которым веет от этих стен! Вам, добрый друг мой, вашему искусству обязана я первыми приятными минутами, которые пережила в этом замке. Как мне благодарить вас за это?!

Я поцеловал протянутую мне руку и признался, что и меня в первый день или, вернее, в первую ночь поразила тревожная неприютность этого места. Баронесса пристально смотрела мне в лицо, когда я объяснял это впечатление самим видом старого замка, и в особенности судейской залы, свирепствованием морского ветра и т.д. Быть может, по моему тону и выражению моего лица она поняла, что я что-то скрываю, ибо, когда я умолк, баронесса нетерпеливо воскликнула:

— Нет! Нет! С вами случилось что-то ужасное в этой зале, в которую я не могу войти без страха. Заклинаю вас, откройте мне все!

Лицо Серафины покрылось мертвенной бледностью, я видел, что лучше правдиво рассказать ей обо всем, что со мной приключилось, чем оставить ее возбужденной фантазии представить себе призрак, быть может, по неведомым мне причинам еще более страшный, чем тот, который мог представить себе я. Она слушала меня, и ее страх и волнение все возрастали. Когда я упомянул о царапани в стену, она воскликнула:

— Это ужасно! Да, да! В этой стене скрыта ужасная тайна!

Когда я рассказал, как мой старый дядя изгнал призрак силою своего духа, она глубоко вздохнула, словно с ее души свалилось тяжелое бремя. Откинувшись назад, она закрыла лицо обеими руками. Теперь только я заметил, что Адельгейда нас оставила. Я давно уже кончил свой рассказ, и так как Серафина все еще молчала, я тихонько встал, подошел к фортепьяно и попробовал переливающимися аккордами вызвать духов, которые могли бы успокоить Серафину, вывести ее из того мрачного мира, который открылся ей в моем рассказе. Потом я начал напевать как можно нежнее одну из трогательных песен аббата Стефани. Полные печали звуки "Occhi perché piangete"* пробудили Серафину от ее мрачных грез, и она слушала меня, кротко улыбаясь, а на ее ресницах переливались жемчужины.

Как случилось, что я опустился перед ней на колени, что она склонилась ко мне, я обвил ее руками и на губах моих загорелся долгий, жаркий поцелуй? Как же случилось, что я не потерял рассудка, почувствовав, что она нежно прижимает меня к себе, а выпустил ее из объятий и, быстро поднявшись, подошел к фортепьяно?

Отвернувшись, баронесса сделала несколько шагов к окну, потом обернулась и подошла ко мне с почти гордым видом, который вовсе не был ей свойственен.

— Ваш дядя — самый достойный человек из всех, кого я знаю, — сказала она, — он ангел-хранитель нашей семьи, пусть поминает он меня в своих молитвах!

Я не мог проронить ни слова, губительный яд, который вкусил я с ее поцелуем, проник во все мои жилы и нервы и жег их огнем! Тут вошла фрейлейн Адельгейда; неистовая душевная борьба излилась горячими слезами, которых я не мог сдержать. Адельгейда посмотрела на меня с удивлением и многозначительной улыбкой, я готов был ее убить. Баронесса протянула мне руку и сказала с невыразимой нежностью:

* Слезы застилают глаза (*итал.*).

— Прощайте, мой милый друг! Прощайте! Помните, что, быть может, никто лучше меня не понимал вашей музыки; эти звуки будут долго жить в моей душе.

Я пробормотал несколько бессмысленных слов и опрометью бросился в свою комнату.

Старик мой уже спал. Я пошел в залу, упал на колени, горько рыдал, призывая имя возлюбленной,— словом, предался всем глупостям любовного безумия, и только громкий возглас проснувшегося дяди: "Тезка, ты, кажется, помешался! Или снова борешься с волком? Ложись в постель!" — только этот возглас заставил меня войти в комнату, где я улегся спать с твердым намерением видеть во сне одну Серафину.

Было уже за полночь, когда я, еще не успев заснуть, услышал отдаленные голоса, бегом вверх и вниз по лестницам и хлопанье дверей. Я прислушался — и услышал в коридоре приближающиеся шаги, потом открылась дверь в залу, и вскоре постучали в нашу комнату.

— Кто там? — громко спросил я.

— Господин стряпчий, господин стряпчий, проснитесь! — доносилось из-за дверей.

Я узнал голос Франца и когда спросил: "Уж не пожар ли в замке?" — старик мой проснулся и закричал:

— Где горит? Где опять началась эта проклятая чертова игра?

— Ах, вставайте, господин стряпчий, вставайте, — стонал Франц, — вас требует господин барон.

— Чего нужно от меня барону? — спросил старик, — разве он не знает, что стряпчие ночью имеют обыкновение спать?

— Ах, — тревожно воскликнул Франц, — вставайте же, дражайший господин стряпчий, госпожа баронесса при смерти!

С криком ужаса вскочил я с постели.

— Отвори Францу дверь! — крикнул мне старик.

Я, совершенно обезумев, метался по комнате, не находя ни дверей, ни ключа. Дядя вынужден был мне помочь. Франц вошел бледный, с расстроенным лицом и зажег свечи.

Едва мы успели набросить на себя платье, как услышали в зале голос барона:

— Могу я поговорить с вами, любезный Ф.?

— А ты зачем оделся, тезка? Барон ведь посылал только за мной, — заметил старик, собираясь выходить.

— Я должен пойти туда, я должен ее увидеть и потом умереть, — промолвил я глухо, как бы раздавленный безутешной скорбью.

— Здорово ты придумал, тезка! — говоря это, старик захлопнул дверь перед самым моим носом, так что завизжали петли, и запер ее снаружи. В первую минуту, возмущенный этим насилием, я хотел вышибить дверь, но, быстро сообразив, что такое необузданное бешенство может иметь только дурные последствия, решил дожидаться возвращения дяди, а там уж, чего бы мне это ни стоило, вырваться отсюда. Я слышал, как старик возбужденно говорил с бароном, слышал, что они несколько раз упоминали мое имя, но больше ничего не мог разобрать. С каждой секундой положение мое становилось все убийственнее. Наконец я услышал, что кто-то пришел за бароном и он выбежал из залы. Старик вошел в комнату.

— Она умерла! — крикнул я, бросаясь ему навстречу.

— А ты спятил! — ответил он спокойно, взял меня за плечи и усадил на стул.

— Я пойду туда! — кричал я, — я должен быть там, должен видеть ее, хотя бы это стоило мне жизни.

— Изволь, милый тезка, — сказал старик, запирая дверь, вынимая из нее ключ и кладя его в карман.

Дикая ярость разыграла по мне, я схватил заряженное ружье и закричал:

— Я всажу себе пулю в лоб, если вы сейчас же не отопрете дверь!

Тут старик вполтную подошел ко мне и сказал, пристально глядя мне в глаза:

— Ты думаешь, мальчик, что испугаешь меня своей жалкой угрозой? Неужто ты полагаешь, что мне дорога твоя жизнь, если ты с детской безрассудностью швыряешься ею, как ненужной игрушкой?

Какое имеешь ты отношение к супруге барона? Кто дал тебе право вторгаться, как какой-то

легкомысленный болван, туда, где тебе не следует быть и куда тебя вовсе не звали? Или ты намереваешься разыграть влюбленного пастушка в страшную минуту смерти? Совершенно уничтоженный, я бросился в кресло. Через некоторое время старик сказал уже более мягко:

— Ну, ладно, узнай *же*, что смертельная опасность вовсе не грозит баронессе. Фрейлейн Адельгейда выходит из себя из-за всякого пустяки: если ей упадет на нос капля дождя, она уже кричит: "Какая ужасная погода!" К несчастью, вся эта тревога дошла до старых теток, которые явились с целым арсеналом подкрепляющих капель, живительных эликсиров и Бог весть чего еще. А был лишь глубокий обморок...

Старик замолчал; вероятно заметил, как я борюсь с собой. Он прошелся несколько раз взад и вперед по комнате, снова остановился передо мной, добродушно засмеялся и сказал:

— Тетка, тетка! Какую же глупость ты сморозил! А ведь все дело в том, что сатана ведет здесь свою игру и на все лады морочит нас; ты же попался на крючок и теперь пляшешь под его дудочку.

Он еще раз прошелся по комнате и потом продолжал:

— Сон все равно уже пропал! Я думаю, что можно выкурить трубочку и скоротать таким образом остаток темной ночи.

С этими словами старик вынул из стенного шкафа глиняную трубку, долго и тщательно набивал ее табаком, мурлыча какую-то песенку, а потом пошарил в бумагах, разорвал один лист, поджег его и раскурил трубку. Отгоняя от себя густые облака дыма, он проговорил сквозь зубы:

— Ну-ка, тетка? Как там было дело с волком?

Спокойствие старика весьма странно на меня подействовало. Мне казалось, что я вовсе не в Р-зиттене, что баронесса где-то далеко-далеко и я могу достичь до нее только на крыльях воображения.

Последний вопрос старика меня раздосадовал.

— Что же, — сказал я, — вы находите мое охотничье приключение лишь забавным и достойным насмешек?

— Нисколько, — возразил старик, — нисколько, любезный тетка, но ты не представляешь, как комично выглядит такой вот молокосос, особенно уморительно бывает, когда Господь Бог ниспошлет ему какое-нибудь приключение. Был у меня в университете приятель, человек спокойный, скромный и рассудительный. Случай вовлек его в какое-то дело чести, хотя он никогда не давал к тому повода. И он, кого большинство буршей считали слабаком и недотепой, повел себя с таким решительным мужеством, что все ахнули. Но с тех самых пор он здорово переменялся. Из прилежного, рассудительного юноши превратился в хвастливого забияку. Он кутил, буйствовал и дрался, покуда старшина землячества, которого он оскорбил самым дурацким образом, не убил его на дуэли. Я рассказываю тебе все это, тетка, просто так, а ты уже думай об этом что хочешь. А теперь, возвращаясь к баронессе и ее болезни...

Тут в зале раздались тихие шаги, и мне почудились, что в воздухе пронесся ужасный вздох. "Ее уже нет!" — мысль эта пронизала меня как удар молнии! Старик поспешно поднялся и громко окликнул:

— Франц! Франц!

— Да, господин стряпчий! — отозвались за дверью.

— Франц! — продолжал мой дядя, — помешай уголья в камине и, если можно, принеси нам две чашечки хорошего чаю!

— Здесь чертовски холодно, — обратился он ко мне, — поговорим лучше там, у камина. Старик отпер дверь, и я машинально поплелся за ним.

— Что делается внизу? — спросил дядя.

— Ах, — ответил Франц, — все оказалось не так страшно, госпожа баронесса пришла в себя и полагает, что обморок приключился от дурного сна!

Я собирался громко возликовать от радости и восторга, но дядя строго взглянул на меня, и я прикусил язык.

— Вот как? — сказал он, — а хорошо бы сейчас поспать еще пару часиков. Не нужно нам чаю, Франц!

— Как прикажете, господин стряпчий, — ответил Франц и оставил нас, пожелав спокойной ночи, хотя уже пропели петухи.

— Слушай, тетка, — сказал старик, выколавывая трубку — однако хорошо, что с тобой не приключилось несчастья ни от волка, ни от заряженного ружья!

Я все понял и устыдился того, что дал старику повод обойтись со мною как с несмышленным ребенком.

— Будь так добр, милый тезка,— сказал мой дядя утром,— сойди вниз и узнай, как чувствует себя баронесса. Можешь спросить у фрейлейн Адельгейды, она уж, конечно, сообщит тебе подробный бюллетень.

Можно себе представить, как полетел я вниз. Но в ту минуту, когда я хотел тихонько постучаться в двери, ведущие в переднюю баронессы, навстречу мне вышел сам барон. Он в изумлении остановился и смерил меня мрачным, пронизывающим взглядом.

— Что вам здесь нужно? — буркнул он. Несмотря на то, что сердце у меня отчаянно колотилось, я овладел собой и ответил твердым голосом:

— Я пришел по поручению дяди узнать о здоровье баронессы.

— О, это были пустяки, ее обычный нервный припадок. Сейчас она спокойно спит, и я уверен, что она выйдет к столу совсем здоровая и веселая. Так и передайте!

Барон проговорил это со страстной горячностью, и я подумал, что он беспокоится о баронессе сильнее, чем хотел бы показать. Я повернулся, собираясь уходить, но барон вдруг схватил меня за руку и воскликнул, сверкая глазами:

— Мне нужно поговорить с вами, молодой человек!

Разве не видел я перед собой оскорбленного мужа и не должен был опасаться поединка, который мог кончиться моим позором? Я был безоружен, но вспомнил об отменном охотничьем ноже, подаренном мне дядей здесь, в Р-зиттене, который лежал у меня в кармане. Я последовал за стремительно шагавшим бароном, решив не падать жизни, если со мной поступят недостойным образом. Мы вошли в комнату барона, и он запер дверь. Скрестив руки, он стал нервно расхаживать по комнате, потом остановился передо мною и повторил:

— Мне нужно поговорить с вами, молодой человек. Ко мне вернулось все мое мужество, и я сказал, возвысив голос:

— Надеюсь, слова ваши не будут оскорбительны для меня.

Барон посмотрел на меня удивленно, будто не понял, потом мрачно потупился, заложил руки за спину и снова стал метаться по комнате. Он взял стоявшее в углу ружье и вставил в него шомпол, точно желая убедиться, заряжено оно или нет. Кровь закипела у меня в жилах, я схватился за нож и подошел вплотную к барону, чтобы лишить его возможности прицелиться в меня.

— Прекрасное оружие,— сказал барон, засовывая ружье обратно в чехол.

Я отошел от него на несколько шагов, но барон снова подошел ко мне, хлопнул меня по плечу сильнее, чем следовало бы, и промолвил:

— Должно быть, я кажусь вам возбужденным и расстроенным, Теодор. Это и в самом деле так после страхов и волнений этой ночи. Нервный припадок моей жены был неопасен, теперь я это вижу, но здесь, в этом замке, где поселился мрачный дух, я беспрестанно ожидаю всего самого ужасного, и кроме того, она в первый раз здесь заболела. Вы, вы одни в этом виноваты!

— Я не имею ни малейшего подозрения, как это могло случиться, — сдержанно ответил я.

— О,— продолжал барон,— о, если бы этот проклятый ящик управительши раскололся в щепки на льду, о, если бы вы... но, нет, нет! Это должно было случиться, и я один во всем виноват. Я должен был в ту же минуту, как вы заиграли в комнате баронессы, рассказать вам о положении вещей и настроении моей жены...

Я хотел что-то сказать.

— Дайте мне высказаться!— воскликнул барон,— я должен предупредить ваши поспешные суждения.

Вы сочтете меня за сурового человека, далекого от искусства. Я вовсе не таков, но есть одно соображение, основанное на глубоком убеждении, которое заставляет меня не допускать сюда такую музыку, которая может взволновать, лишить покоя всякую душу, а также, конечно, и мою. Знайте, что жена моя так впечатлительна, что это может в конце концов лишить ее всех радостей жизни. В этих зловещих стенах она не выходит из состояния неестественного возбуждения, которое обыкновенно посещает ее только моментами, но все же есть предвестник серьезной болезни. С полным основанием вы имеете право спросить, почему я не избавляю эту нежную женщину от пребывания в этом ужасном месте, от этой дикой, сумбурной охотничьей жизни? Назовите это слабостью, но я не могу оставить ее одну. Я испытывал бы такую тревогу, что был бы совершенно не в состоянии заниматься важными делами, ибо знаю, что самые ужасные картины всевозможных несчастий, которые могут с ней случиться, будут преследовать меня и в лесу, и в судейской зале. И потом, я думаю, что для слабой женщины как раз вся эта жизнь может служить как бы укрепляющей ванной. Морской ветер, по своему замечательно завывающий в елях, глухой лай собак, дерзкие и веселые переливы рогов должны преобладать здесь над расслабляющим, томным хныканьем фортепьяно, на котором не следовало бы играть мужчине; вы же вознамерились настойчиво мучить мою жену и довести ее до смерти!

Барон произнес эти слова, возвысив голос и дико сверкая глазами. Кровь бросилась мне в голову, я сделал порывистое движение рукой в сторону барона и хотел заговорить, но он не позволил мне сделать это.

— Я знаю, что вы хотите сказать,— начал он,— я знаю это и повторяю: вы были на пути к тому, чтобы убить мою жену, в чем я нисколько вас не виню, хотя вы поймете, что я должен положить этому конец. Словом, вы экзальтируете мою жену своею игрою и пением. И когда она без удержу носится по бездонному морю мечтательных грез и предчувствий, вызванных злыми чарами вашей музыки, вы низвергаете ее в бездну рассказом о страшном призраке, дразнившем вас там наверху в судейской зале. Ваш дядя все рассказал мне, но я прошу вас, повторите мне все, что вы видели и слышали, чувствовали и подозревали.

Я взял себя в руки и спокойно рассказал, как было дело, от начала и до конца. Барон лишь изредка прерывал меня возгласами удивления. Когда я дошел до того, как мой дядя с благочестивым мужеством противостоял призраку и изгнал его строгими словами, он сложил руки, поднял их к небу и растроганно воскликнул:

— Да, он дух, охраняющий нашу семью! Его брэнная оболочка должна будет покоиться в склепе наших предков!

Я окончил свой рассказ.

— Даниэль! Даниэль! Что делаешь ты здесь в такой час? — бормотал барон, расхаживая по комнате со скрещенными руками.

— Так, значит, больше ничего, господин барон? — громко спросил я, делая вид, что ухожу. Барон словно очнулся от сна, дружески взял мою руку и сказал;

— Да, милый друг! Вы должны исцелить мою жену, с которой, сами того не подозревая, сыграли такую злую шутку. Только вы один можете это сделать.

Я чувствовал, что заливаюсь краской, и если бы стоял против зеркала, то, несомненно, увидел бы в нем весьма глупую и смущенную физиономию. Барон, похоже, наслаждался моим замешательством, он пристально смотрел мне в глаза и улыбался с откровенной иронией.

— Каким образом могу я это сделать? — выговорил я наконец с большим трудом.

— Ну, ну,— перебил меня барон,— вы имеете дело не с такой уж опасной пациенткой. Теперь я всецело полагаюсь на ваше искусство. Баронесса увлечена и очарована вашей музыкой, и внезапно лишиться ее этого было бы глупо и жестоко. Продолжайте ваши занятия музыкой. В вечерние часы вы всегда будете желанным гостем в покоях моей жены. Но только переходите постепенно к более сильной музыке, искусно смешивая веселое с серьезным. А главное, повторяйте эту историю об ужасном призраке. Баронесса привыкнет к ней, она забудет, что призрак блуждает в этих стенах, и рассказ будет действовать на нее не сильнее, чем любая волшебная сказка, которую можно обнаружить в каком-нибудь романе или книге о привидениях. Сделайте это, любезный друг!

С этими словами барон меня отпустил и удалился. Я был уничтожен, унижен до глубины души и низведен до роли ничтожного, глупого ребенка. А я-то, безумец, возомнил, что могу возбудить в нем ревность! Он сам посылает меня к Серафине, он видит во мне лишь оружие, которое можно употребить или бросить по своему желанию. За несколько минут до того я боялся барона, в самой глубине моей души таилось сознание вины, но эта вина позволила мне прочувствовать высшую, дивную жизнь, для которой я уже созрел; теперь же все поглотила тьма, и я видел только глупого мальчишку, который в детском самомнении принял бумажную корону, которую он напялил на свою горячую голову, за золотую. Я поспешил к дяде, который меня уже ждал.

— Ну, тетка, куда это ты запропастился? — спросил он, завидев меня.

— Я говорил с бароном, — тихо и поспешно ответил я, не будучи в силах взглянуть на дядю.

— Черт возьми! — воскликнул дядя,— черт возьми, я ведь так и думал! Барон, конечно, вызвал тебя на дуэль?

Громкий смех, которым разразился старик, показал мне, что он, как всегда, видит меня насквозь. Я сцелил зубы и молчал, потому что отлично знал, стоит мне заговорить, как он осыплет меня градом насмешек, уже готовых сорваться с его губ.

Баронесса вышла к столу в изящном наряде, ослепительная белизна которого соперничала с только что выпавшим снегом. Она казалась измученной и напряженной, но когда, заговорив тихо и мелодично, подняла свои темные глаза, из мрачного их огня блеснуло сладостное томление и мимолетный румянец окрасил ее лилейно-бледное лицо. Она была прекрасна как никогда. Кто может предвидеть все глупости и сумасбродства юноши с слишком горячей головой и сердцем? Ту горечь и гнев, которые возбудил во мне барон, я перенес на баронессу. Все казалось мне злой мистификацией, и я хотел доказать, что вполне сохранил рассудок и проницателен сверх всякой меры. Словно капризный ребенок, избегал я баронессы и ускользнул от преследовавшей меня Адельгейды, так что,

как я и хотел, занял место на самом дальнем конце стола, между двумя офицерами, с которыми начал отважно пить. В конце обеда мы усердно чокались и, как бывает со мной при таком настроении, я был необыкновенно весел и шумлив. Слуга принес мне тарелку, на которой лежало несколько конфет, промолвив: "От фрейлейн Адельгейды".

Я взял ее и сейчас же заметил, что на одной из конфет нацарапано серебряным карандашом: "А Серафина?". Кровь закипела в моих жилах. Я взглянул на Адельгейду; она смотрела на меня с весьма хитрым, лукавым видом, взяла свой стакан и слегка кивнула мне. Почти невольно я прошептал: "Серафина", взял свой бокал и залпом осушил его. Взгляд мой был устремлен на баронессу, я заметил, что и она в эту минуту выпила свой стакан и ставила его на стол. Наши глаза встретились, и какой-то злорадный голос шепнул мне на ухо: "Несчастный, ведь она тебя любит!" Один из гостей встал и по северному обычаю провозгласил тост за здоровье хозяйки дома. Стаканы зазвенели в радостном ликовании; восторг и отчаяние боролись в моем сердце, вино жгло меня пламенем, все завертелось вокруг, мне казалось, что я должен у всех на глазах броситься к ее ногам и умереть.

"Что с вами, приятель?" — вопрос моего соседа заставил меня опомниться, однако Серафина исчезла. Обед кончился, я хотел уйти, но Адельгейда задержала меня. Она много говорила — я слушал и не понимал ни слова, она схватила меня за руки и, громко смеясь, кричала мне что-то в ухо; но я, точно пораженный столбняком, оставался нем и неподвижен. Помню только, что наконец машинально взял из рук Адельгейды рюмку ликера и выпил ее, что я очутился один у окна, потом выскочил из залы, сбежал с лестницы и бросился в лес. Снег валил густыми хлопьями, ели стонали, качаясь от ветра; как безумный, носился и скакал я по лесу, дико хохоча и крича:

— Смотрите! Смотрите! Видите, как черт пляшет с мальчишкой, вздумавшим вкусить запрещенного плода!

Неизвестно, чем бы кончилась моя безумная скачка, если бы я вдруг не услышал, как кто-то громко зовет меня по имени. Вьюга меж тем улеглась, из разорванных облаков выглянул ясный месяц, я услышал лай собак и увидел темную фигуру, которая приближалась ко мне. То был старый егерь. — Эге, милый барчук, — сказал он, — да вы заблудились во время метели, а господин стряпчий вас ждут не дождутся.

Я молча пошел за стариком. Дядю я нашел за работой в судейской зале.

— Ты хорошо сделал, что вышел на воздух, — сказал он мне, — тебе надо было хорошенько проветриться. Не пей так много вина, ты для этого слишком молод. Это негоже.

Я ничего не ответил и молча сел за письменный стол.

— Но скажи же мне, милый тезка, что собственно хотел от тебя барон?

Я все рассказал, заключив тем, что не намерен браться за сомнительное лечение, которого ждал от меня барон.

— Да и не придется, — перебил меня старик, — потому что завтра до свету мы отсюда уедем, милый тезка!

Так и случилось, я больше не видел Серафины!

Как только мы приехали в К., старый дядя стал жаловаться, что путешествие было для него как никогда трудным. Его угрюмое молчание, прерываемое по временам вспышками самого скверного расположения духа, указывало на возвращение припадков подагры. Однажды меня спешно вызвали к нему; старик лежал в постели, пораженный ударом, онемевший, в его сведенной судорогой руке было зажато распечатанное письмо. Я узнал почерк управляющего из Р-зиттена, но был так опечален, что не посмел вырвать письмо из рук дяди; я был убежден в его скорой кончине. Но прежде, чем пришел доктор, в его жилах вновь запульсировала кровь, необычайно сильная натура семидесятилетнего старика выстояла, поборов припадок; в тот же день доктор объявил, что он вне опасности.

Зима в том году была непривычно суровой. За нею последовала холодная, хмурая весна, и получилось так, что не столько удар, сколько подагра, обостренная дурным климатом, на долгое время приковала старика к постели. И он решил удалиться от дел. Он передал свои дела другому стряпчему, и таким образом оказались тщетными все мои надежды когда-нибудь снова попасть в Р-зиттен. Старик терпел только мой уход, только я мог приободрить и развеселить его. Но даже в те часы, когда к нему возвращалась прежняя веселость, мы припоминали охотничьи приключения, и я ежеминутно ждал, что зайдет речь о моем геройском подвиге с волком, которого я уложил охотничьим ножом, — он никогда, никогда не упоминал о нашем пребывании в Р-зиттене, и всякий поймет, что я сам, по совершенно естественной робости, остерегался наводить его на эту тему.

Мои печальные заботы и постоянные хлопоты о старике заставили отступить на задний план образ Серафины. Но как только болезнь отступила, я начал все более живо вспоминать то мгновение, пережитое в комнате баронессы, которое одарило меня сияющим светом навсегда зашедшей для меня звезды.

Одно обстоятельство снова вызвало к жизни все пережитые мною страдания и в то же время заставило содрогнуться от ужаса, словно явление из мира духов. Однажды вечером, когда я открыл сумку для писем, которая была со мной в Р-зиттене, из бумаг выпал локон темных волос, завернутый в белую ленту; я тотчас же узнал локон Серафины, но, взглядевшись в ленту, ясно увидел след от капли крови! Быть может, Адельгейда в один из моментов безумного беспамятства, овладевшего мною в последний день пребывания в Р-зиттене, сумела подsunуть мне этот сувенир, но откуда эта капля крови?

Она породила во мне предчувствие чего-то ужасного и превратила этот пасторальный залог в страшное напоминание о страсти, за которую могло быть заплачено драгоценной кровью, исторгнутой из сердца. Это была та самая лента, которая, когда я первый раз сидел с Серафимой, беспечально порхала вокруг меня, и вот теперь темная сила обернула ее роковой приметой. Мальчик не должен играть с оружием, опасности которого он не сознает.

Отшумели весенние грозы, вступило в свои права лето, и если прежде было невыносимо холодно, то теперь, в начале июля, стояла нестерпимая жара. Старик заметно окреп и стал по-прежнему выходить гулять в городской сад. Одним тихим, светлым вечером мы сидели с ним в беседке, обвитой душистым жасмином, старик был необычайно весел и притом без своей саркастической иронии — удивительно кроток и мягкосердечен.

— Тезка,— говорил он,— я не знаю, что это со мной сегодня, как-то необыкновенно приятно и хорошо, чего я давненько не испытывал; всего меня словно пронзает ровная электрическая теплота. Я думаю, это предвещает близкую кончину.

Я старался отвлечь старика от мрачных мыслей.

— Оставь это, тезка,— сказал он,— мне уже недолго осталось, и потому я хочу вернуть тебе один долг. Вспоминаешь ли ты иногда осень, проведенную в Р-зиттене?

Этот вопрос старика подействовал на меня, как удар молнии, но прежде чем я решился ответить, он продолжал:

— Небу угодно было, чтобы ты оказался там необычным образом и против твоей воли заглянул в самые сокровенные тайны этого дома. Теперь пришло время, когда ты должен узнать обо всем. Мы с тобой довольно часто говорили о вещах, которые ты скорее предчувствовал, чем понимал. Природа символически отражает в смене времен года весь цикл человеческой жизни; так говорят все, но я думаю иначе. Весенние туманы заволакивают, летние испарения становятся дымкой, и только чистый осенний эфир ясно рисует нам отдаленный ландшафт, исчезающий, когда настанет час, во мраке зимней ночи. Я полагаю, что только в просветлении старости открывается нам господство неисповедимых сил. Взоры устремляются к обетованной земле, куда начинается странствие после нашей временной смерти. Как ясна для меня теперь таинственная судьба, темное предопределение этого дома, с которым я был связан такими же крепкими узами, какие образует родство. Как четко и строго выстраивается все это перед моими духовными очами! Однако, как бы отчетливо я все ни видел, есть нечто, чего я не могу выразить словами, и ни один человеческий язык не сможет этого сделать. Пусть сердце твое проникнется сознанием, что таинственные отношения, в которые ты осмелился вмешаться, не будучи призванным, могли погубить тебя! Однако — все это уже миновало! Историю Р-зиттенского майората, которую поведал мне тогда мой дядя, я так верно сохранил в своей памяти, что могу повторить ее его словами {он говорил о себе в третьем лице}.

В бурную осеннюю ночь 1760 года всех обитателей Р-зиттена пробудил от глубокого сна страшный удар; казалось, весь громадный замок рушится, превращаясь в груду развалин. В одну минуту все были на ногах, зажгли свечи, и дворецкий замка с потрясенным, мертвенно-бледным лицом отправился осматривать замок, захватив с собой ключи от всех помещений. Велико же было всеобщее удивление, когда, пройдя в гробовой тишине, в которой раздавался визг с трудом отпираемых замков и каждый шаг отдавался жутким эхом, по всем коридорам и залам, обнаружили их неповрежденными. Нигде не было ни малейших следов какого бы то ни было обвала либо разрушения. Мрачное предчувствие охватило старого дворецкого. Он поднялся в большую рыцарскую залу, рядом с которой, в боковом покое, отдыхал обыкновенно барон Родерих фон Р., когда предавался своим астрономическим наблюдениям. Дверца, проделанная между дверьми этого покоя и другого, соседнего с ним, веда — через узкий проход — непосредственно в астрономическую башню. Когда Даниэль (так звали дворецкого) открыл ее, навстречу ему ворвался снежный вихрь и буря со страшным воем и грохотом швырнула в него целые кучи мусора и щебня, так что он в ужасе отпрянул и, уронив подсвечник, отчего все свечи тотчас же погасли, громко воскликнул:

— О, Боже праведный! Барона задавило!

В ту же минуту послышались жалобные причитания, доносившиеся из спальни барона. Там нашел Даниэль остальных слуг, собравшихся вокруг тела их господина. Он сидел в большом, обитом

бархатом кресле, одетый богаче и лучше обыкновенного, на лице его было невозмутимое и торжественное выражение, будто он просто отдыхал после важной работы. Но то была неподвижность смерти. Когда рассвело, увидели, что верхушка башни обвалилась вовнутрь. Большие каменные плиты проломили потолок и пол астрономической обсерватории и вместе с толстыми балками с удвоенной силой обрушились на нижние своды, разрушив часть замковой стены и узкого прохода. Из залы нельзя было ступить ни шагу за дверцу, не подвергаясь опасности провалиться в пропасть глубиной по меньшей мере восемнадцать футов.

Старый барон предвидел час своей кончины и известил об этом своих сыновей. Уже на другой день явился старший сын покойного Вольфганг, барон фон Р., новый владелец майората. Доверяя предчувствию старого отца, он тотчас по получении рокового письма оставил Вену, где находился в это время, и поспешил явиться в Р-зиттен.

Дворецкий обил черной материей большую залу и положил старого барона в том самом платье, в котором его нашли, на великолепной парадной постели, окружив его высокими серебряными подсвечниками с зажженными свечами. Вольфганг безмолвно поднялся по лестнице, вошел в залу и приблизился к телу. Со скрещенными на груди руками, нахмурившись, он окаменело и мрачно смотрел на бледное лицо отца и был подобен статуе — ни одна слеза не выкатилась из его глаз.

Наконец он почти судорожно простер к покойнику руку и глухо пробормотал:

— Зачем планеты заставляли тебя сделать несчастным сына, которого ты любил?

Потом, заложив руки за спину и отступив назад, барон возвел очи горе и проговорил примиренным, смягчившимся голосом:

— Бедный безумный старик! Кончился карнавал с его дурацкими играми! Теперь ты знаешь, что скудно отмеренная нам земная собственность не имеет ничего общего с надзвездным миром. Какой воле, какой силе теперь подвластен ты? — Вольфганг умолк, а затем воскликнул со страстью:

— Нет, ни единой крупинки моего земного счастья, которое ты пробовал уничтожить, не похитит у меня твое упрямство!

С этими словами он вынул из кармана сложенную бумагу и, держа ее двумя пальцами, поднес к горячей свече, стоящей у изголовья усопшего. Бумага, загоревшись, ярко вспыхнула, а когда отблеск пламени запылал на лице мертвеца, мускулы его, казалось, зашевелились, и старик беззвучно вымолвил какие-то слова, так что стоящих поодаль слуг охватил глубокий ужас.

Барон спокойно окончил свое дело и старательно затоптал последние клочки горячей бумаги, упавшие на пол. Потом он бросил на отца последний мрачный взгляд и стремительно вышел из залы.

На следующий день Даниэль рассказал барону об обвале в башне и пространно описал, что произошло в ту ночь, когда почил его достойнейший господин, закончив свое повествование тем, что хорошо было бы немедленно приступить к восстановлению башни, ибо если она еще больше обвалится, то всему замку грозит если не разрушение, то сильное повреждение,

— Восстановить башню? — гневно вскричал барон. — Восстановить башню?! Никогда! Разве ты не замечаешь, старик, — продолжал он уже более спокойно, — что башня не может обрушиться беспричинно? Что ежели мой отец сам захотел уничтожить это проклятое место, где он колдовал по звездам? Что ежели он сам произвел известные приготовления, чтобы, когда сам того пожелает, вызвать обвал башни, уничтожив таким образом все, что в ней находится? Но как бы там ни было, пусть обрушится хоть весь замок, — мне все равно. Неужто ты думаешь, что я поселюсь в этом диковинном совинном гнезде? Нет! Я продолжу дело мудрого предка, который заложил фундамент нового замка в прекрасной долине, вот кто будет для меня примером!

— Так значит, — растерянно промолвил Даниэль, — всем верным старым слугам придется взять страннический посох?

— Разумеется, — отвечал барон, — я не допущу, чтобы мне служили немощные, едва держащиеся на ногах старики, но я никого не прогоню. Вам, верно, понравится хлеб, который вы будете есть из милости, не трудясь.

— Меня, главного дворецкого, оставить без всякого дела! — с горечью воскликнул старый слуга. Тут барон, намеревавшийся удалиться и стоявший к старому дворецкому спиной, вдруг обернулся, весь багровый от гнева, подошел к старику, размахивая сжатым кулаком, и закричал страшным голосом:

— Тебя, старый лицемер, приспешник моего отца во всяких нечестивых делах, которыми вы занимались там, в башне, тебя, который, как вампир, присосался к его сердцу и, быть может, воспользовался безумием старика, чтобы внушить ему адское решение, поставившее меня на край пропасти, — тебя следовало бы вышвырнуть как паршивого пса!

Потрясенный столь ужасными обвинениями, старый слуга упал на колени к ногам барона, и тот, быть может невольно, машинально следуя внушению своей мысли, как это часто бывает в гневе, поднял

правую ногу и так сильно ударил его старика в грудь, что тот с глухим стоном повалился на пол. С трудом поднявшись на ноги и издав странный рыдающий звук, подобный рыку насмерть раненого зверя, он пронизал барона взглядом, горевшим отчаянием и яростью. До кошелька с деньгами, который барон уходя бросил ему, старый дворецкий даже не притронулся.

Между тем явились ближайшие родственники покойного, жившие по соседству; старого барона с большой пышностью перенесли в фамильный склеп, находившийся в церкви Р-зиттена; после того как приглашенные гости разъехались, нового владельца майората, по-видимому, оставило его мрачное настроение, и он не без удовольствия стал распоряжаться в своем новом имении. Вместе с Ф., стряпчим старого барона, которого Вольфганг после первой же беседы облек своим полным доверием, передав ему все дела, он составил полный перечень доходов майората, молодой барон намеревался рассчитать, сколько можно потратить на различные улучшения и на постройку нового замка, Ф. полагал, что старый барон не мог проживать всего годового дохода, а так как в его бумагах нашли только два банковых билета на незначительную сумму, да в железном ларе — не более тысячи талеров, то, вероятно, деньги были где-то спрятаны. А кто же еще мог знать это, как не Даниэль, который со свойственным ему упрямством, быть может, только и ждал, чтобы его спросили. Барон был озабочен тем, что Даниэль, которого он жестоко обидел, не ради корысти — ибо бездетный старик, желавший окончить свои дни в родовом замке Р-зиттена, не нуждался в больших деньгах, — сколько из мести за нанесенное оскорбление, согласится скорее сгноить скрытое сокровище, нежели указать их ему. Он подробно рассказал Ф. об инциденте с дворецким и прибавил, что по многим сведениям, которые до него дошли, Даниэль поддерживал в старом бароне непонятное желание удержать в Р-зиттене своих сыновей. Стряпчий заявил, что это совершеннейшая чушь, ибо во всем свете не было человеческого существа, способного хоть сколько-нибудь изменять, а тем более направлять решения старого барона, и попытался выведать у Даниэля, не укрыты ли деньги в каком-нибудь потайном месте. Но этого не понадобилось, ибо, едва только стряпчий спросил: "Скажи, Даниэль, как это могло случиться, что старый барин оставил так мало денег?" — как тот отозвался с кривой усмешкой:

— Вы подразумеваете, господин стряпчий, те жалкие талеры, что вы нашли в ларце! Да ведь остальное-то хранится в подвале подле опочивальни старого барона. Но самое лучшее, — продолжал он, и улыбка его превратилась в отвратительную гримасу, а глаза загорелись кровавым огнем, — самое лучшее, много тысяч червонцев погребено там, внизу, в развалинах.

Стряпчий тотчас же позвал барона, и все трое отправились в спальню; в одном из углов Даниэль сдвинул панель, под которой оказался замок. Барон алчным взором посмотрел на этот замок и, вытащив из кармана огромную связку громыхающих ключей, стал примерять их к нему. Даниэль в это время стоял выпрямившись и с какой-то презрительной гордостью глядел на барона, согнувшегося, чтобы лучше видеть. Потом он дрожащим голосом проговорил:

— Ежели я собака, милостивый господин барон, то и верность у меня собачья! — с этими словами он протянул барону блестящий стальной ключ, который тот жадно выхватил у него из рук, и без труда отпер им дверь. Они вошли в маленький, низкий подвал, где стоял большой железный сундук с поднятой крышкой. На мешках с монетами лежала дощечка, на которой знакомым, замысловатым почерком старого барона было начертано:

"Сто пятьдесят тысяч имперских талеров в старых фридрихсдорах из доходов майоратного имения Р-зиттен. Сумма эта назначается на постройку замка. Владельцу майората, который наследует мне, надлежит на эти деньги воздвигнуть на самом высоком холме, что к востоку от замковой башни, которую он найдет обвалившейся, высокий маяк на пользу мореплавателей и велеть каждую ночь его зажигать.

Р-зиттен в ночь на Св. Михаила 1760 года.

Родерик, барон фон Р."

Барон один за другим поднимал мешки и бросал их обратно в сундук, наслаждаясь звоном золота. Потом он обернулся к старому дворецкому и поблагодарил его за верность, уверяя, что только клевета была причиной того, что он так дурно с ним обошелся. Старик не только останется в своей прежней должности, пообещал барон, но и получит удвоенное жалованье.

— Я тебе очень обязан; хочешь золота — возьми один из этих мешков, — так заключил свою речь барон, стоя перед стариком с потупленным взором и указывая рукой на сундук.

Лицо старого дворецкого вдруг побагровело, и он издал тот ужасный звук, похожий на стон смертельно раненого зверя, о котором барон рассказывал стряпчему. Последний содрогнулся, ибо ему послышалось, что старик пробормотал сквозь зубы: "Не золото, а кровь!" Барон, погруженный в

созерцание своих сокровищ, ничего не заметил. Даниэль, дрожа, как в лихорадке, всеми членами, подошел к своему господину со склоненной головой и смиренным видом, поцеловал ему руку и сказал плаксивым голосом, проводя рукой по глазам, будто утирая слезы:

— Ах, милостивый барин, на что бездетному старику золото? Что до удвоенного жалования, то я приму его с радостью и буду делать свое дело усердно и преданно.

Барон, не обративший особого внимания на слова дворецкого, захлопнул тяжелую крышку сундука так, что содрогнулся весь подвал, потом запер сундук, спрятал ключи и небрежно бросил:

— Хорошо, хорошо, старик, но ты ведь еще упоминал о золотых монетах, которые должны лежать там, внизу, в обвалившейся башне?

Старик молча подошел к дверце и с трудом ее отпер. Но как только он ее распахнул, в залу ворвалась снежная пороша, влетел испуганный ворон и, каркая, стал биться об окна черными крыльями, а потом, найдя открытую дверь, ринулся в пропасть. Барон ступил в коридор, но, едва заглянув вниз, попятился назад.

— Ужасный вид! Голова кружится!..— пробормотал он и, на мгновение потеряв сознание, упал на руки стряпчего. Но очень быстро пришел в себя и спросил, вперив в дворецкого пронизательный взор:

— А там внизу?

Старик между тем снова запер дверцу и, навалившись на нее всей тяжестью своего тела, пытался повернуть огромный ключ в заржавленном замке. Справившись с этим и вытащив ключ, он повернулся к барону и сказал со странной усмешкой, помахивая большими ключами:

— Да, там, внизу лежат тысячи тысяч: все замечательные инструменты покойного господина,— телескопы, квадранты, глобусы, ночные зеркала,— все превратилось в осколки, раздавленные балками и камнями.

— Но деньги, наличные деньги? — перебил его барон.— Ты говорил про червонцы!

— Я говорил про вещи,— отвечал старик, которые стоили не одну тысячу червонцев!

Более от него ничего нельзя было добиться. Барон, по-видимому, был очень рад, получив средства, в которых нуждался, чтобы осуществить свой заветный замысел,— построить великолепный новый замок. Стряпчий полагал, что покойный подразумевал лишь ремонт или полную перестройку старого здания и что любое новое строение едва ли сможет сравниться с величавыми достоинствами и строгой простотой родового замка; но барон остался при своем мнении, придя к заключению, что речь идет о наказах, не санкционированных учредительным актом, то можно отступить от воли покойного. При этом он дал понять, что считает своим долгом настолько обустроить и украсить свое пребывание в Р-зигтене сообразно климату, почве и месторасположению, чтобы можно было в скором времени ввести сюда как любимую жену существо, во всех отношениях достойное любых жертв.

Таинственность, которой окружал барон свой, быть может, уже втайне заключенный союз, заставила стряпчего прекратить всякие дальнейшие расспросы. Между тем решение барона успокоило его — теперь в его стремлении к богатству он видел уже не алчность, а желание заставить любимую женщину позабыть ее прекрасное отечество, которое она вынуждена будет покинуть. Но все же скупость и стяжательство тоже были присущи барону: роясь в золоте и глядя на старые фридрихсдоры, он не мог удержаться, чтобы не проворчать с досадой:

— Старый плут, верно, не сказал нам о главном богатстве, но будущей весной я велю в моем присутствии разобрать башню.

Явились зодчие, с которыми барон подробно обсуждал, как лучше всего воздвигнуть новое строение. Он отвергал все чертежи, все казалось ему недостаточно богатым и импозантным. Наконец он сам взялся за карандаш, и это увлекательное занятие, рисовавшее его очам светлую картину счастливого будущего, приводило его в отличное расположение духа, порой граничившее с игривостью, которое он умел сообщить и другим. Его щедрость и размах противоречили всякому представлению о скупости. Даниэль, по-видимому, тоже забыл о нанесенной ему обиде. Спокойно и смиренно держался он при бароне, который часто следил за ним недоверчивым взглядом, неотступно думая о сокровищах, погребенных на дне башни. Но все удивлялись тому, что старик, казалось, молодец день ото дня. Быть может, его глубокая скорбь по поводу кончины старого господина, которая подтачивала его силы и здоровье, начала отступать, он стал оправляться от удара; может быть, причиной этого было то, что ему не приходилось, как прежде, проводить на башне холодные бессонные ночи, он ел теперь хорошую еду и пил хорошее вино — как бы то ни было, но только из старика он превратился в сильного мужчину, краснощекого и упитанного, который ходил бодрой поступью и громко смеялся в ответ на шутки.

Веселая жизнь в Р-зиттене была нарушена появлением человека, который, казалось, не должен был вызвать такого резонанса. Это был младший брат Вольфганга, Губерт; при виде его барон смертельно побледнел и громко воскликнул:

— Что тебе здесь надобно, несчастный?

Губерт бросился к брату с объятиями, но тот схватил его и потащил в дальнюю комнату, где они на несколько часов затворились, после чего Губерт вышел с расстроенным лицом и велел подать лошадь. Стряпчий заступил ему дорогу. Тот хотел пройти, но Ф., ведомый предчувствием, что именно сейчас можно положить конец гибельной вражде между двумя братьями, просил его повременить хоть пару часов; тут явился и барон, громко крича:

— Останься, Губерт! Одумайся!

Взгляд Губерта просветлел, он овладел собой и, быстро сбросив на руки стоящих сзади слуг свою роскошную шубу, взял стряпчего под руку и сказал с насмешливой улыбкой:

— Стало быть, владелец майората все же снизошел, чтобы терпеть меня здесь.

Стряпчий полагал, что должно наконец разрешиться печальное недоразумение, питаемое разлукой.

Губерт взял стальные щипцы, стоявшие у камина, и, разбив ими толстое дымящееся полено и поправив огонь, сказал Ф.:

— Вы видите, господин стряпчий, что я добрый человек и гожусь на разные домашние дела, но Вольфганг полон престранных предрассудков и, кроме того, жалкий скряга.

Ф. нашел неудобным вмешиваться в отношения братьев, тем более что лицо Губерта, его поведение и тон ясно выказывали душу, терзаемую всеми возможными страстями.

Чтобы прояснить какое-то обстоятельство, касающееся майората, стряпчий поздно вечером пошел в покои барона. Он застал его в совершеннейшем смятении, меряющим комнату большими шагами с заложеными за спину руками. Увидев стряпчего, барон остановился, схватил его за руки и, мрачно глядя в глаза, сказал прерывающимся голосом:

— Мой брат приехал! Я знаю,— продолжал он, едва Ф. открыл рот, собираясь обратиться с вопросом,— я знаю, что вы намерены сказать. Ах, вам ничего не известно. Вы не знаете, что мой несчастный брат — да, я назову его только несчастным,— как злой дух, всюду стоит на моей дороге и смущает мой покой. Не его заслуга, что я не сделался бесконечно несчастлив,— этого не допустило небо, но с тех пор, как стало известно об учреждении майората, он преследует меня смертельной ненавистью. Он завидует моему состоянию, которое в его руках пошло бы в прахом. Он самый безумный расточитель, какой только есть на этом свете. Его долги намного превышают половину того состояния в Курляндии, которое ему принадлежит, и вот, преследуемый кредиторами, он спешит сюда и кланчит денег.

"А вы, брат, ему отказываете," — хотел перебить его Ф., но барон, выпустив его руки и отступив на шаг, громко и отрывисто воскликнул:

— Не торопитесь! Да, я отказываю! Из доходов майората я не могу и не хочу подарить ни одного талера! Но сперва послушайте, какое предложение я сделал этому безумцу несколько часов назад, и тогда уж судите, следую ли я чувству долга. Вам известно, что имение в Курляндии довольно значительно. Я хотел отказаться от своей половины в пользу его семейства. Губерт женился в Курляндии на красивой, но бедной девушке. Она принесла ему детей и теперь бедствует вместе с ними. Из доходов имения должно было выделить необходимую сумму ему на содержание и постепенно расплачиваться с кредиторами. Но что для него беззаботная, спокойная жизнь? Что ему до жены и детей? Ему нужны наличные, большие деньги, чтобы сорить ими с безумным легкомыслием. Не знаю, какой демон открыл ему тайну о ста пятидесяти тысячах талеров; с присущим ему безрассудством он требует половину этих денег, утверждая, что они не принадлежат к майорату и их следует рассматривать как свободное имущество. Я откажу, я должен отказать ему в этом, но я предчувствую, что он замышляет мою погибель!

Как ни старался Ф. доказать барону, что он предубежден против брата (причем, не будучи посвященным в их отношения, он вынужден был прибегать к расхожим, банальным аргументам), ему это не удалось. Барон уполномочил его переговорить с недобрый и корыстолюбивым Губертом. Ф. сделал это со всевозможной осторожностью и немало обрадовался, когда Губерт наконец объявил:

— Ну так и быть, я принимаю предложение владельца майората, но с условием, что он сейчас же отсчитает мне тысячу фридрихсдоров наличными, иначе я из-за непримиримости кредиторов могу навсегда потерять честь и доброе имя, и пусть позволит мне иногда хоть недолгое время жить в прекрасном Р-зиттене, у моего доброго брата.

— Никогда! — воскликнул барон, когда Ф. передал ему предложение Губерта,— никогда я не позволю ему хоть минуту пробыть в моем доме, когда там будет моя жена! Подите, дорогой друг,

скажите этому возмутителю спокойствия, что он получит две тысячи фридрихсдоров, и не займы, а в виде подарка, только пусть уезжает прочь, прочь отсюда!

Тут Ф. понял, что барон уже женился без ведома отца и что в этом, должно быть, кроется вражда двух братьев. Губерт выслушал стряпчего невозмутимо и гордо, а когда тот кончил, угрюмо сказал:

— Я подумаю, а пока останусь здесь еще на несколько дней.

Ф. постарался доказать недовольному брату, что, отказываясь в его пользу от своего имущества, барон и вправду делает все возможное, чтобы ему помочь, и что его не в чем упрекнуть, хотя и следует признать, что всякое учреждение, которое обеспечивает такие значительные преимущества первенцу и отодвигает других детей на задний план, может быть ненавистным.

Губерт рывком расстегнул свой жилет сверху донизу, как человек, которому не хватает воздуха, заложил одну руку за жабо, а другою уперся в бок, крутанулся на одной ноге и резко воскликнул:

— Ненавистное происходит от ненависти! — потом разразился громким смехом и добавил: — Как милостиво бросает владелец майората свои червонцы бедному нищему!

Ф. понял, что о полном примирении братьев не могло быть и речи.

К досаде барона, Губерт надолго расположился в комнатах, отведенных ему в боковом флигеле замка. Замечали, что он часто и подолгу разговаривает с дворецким и даже ходит с ним охотиться на волков. Вообще же видели его редко, он избегал оставаться наедине с братом, к чему и последний вовсе не стремился.

Ф. чувствовал всю тягость этих отношений, он признавался себе, что какая-то особая неприятная манера, сквозящая во всем, что говорил и делал Губерт, способна омрачить любую радость. Теперь ему стал совершенно понятен ужас, который охватывал барона при виде брата.

Ф. сидел один в судейской зале, обложенный бумагами, когда вошел Губерт. Он был более угрюм и бесстрастен, чем обычно, и сказал почти скорбным голосом:

— Я соглашаюсь на последнее предложение брата, позаботьтесь о том, чтобы я сегодня же получил свои две тысячи фридрихсдоров, ночью я уезжаю верхом, один.

— С деньгами? — спросил Ф.

— Вы правы, — ответил Губерт, — я знаю, что вы хотите сказать — такая тяжесть! Так напишите вексель на Исаака Лазаруса в К. Я отправляюсь туда. Я должен убраться отсюда — старик выпустил всех своих злых духов.

— Вы говорите о своем отце, господин барон? — сурово спросил стряпчий. Губы Губерта задрожали, он ухватился за стул, чтобы не упасть, но, быстро овладев собой, воскликнул:

— Итак, сегодня, господин стряпчий! — и не без труда вышел из залы.

— Он понял, что меня не проведешь и что воля моя тверда и непреклонна, — сказал барон, — выдавая вексель на имя Исаака Лазаруса в К.

Отъезд враждебно настроенного брата снимал с него тяжелое бремя, давно уже не был он так весел, как в тот день за вечерней трапезой. Губерт извинился, что не может присутствовать, и все были этим очень довольны,

Ф. занимал один из дальних покоев, окна которого выходили во двор замка. Ночью он внезапно проснулся, ему показалось, что его разбудил далекий и жалобный стон. Но сколько он ни прислушивался, кругом было тихо, и он решил, что это почудилось ему во сне. Однако какое-то особое чувство тревоги и ужаса овладело им с такой силой, что он не мог оставаться в постели. Он встал и подошел к окну. Через некоторое время отворились ворота замка, из них вышла какая-то фигура с зажженной свечой в руках и проследовала через двор. Ф. узнал старого Даниэля и увидел, как тот открыл конюшню, вошел туда и вскоре вывел оседланную лошадь. Тут из темноты выступила другая фигура, закутанная в шубу и в лисьей шапке. Ф. узнал Губерта, который несколько минут с горячностью беседовал с Даниэлем, а потом удалился. Даниэль отвел лошадь обратно в конюшню, и воротившись через двор той же дорогой, запер замковые ворота.

Губерт собирался уехать, но в последнюю минуту раздумал, это было совершенно очевидно. Ясно было и то, что он находился в каком-то опасном стоворе со старым дворецким. Ф. едва мог дожидаться утра, чтобы сообщить барону о событиях этой ночи. Следовало быть во всеоружии против замыслов коварного Губерта, о которых, как теперь был уверен Ф., свидетельствовало и его вчерашнее странное поведение.

На другое утро, в тот час, когда барон обыкновенно вставал, стряпчий услышал беготню, хлопанье дверей, неясные голоса и крики. Выйдя из своей комнаты, он наткнулся на слуг, которые, не обращая на него внимания, метались вверх и вниз по лестницам с помертвевшими лицами. Наконец он узнал, что барон пропал и его уже несколько часов не могут найти. Он лег в постель в присутствии егеря, а потом, вероятно, встал и вышел из комнаты, надев халат и туфли с подсвечником в руках, поскольку всех этих вещей не доставало в его спальне. Охваченный мрачным предчувствием, Ф. торопливо на-

правился в роковую залу, боковой покой которой Вольфганг, как и его отец, избрал своей опочивальней. Дверь, что вела в башню, была распахнута настежь, и стряпчий с ужасом воскликнул: "Он лежит внизу, он разбился!" Так оно и было. Ночью падал снег, и теперь можно было отчетливо рассмотреть только торчавшую из камней окоченевшую руку несчастного. Прошло много времени, прежде чем рабочим удалось с опасностью для жизни спуститься по связанным лестницам вниз и поднять на веревках тело. В последней судороге барон крепко схватился за серебряный подсвечник, и рука, которая сжимала его, была единственной неповрежденной частью его тела, страшно изуродованного при падении на острые камни.

Когда тело барона принесли в залу и положили на широкий стол, на том же самом месте, где всего несколько недель назад лежал старый Родерих, в залу с непередаваемым отчаянием на лице ворвался Губерт. Потрясенный ужасным зрелищем, он возопил рыдая! "Брат! Бедный мой брат! Нет, не об этом молил я демонов, во власти которых оказался!" Стряпчий содрогнулся от этих роковых слов; ему показалось, что он должен немедленно наброситься на Губерта как на братоубийцу. Однако Губерт без чувств рухнул на пол; его перенесли в постель, и он довольно скоро оправился, как только ему дали укрепляющее средство. Очень бледный, с мрачным, угасшим взглядом вошел он в комнату Ф., медленно опустился в кресло, поскольку не мог удержаться на ногах от слабости, и медленно вымолвил:

— Я желал смерти моего брата, ибо отец своим неразумным решением оставил ему лучшую часть наследства. Теперь, когда он столь ужасным образом нашел свою смерть, я стал владельцем майората, но мое сердце разбито, я никогда не буду счастлив. Оставляю вас в вашей должности, вы получите самые широкие полномочия касательно управления майоратом; я же не могу здесь оставаться!

Губерт вышел из комнаты и уясе через два часа был на пути в К.

По-видимому, несчастный Вольфганг встал в ту ночь для того, чтобы пойти в смежный покой, где находилась библиотека. Спросонок он ошибся дверью, открыл дверцу, ведущую в башню, сделал шаг вперед — и полетел в бездну. Это объяснение было, однако, довольно уязвимо. Ежели барон не мог уснуть и хотел взять в библиотеке книгу для чтения, то о какой сонливости могла идти речь, а ведь только в этом случае можно было ошибиться дверью. К тому же дверца, ведущая в башню, была крепко заперта и отпереть ее было совсем не просто. Все эти соображения Ф. изложил перед собравшимися слугами. Выслушав его, егерь барона Франц заявил:

— Эх, господин стряпчий, совсем не так это было!

— А как же тогда? — спросил Ф.

Франц, честный и верный мальи, готовый умереть за своего господина, не пожелал говорить при всех и дал понять, что поведает все лишь стряпчому.

Ф. узнал от Франца, что барон часто толковал ему о сокровищах, погребенных под развалинами, и нередко, точно одержимый злым духом, он вставал по ночам, отворял дверь, ключ от которой дал ему Даниэль, и жадно смотрел в пропасть, будто сияясь разглядеть там мнимые сокровища. Должно быть, и в ту злополучную ночь, после того как егерь ушел от него, барон сделал еще одну попытку заглянуть в башню, и там приключилось с ним внезапное головокружение, которое и стало для него роковым. Даниэль, который, по-видимому, тоже был очень потрясен страшной смертью барона, предложил замуровать эту погибельную дверь, что и было немедленно сделано. Барон Губерт фон Р., новый владелец майората, возвратился в Курляндию и в Р-зиттене более не показывался, Ф. получил все полномочия, необходимые для неограниченного управления майоратом. Постройка нового замка не состоялась, старый же по возможности был приведен в пристойный вид. Много лет спустя Губерт в первый раз после смерти барона поздней осенью появился в Р-зиттене, провел несколько дней, запершись в своих покоях со стряпчим, и снова отбыл в Курляндию. Проезжая через К., он оставил в тамошнем присутственном месте свое завещание.

Во время своего пребывания в Р-зиттене барон Губерт, совершенно пережившийся, часто говорил о предчувствии близкой смерти. Это предчувствие и вправду сбылось — год спустя он умер. Вскоре приехал из Курляндии его сын, тоже Губерт, чтобы вступить во владение майоратом. По-видимому, юнец унаследовал все дурные качества своих предков: с первых же минут своего пребывания в Р-зиттене он выказал высокомерие, надменность, вспыльчивость и алчность. Он вознамерился немедленно изменить все, что счел неудобным или неприглядным; прогнал повара и хотел прибить кучера, что, однако, ему не удалось, ибо этот здоровенный мальи дал достойный отпор; словом, он всю входил в роль сурового владельца майората, когда Ф. весьма твердо и решительно воспротивился этому своеволию, заявив, что ни один стул не будет сдвинут с места и ни одна кошка не оставит этого дома до тех пор, пока не вскрыют завещания его отца.

— Вы смеете мне, владельцу майората.., — начал было молодой наследник, но Ф. не дал раскиснувшемуся юноше докончить свой выпад и, смерив его проницательным взглядом, проговорил:

— Не торопитесь, господин барон! Вы не можете вступить в управление, прежде чем будет оглашено завещание; а до тех пор распоряжаюсь здесь я, только я, и сумею ответить насилием на насилие. Напомню, что в силу своих полномочий, как душеприказчик вашего отца, и в силу постановления суда я имею право запретить вам оставаться в Р-зиттене, советую вам во избежание неприятностей спокойно вернуться в К.

Строгий, не терпящий возражений тон стряпчего придавал его словам надлежащую значительность, и молодой барон, уже приведший в боевую готовность свои острые рожки, понял, что оружие его слишком слабо для такой твердыни, и почел за лучшее прикрыть позор своего отступления насмешливым хохотом.

Прошло три месяца, и настал день, когда, согласно воле покойного, надлежало вскрыть завещание. Кроме представителей судебного ведомства, барона и Ф. в зале суда находился еще молодой человек весьма благородного вида, которого привел с собой Ф.; его принимали за писца стряпчего, поскольку из-под борта его сюртука торчали сложенные листы бумаги. Губерт, по обыкновению, едва взглянул на него и нетерпеливо потребовал, чтобы поскорее покончили с этой скучной и ненужной церемонией, не тратя времени на словоблудие и бумагомаранье. Он вообще не понимал, причем тут завещание, по крайней мере касательно наследования майората, а ежели речь идет о каком-то особом предписании, то это будет зависеть от его собственного решения, принять оные во внимание или нет. Барон удостоверил руку и печать покойного отца и, бросив на бумагу мимолетный угрюмый взгляд, отвернулся; в то время как судейский писарь стал читать вслух завещание, он равнодушно смотрел в окно, небрежно свесив правую руку через спинку стула и барабаня левой по зеленому сукну судейского стола.

После краткого вступления покойный барон Губерт фон Р. заявлял, что он никогда не был настоящим владельцем майората, а только управлял им от имени единственного сына покойного барона Вольфганга фон Р., носившего, как и его дед, имя Родерих; ему-то после смерти отца и должен был по праву наследования достаться майорат. Подробные счета доходов, расходов и наличного состояния найдут в оставшихся бумагах. Барон Вольфганг фон Р., как сообщал Губерт в своем завещании, во время путешествия познакомился в Женеве с девицей Юлией де Сен-Валь и почувствовал к ней такую сильную склонность, что решил никогда больше с нею не расставаться. Она была очень бедна, а семья ее принадлежала к знатному, однако не блестящему роду, Уже одно это не оставляло никаких надежд получить согласие старого Родериха, все стремления которого были направлены на то, чтобы как можно более возвысить владельцев майората. Он решился, однако, в письме из Парижа сообщить отцу о своей склонности, и случилось то, чего и следовало ожидать: старый барон решительно объявил, что он сам уже выбрал невесту для владельца майората и ни о какой другой не может быть и речи. Вольфганг, который должен был отбыть в Англию, вернулся в Женеву под именем купца Борна и обвенчался с Юлией; по прошествии года она родила ему сына, ставшего после смерти Вольфганга владельцем майората. Приведено было много причин тому, почему Губерт, давно обо всем знавший, так долго молчал и почитался владельцем майората. Все они основывались на его давнишнем уговоре с Вольфгангом, но выглядели недостаточными и надуманными. Словно пораженный громом, уставился барон на писца, который монотонным и скрипучим голосом излагал все эти несчастья. Когда тот кончил, Ф. поднялся и, взяв за руку молодого человека, которого привел с собою, сказал, поклонившись присутствующим:

— Честь имею, господа, представить вам барона Родериха фон Р., наследственного владельца Р-зиттена!

Барон Губерт с нескрываемой яростью в горящих глазах взглянул на юношу, свалившегося с неба для того, чтобы отнять у него богатый майорат и половину имущества в Курляндии, погрозил ему сжатым кулаком и, будучи не в силах вымолвить ни единого слова, выбежал из залы. По просьбе судебных лиц барон Родерих представил письменные свидетельства, которые должны были удостоверить его как лицо, за которое он себя выдавал. Он предъявил выписку из регистров церкви, где венчался его отец, в коей значилось, что в такой-то и такой-то день купец Вольфганг Бори, уроженец К., в присутствии поименованных лиц сочетался браком с благословения церкви с девицей Юлией де Сен-Валь. Было у него и свидетельство о крещении {он был крещен в Женеве как ребенок, родившийся в законном браке от купца Борна и его супруги Юлии, урожденной де Сен-Валь}, и письма его отца к его давно уже умершей матери, которые все были подписаны одной только буквою В.

Ф. с озабоченным видом просмотрел все эти бумаги и, вновь сложив их, сказал не без сомнения: "Ну, Бог даст, получится!"

На следующий же день барон Губерт фон Р. прислал через адвоката, которого объявил своим поверенным, заявление, в котором требовал передачи ему Р-зиттенского майората.

— Само собой разумеется,— говорил адвокат,— что ни посредством завещания, ни на каких-либо иных основаниях покойный барон Губерт фон Р. не имел права распоряжаться майоратом.

Оглашенное завещание, следовательно, есть не что иное, как писанное и юридически оформленное свидетельство, согласно которому барон Вольфганг фон Р. якобы передал майорат своему сыну; свидетельство это имеет не большее доказательственное значение, нежели всякое другое, а посему не может утвердить в правах гипотетического барона Родериха фон Р. Дело претендента выяснить посредством судебного процесса свое наследственное право, которое мы решительно опровергаем, и потребовать передачи майората, ныне принадлежащего согласно порядку наследования барону Губерту фон Р. По смерти отца владение переходит непосредственно к сыну, и это не нуждается ни в каких разъяснениях, майорат нельзя отобрать, и, значит, нынешний владелец майората никоим образом не может быть лишен своих законных прав.

Совершенно не важно, по каким причинам покойный объявил другого наследника майората; следует только заметить, что, как видно из оставшихся после него бумаг, он и сам имел в Швейцарии любовную связь, так что, может быть, мнимый сын брата — на самом деле его собственный сын, рожденный незаконным образом, коему он в припадке раскаяния решил завещать богатый майорат. Как ни казались истинными обстоятельства, изложенные в завещании, как ни возмутила судей версия, в которой сын не постеснялся обвинить покойного отца в преступлении, все же дело в том виде, как оно было представлено, выглядело законным, и только из-за неутомимых хлопот Ф., его твердых уверений, что вскоре будут предъявлены самые неопровержимые доказательства законности притязаний барона Родериха фон Р., удалось добиться отсрочки передачи майората и окончательного решения вопроса.

Ф. слишком ясно видел, как трудно ему будет исполнить свое обещание. Он перерыл все бумаги старого Родериха, но не обнаружил никаких следов письма или упоминаний об отношениях Вольфганга с девицей де Сен-Валь. В раздумье сидел он однажды спальне старого Родериха, где уже все переделал, и составлял послание к женевскому нотариусу, которого знал как деятельного и проницательного человека,— стряпчий надеялся, что он сможет доставить ему некоторые сведения, могущие пролить свет на дело молодого барона. Наступила полночь, полная луна ярко освещала соседнюю залу, дверь в которую была открыта настежь. Внезапно Ф. почудилось, что кто-то медленно и тяжело поднимается по лестнице, гремя ключами. Он насторожился, встал, вошел в залу и явственно услышал, что кто-то идет по коридору, приближаясь к дверям залы. Вскоре дверь отворилась и в залу медленно вошел человек со смертельно бледным, искаженным странной гримасой лицом, в ночной сорочке; в одной руке он держал подсвечник с зажженными свечами, а в другой — большую связку ключей.

Стряпчий узнал дворецкого и хотел было спросить, что он делает в такую позднюю пору, но тут от всего существа старика, от его окаменевшего мертвенного лица повеяло, пронизывая ледяным холодом, чем-то призрачным и жутким. Стряпчий понял, что перед ним лунатик. Размеренным шагом старик прошествовал через залу прямо к замурованной двери, которая когда-то вела в башню. Подойдя к ней, он остановился, и из его груди вырвался рыдающий стон, столь зловеще отозвавшийся во всей зале, что Ф. содрогнулся от ужаса. Потом, поставив подсвечник на пол и повесив ключи на пояс, Даниэль принялся обеими руками царапать стену, так что скоро у него из-под ногтей брызнула кровь; при этом он стонал и охал так, словно его терзала невыразимая, смертная мука. Он то прикладывал ухо к стене, будто к чему-то прислушиваясь, то махал рукой, словно успокаивал кого-то, а потом нагнулся, взял с пола подсвечник и тихими, размеренными шагами пошел назад к двери. Ф. осторожно последовал за ним со свечой в руках. Они спустились по лестнице, старый дворецкий отпер главную дверь замка, Ф. ловко проскользнул за ним; теперь старик отправился на конюшню; здесь он, к величайшему изумлению стряпчего, поставил подсвечник так искусно, что все здание было достаточно хорошо освещено, безо всякой опасности вызвать пожар, достал седло и уздечку, отвязал одну из лошадей и заботливо оседлал ее, затянув подпругу и укрепив стремяна. Расправив челку лошади, он взял ее под уздцы и, прищелкивая языком, похлопывая ее по шее, вывел из конюшни. На дворе он постоял несколько секунд с таким видом, как будто выслушивал чьи-то приказания и кивком головы обещал их исполнить. Потом он отвел лошадь обратно в конюшню, расседлал ее и привязал к стойлу. Затем взял подсвечник, запер конюшню, возвратился в замок и наконец исчез в своей комнате, которую тщательно запер.

Это происшествие потрясло стряпчего до глубины души; страшная догадка пронзила его, как черный призрак ада, и более его не покидала. Озабоченный опасным положением дел молодого барона Родериха, он надеялся воспользоваться ради его блага тем, чему был свидетелем. На другой день, когда уже близились сумерки, Даниэль пришел в его комнату с каким-то вопросом по хозяйству. Стряпчий взял его за руку и, усадив в кресло, мягко заговорил:

— Слушай-ка, дружище Даниэль, я давно хотел тебя спросить, что ты думаешь обо всей этой путанице, в которую вовлекло нас это странное завещание Губерта? Не думаешь ли ты, что этот молодой человек — действительно сын Вольфганга, рожденный в законном браке?

Перегнувшись через спинку стула и избегая пристального взгляда Ф., старик угрюмо ответил:

— Гм! Может, так, а может, и не так. Мне-то что за дело, кто будет здесь хозяином!

— А я так рассуждаю,— продолжал Ф., придвинувшись к старику и кладя ему руку на плечо,— что поскольку старый барон имел к тебе большое доверие, то он, верно, рассказывал тебе о своих сыновьях. Упоминал ли он о браке, в котором вступил Вольфганг против его воли?

— Не припомню,— отвечал старик, зевая во весь рот.

— Тебя клонит в сон, старина,— сказал стряпчий,— ты, должно быть, плохо спал эту ночь?

— Не знаю,— проворчал старик.— Пойду, однако, распоряджусь, чтобы накрывали к ужину.

Он с трудом поднялся со стула, распрямил согнутую спину и опять зевнул еще громче.

— Погоди, старина! — воскликнул Ф., беря его за руку и принуждая сесть, но дворецкий, упершись обеими руками в рабочий стол, остался стоять и, наклонившись к стряпчему, угрюмо спросил:

— Ну, какое мне дело до завещания? Что мне до спора о майорате?

— Об этом мы больше не будем говорить,— перебил его Ф.,— давай побеседуем о чем-нибудь другом, любезный мой Даниэль! Ты не в духе, зеваешь, все это указывает на особое возбуждение, и я полагаю, что прошедшей ночью с тобой действительно кое-что приключилось.

— Что было со мной в эту ночь? — спросил старик, застывая в своей позе.

— Когда я вчера в полночь,— продолжал Ф.,— сидел в опочивальне покойного барона, ты вошел в залу, какой-то безжизненный и бледный, направился к замурованной стене и стал царапать ее обеими руками и невыносимо стонать. Так ты лунатик, Даниэль?

Старик повалился на стул, который быстро подставил ему Ф. Он не произнес ни звука, в темноте нельзя было рассмотреть его лица. Стряпчий заметил только, что он тяжело, прерывисто дышит и зубы у него стучат.

— Да, — начал Ф. после недолгого молчания,— с лунатиками случаются странные вещи. На другой день они ничего не помнят о том состоянии, в котором находились, и обо всем, что они проделывали как бы наяву. Даниэль молчал.

— Мне уже приходилось видеть подобное,— продолжал стряпчий.— У меня был друг, который так же, как и ты, в каждое полнолуние совершал ночные прогулки. Часто он даже садился за стол и начинал писать письма. Однако ж всего удивительнее было то, что, когда я начинал шептать ему на ухо, мне быстро удавалось заставить его говорить. Он разумно отвечал на все вопросы и далее то, что он изо всех сил пытался скрыть, если б контролировал себя, теперь невольно вылетало из его уст, словно он не мог противостоять той силе, которая на него воздействовала. Черт возьми! Я думаю, что если лунатик скрывает какой-нибудь старый грех, то об этом можно дознаться, расспросив его, когда он находится в этом особом состоянии... Благо тому, у кого совесть чиста, как у нас с тобой, добрый мой Даниэль; мы можем позволить себе быть лунатиками, и никто не выведает у нас ни о каком преступлении!.. Но, послушай, Даниэль, ты, верно, хотел попасть в астрономическую башню, когда так ужасно царапался в замурованную дверь? Должно быть, вспомнил о ваших занятиях со старым Родерихом? Вот я у тебя скоро про это и спрошу!

По мере того как стряпчий все это говорил, дворецкий дрожал все сильнее и сильнее, потом все тело его забилось в ужасных судорогах и он стал визгливо бормотать нечто нечленораздельное, Ф. позвал слуг. Принесли свечи, старик не успокаивался, его подняли, словно непроизвольно двигающийся автомат, и снесли в постель. Этот тяжелый припадок длился около часа, после чего старый дворецкий впал в глубокий обморок, похожий на сон. Очнувшись, он потребовал вина и, когда оно было принесено, выпроводил слугу, который должен был сидеть подле него, и заперся, по своему обыкновению, у себя в комнате. Ф. и в самом деле решил предпринять попытку, о которой говорил Даниэлю, хотя и вынужден был признаться себе, что, во-первых, Даниэль, может быть только теперь узнавший о своем лунатизме, сделает все, чтобы этого избежать, а во-вторых, что на признаниях, сделанных в подобном состоянии, основываться решительно нельзя.

Несмотря на это, стряпчий около полуночи отправился в залу, надеясь, что Даниэль, как бывает при этой болезни, будет действовать безотчетно помимо своей воли. В полночь во дворе поднялся шум. Ф. ясно слышал, как со стуком распахнулось окно; он сбежал вниз, и навстречу ему повалил

удушливый дым, который, как он вскоре заметил, шел из комнаты дворецкого; дверь в эту комнату была отворена. Самого старика только что в полубессознательном состоянии вынесли оттуда и положили в постель в другом покое. Слуги рассказывали, что и полночь один из них был разбужен странным стуком; он решил, что со стариком что-то случилось, и встал, чтобы поспешить ему на помощь, но тут сторож на дворе закричал: "Пожар! Пожар! Горит в комнате господина дворецкого!" На этот крик сбежалось несколько слуг, однако все усилия отворить дверь в комнату Даниэля оказались тщетными. Они бросились во двор, и оказалось, что решительный сторож уже разбил окно злополучной комнаты, находившейся в нижнем этаже, и сорвал горящие занавески, после чего, вылив два ведра воды, потушил пожар. Дворецкого нашли лежащим на полу посреди комнаты в глубоком обмороке. Он крепко сжимал в руке подсвечник, от зажженных свечей которого загорелись занавески, произведя весь этот переполох. Упавшие клочья горящих занавесок опалили брови и часть волос старика. Если бы сторож не заметил огня, дворецкий мог бы сгореть. Слуги немало удивились, когда обнаружили, что дверь комнаты заперта изнутри двумя засовами, которых накануне еще не было. Ф. понял, что старик хотел воспрепятствовать самому себе и не допустить себя выйти из комнаты; противостоять же слепому влечению он не мог. После этого старый дворецкий тяжело заболел: он не говорил, почти ничего не ел и, точно угнетаемый какой-то страшной мыслью, смотрел перед собой остановившимся взглядом, в котором отражалась смерть. Стряпчий думал, что он уже не встанет. Все, что можно было сделать для молодого Родериха, Ф. сделал, теперь оставалось ожидать последствий, и он собрался возвратиться в К. Отъезд был назначен на следующее утро. Поздно вечером Ф. упаковал свои бумаги и вдруг наткнулся на небольшой пакет, адресованный ему бароном Губертом фон Р., с печатью и надписью: "Прочесть после вскрытия моего завещания". Было совершенно непонятно, как он мог не заметить этого пакета ранее. Стряпчий уже собирался его распечатать, как дверь отворилась и в комнату вошел Даниэль своей тихой, призрачной походкой. Он положил на письменный стол черную папку, которую держал под мышкой, потом с тяжким, горестным вздохом упал на колени и, судорожно схватив Ф. за обе руки, глухо проговорил: — Не хочу я умереть на эшафоте. Пусть суд свершится там, наверху! — потом, задыхаясь, поднялся и вышел из комнаты.

Ф. всю ночь читал бумаги, находившиеся в черной папке и пакете Губерта. Те и другие были тесно связаны между собой и определяли меры, которые следовало предпринять. Как только Ф. приехал в К., он отправился к барону Губерту фон Р., который принял его с грубой надменностью. Следствием переговоров, начавшихся в полдень и продолжавшихся без перерыва до поздней ночи, явилось то, что на другой день барон объявил перед судом, что согласно завещанию своего отца он признает претендента на майорат сыном старшего сына барона Родериха фон Р., Вольфганга фон Р., сочетавшегося законным браком с девицей Юлией де Сен-Валь, признавая его тем самым и законным наследником майората. Когда Губерт вышел из зала суда, у дверей уже стоял его экипаж, запряженный почтовыми лошадьми, и он поспешно уехал, оставив в К. мать и сестру и написав им, что, быть может, они больше никогда его не увидят.

Юный Родерих был немало удивлен обороту, который приняло дело, и искал у Ф. объяснений, каким чудом это случилось, какая таинственная сила тут замешана. Ф. успокаивал его относительно будущего, тем более что пока передача майората еще не могла состояться, ибо суд, неудовольствованный заявлением Губерта, требовал удостоверения личности Родериха, а также доказательств законности его претензий. Ф. предложил барону поселиться в Р-зиттене, прибавив, что мать и сестра Губерта, поставленные в затруднительное положение его поспешным отъездом, предпочли бы спокойную жизнь в родовом замке шумной и дорогой городской жизни. Восторг, с которым Родерих ухватился за мысль хоть некоторое время прожить под одной кровлей с баронессой и ее дочерью, показал, какое глубокое впечатление произвела на него прелестная, грациозная Серафина. И действительно, барон так хорошо воспользовался своим пребыванием в Р-зиттене, что через несколько недель приобрел взаимную любовь Серафины и получил согласие матери на этот союз. Ф. находил, что все это свершилось слишком быстро, ибо признание Родериха законным владельцем майората все еще оставалось под сомнением. Идиллическую жизнь в замке нарушили письма из Курляндии. Губерт совсем не показывался в имениях, он отправился прямо в Петербург, где поступил на военную службу и был теперь в войске, движущемся в Персию, с которой Россия в то время воевала. Это обстоятельство делало необходимым отъезд баронессы и ее дочери в имения, где царил полный хаос. Родерих, считавший себя уже сыном баронессы, не упустил случая сопровождать свою возлюбленную; Ф. тоже вернулся в К., и таким образом замок снова опустел.

Болезнь дворецкого все более усиливалась, так что он уже не надеялся на выздоровление, и его должность передали старому егерю Францу, верному слуге Вольфганга. После долгих проволочек Ф. получил наконец из Швейцарии известия, которых он ждал с таким нетерпением. Священник,

венчавший Вольфганга и крестивший Родериха, давно уже умер, но в церковной книге нашли сделанную его рукой запись, гласившую, что тот, кого он под именем Борна сочел законным браком с девицей Юлией де Сен-Валь, открыл ему свое настоящее имя — барон Вольфганг фон Р., старший сын барона Родериха фон Р. из Р-зиттена. Кроме того, нашлись еще два свидетеля, присутствовавших при венчании, — женеvский купец и старый французский капитан, переселившийся в Лион, которым Вольфганг также представился своим именем; их клятвенные показания скрепили запись в церковной книге.

Имея на руках бумаги, составленные по всей форме, Ф. представил полные доказательства законности прав своего доверителя, и теперь ничто уже не мешало передаче майората, что и состоялось ближайшей осенью. Губерт был убит в первом же сражении, его постигла участь младшего брата, который также пал на войне за год до смерти их отца; таким образом курляндские имения перешли к баронессе Серафине фон Р. и составили прекрасное приданое для безмерно счастливого Родериха. Уже наступил ноябрь, когда баронесса и Родерих со своей невестой приехали в Р-зиттен. Состоялась передача майората, а затем и бракосочетание Родериха и Серафины. После нескольких недель, прошедших в шумных увеселениях, пресытившиеся гости стали покидать замок к великому удовольствию стряпчего, не желавшего уехать из Р-зиттена, не дав молодому владельцу майората подробных указаний относительно всех дел, касающихся его новых владений. Дядя Родериха с величайшей точностью вел счет доходам и расходам, так что, хотя Родерих получал ежегодно на свое содержание лишь небольшую сумму, остатки доходов составили значительный прирост к наличному капиталу, оставшемуся после старого барона. Только первые три года Губерт употреблял доходы майората на свои нужды, причем считал себя должником и обязался выплатить долг из причитавшейся ему части курляндских имений.

С тех пор как Даниэль явился перед ним в своем призрачно-лунатическом состоянии, стряпчий занял покой старого Родериха, желая до конца выяснить то, что Даниэль потом добровольно ему открыл. Так вышло, что эта комната и смежная с ней большая зала стали местом, где барон и Ф. занимались делами. Однажды они оба сидели за большим столом перед ярко пылавшим камином. Ф. отмечал суммы, подсчитывая богатства владельца майората, а тот пересматривал счетную книгу и важные документы. Они не слышали глухого шума моря, тревожных криков чаек, которые предвещали бурю, стуча крыльями в окна, не заметили и саму бурю, разразившуюся в полночь, дикий рев которой проник в замок, так что во всех каминных трубах и узких проходах, во всех углах начало свистеть и завывать. Наконец, после жуткого порыва ветра, от которого сотряслось все здание, залу вдруг озарило мрачное сияние полной луны.

— Скверная погода! — воскликнул Ф. Барон, погруженный в мысли о доставшемся ему богатстве, равнодушно отозвался, с довольной улыбкой переверачивая страницу в записях доходов: — Да, сильная буря!

Но как же страшно потрясло его прикосновение железной руки страха, когда дверь залы внезапно отворилась и показалась бледная, призрачная фигура с лицом мертвеца. Это был Даниэль, которого Ф., как и все, считал неспособным пошевелить ни одним членом, так как он лежал в беспмятстве, пораженный тяжкой болезнью; теперь же его опять настиг лунатизм, и он начал бродить по ночам. Безмолвно смотрел барон на старика, но когда тот начал с ужасающими вздохами, полными смертной муки, царапать стену, его охватил глубокий ужас. Бледный как смерть, вскочил он с места, подошел к старику и воскликнул так громко, что его голос эхом прокатился по всей зале:

— Даниэль! Даниэль! Что делаешь ты здесь в такой час?

Тут старик издал тот самый страшный, рыдающий вой, подобный реву насмерть раненного зверя, как и тогда, когда Вольфганг предложил ему золото за его верность, и рухнул на пол. Ф. позвал слуг, старика подняли, но все попытки вернуть его к жизни были тщетны. Барон был в отчаянии:

— Боже мой! Боже мой! Разве я не слышал, что лунатик может мгновенно умереть, если окликнуть его по имени?! О, я несчастный! Я убил этого бедного старика! Теперь всю свою жизнь я не буду знать покоя!

Когда слуги унесли тело и зала опустела, Ф. взял все еще причитавшего и обвинявшего себя барона за руку в глубоком молчании подвел к замурованной двери и сказал:

— Тот, кто упал здесь мертвым к вашим ногам, барон Родерих, был проклятый убийца вашего отца!

Барон смотрел на Ф. так, словно пред ним предстали духи ада. Стряпчий продолжал:

— Настало время открыть вам ужасную тайну, тяготевшую над этим человеком. Всевышний предначертал сыну отомстить убийце отца. Ваши слова, громом поразившие страшного лунатика, были последними, что произнес ваш несчастный отец!

Весь дрожа, не в силах вымолвить ни слова, барон сел рядом с Ф. у камина. Стряпчий начал свой рассказ с содержания бумаги, оставленной ему Губертом, которую он должен был распечатать только

после вскрытия завещания. В выражениях, свидетельствующих о глубочайшем раскаянии, Губерт сознавался в непримиримой ненависти к старшему брату, которая зародилась в нем с той минуты, когда старый барон Родерих учредил майорат. У него было отнято всякое оружие, ибо если бы ему и удалось коварно поссорить отца с сыном, это ни к чему бы не привело, поскольку Родерих не мог лишить старшего сына права первородства, да он бы, следуя своим принципам, никогда бы так не поступил, даже если бы его сердце и отворотилось от сына. Только когда в Женеве между Вольфгангом и Юлией де Сен-Валь завязались любовные отношения, Губерт узрел возможность погубить брата. И, вступив в сговор с Даниэлем, хотел мошенническим образом принудить старого барона к решениям, которые должны были привести его старшего сына в отчаяние. Он знал, что, по мнению старого барона Родериха, только союз с одним из старейших родов в его отечестве мог навеки упрочить блеск майората. Старик прочел об этом союзе по звездам и считал, что всякое дерзкое нарушение комбинаций светил могло навлечь гибель на учрежденный майорат. Союз Вольфганга с Юлией представлялся старику преступным посягательством на решение силы, которая помогала ему в его земных делах, и всякая попытка погубить Юлию, противящуюся этой силе, как демоническому началу, казалась ему оправданной. Губерт знал о безумной любви Вольфганга к Юлии; утрата ее сделала бы его несчастным, быть может, даже убила бы, но младший сын стал деятельным помощником в планах отца, тем более что сам чувствовал к Юлии преступную склонность и надеялся отвоевать ее для себя. Небу угодно было, чтобы самые ядовитые козни разбились о решимость Вольфганга, и последнему удалось даже обмануть брата. Свершившийся брак Вольфганга и рождение его сына остались для Губерта тайной. Вместе с предчувствием близкой смерти старого Родериха стала преследовать мысль, что Вольфганг женился на враждебной ему Юлии. В письме, где он приказывал сыну в назначенный день явиться в Р-зиттен, чтобы вступить во владение майоратом, он давал слово, что проклянет его, если он не расторгнет недостойный брак. Это письмо Вольфганг сжег у тела отца.

Губерту старик написал, что Вольфганг женился на Юлии, но что он разорвет этот союз. Губерт счел это сумасбродной выдумкой старого отца, однако немало испугался, когда сам Вольфганг не только подтвердил подозрения отца, но еще и прибавил, что Юлия родила ему сына и что в скором времени он обрадует свою супругу, до сих пор считавшую его купцом Борном из М., известием о своем высоком происхождении и богатстве. Вольфганг собирался в Женеву, чтобы привезти любимую жену. Но прежде чем он смог исполнить свое намерение, его настигла смерть. Губерт умолчал обо всем, что ему было известно о существовании рожденного от брака с Юлией ребенка, и таким образом присвоил себе майорат, по праву принадлежавший сыну Вольфганга. Однако прошло всего несколько лет, и он почувствовал глубокое раскаяние. Судьба наказала его за его вину ненавистью, которая все сильнее разгоралась между двумя его сыновьями.

"Ты жалкий, несчастный нищий,— сказал старший, двенадцатилетний мальчик своему младшему брату,— когда умрет отец, я стану владельцем Р-зиттенского майората, и ты принужден будешь смиренно целовать мне руку, когда тебе понадобятся деньги на новый сюртук".

Младший брат, разъяренный высокомерной надменностью старшего, бросил в него нож, оказавшийся под рукой, и чуть его не убил.

Опасаясь большего несчастья, Губерт отправил младшего сына в Петербург, где тот впоследствии стал офицером, сражался против французов под командованием Суворова и пал в бою.

Губерт не решился открыть всему свету тайну своего обманом приобретенного владения — страшился позора, — но теперь не желал брать ни копейки у законного владельца майората. Он навел справки в Женеве и узнал, что госпожа Борн умерла от горя, оплакивая непостижимо исчезнувшего мужа, а молодого Родериха Борна воспитывает один почтенный человек, взявший его к себе.

Тогда Губерт, назвавшись чужим именем и выдав себя за родственника погибшего в море купца Борна, стал посылать деньги, предназначавшиеся для того, чтобы достойно воспитать молодого владельца майората. То, как тщательно копил он доходы с майората и что написал в завещании, уже известно. О смерти своего брата Губерт говорил в странных, загадочных выражениях — в них можно было усмотреть намек на то, что тут кроется какая-то тайна. и что Губерт косвенным образом причастен к этому страшному делу. Все объясняло содержимое черной папки. К предательской переписке Губерта и Даниэля была приложена бумага, написанная и подписанная Даниэлем. Ф. прочел признание, заставившее содрогнуться его душу.

Губерт явился в Р-зиттен по наущению Даниэля, и это Даниэль известил его о находке ста пятидесяти тысяч талеров. Уже известно, как Губерт был принят братом, как он, обманутый во всех своих надеждах, хотел уехать и как стряпчий его удержал.

В груди Даниэля клокотала кровавая жажда мести, направленная против юноши, пожелавшего прогнать его как паршивого пса. Он все сильнее и сильнее раздувал пламя, пожиравшее несчастного

Губерта. В еловом лесу, где бушевала метель, охотясь на волков, они сговорились погубить Вольфганга.

— Извести его,— бормотал Губерт, целясь из ружья.

— Да, извести,— ухмылялся Даниэль,— но только не так, не так!

Теперь он был уверен в себе: он убьет барона так, что ни одна душа об этом не узнает. Получив наконец деньги, Губерт пожалел о своем замысле, и решил уехать, чтобы не поддаваться дальнейшему искушению. Даниэль сам оседлал ему ночью лошадь и вывел ее из конюшни; но когда барон хотел вскочить в седло, он сказал резким голосом:

— Я думаю, барон Губерт, что ты останешься в майорате, который с этой минуты тебе принадлежит, потому что его надменный владелец лежит, разбившийся, под обломками башни!

Даниэль заметил, что Вольфганг, снедаемый алчностью, часто встает посреди ночи, подходит к двери, которая прежде вела в башню, и горящим взглядом вглядывается в бездну, где, по уверению Даниэля, погребены немалые богатства. Построив на этом свой план, Даниэль стоял в ту роковую ночь у дверей залы. Услышав, что Вольфганг отворяет дверь, ведущую в башню, он вошел в залу и вплотную приблизился к барону, стоявшему на самом краю пропасти. Тот обернулся и, увидев проклятого слугу, из глаз которого смотрела смерть, в ужасе вскричал: "Даниэль! Даниэль! Что делаешь ты здесь в такой час?" Тогда Даниэль выкрикнул: "Пропадай же, паршивый пес!" — и сильным ударом ноги столкнул несчастного в бездну.

Потрясенный услышанным, молодой Родерих не находил покоя в замке, где был убит его отец. Он уехал в свои курляндские имения и приезжал в Р-зиттен только раз в году, осенью. Франц, старый Франц, уверял, что Даниэль, о преступлении которого он догадывался, часто показывается в замке во время полнолуния, и описывал призрак точно таким же, каким в последствии видел его Ф., когда изгонял этот злой дух. Именно открытие этих обстоятельств, позорящих память его отца, заставило отправиться в дальние странствия молодого барона Губерта.

Так рассказал мой дядя всю эту историю, после чего он взял меня за руку и сказал дрогнувшим голосом, причем глаза его были полны слез!

— Тетка, тетка, и ее тоже, пленительную Серафину, коснулась темная сила, властвующая над родовым замком! Через два дня после того, как мы покинули Р-зиттен, барон устроил прощальное катанье на саях. Он сам вез свою жену, когда лошади, охваченные необъяснимым страхом, вдруг рванулись и понеслись в безумном беге.

"Старик, старик гонится за нами!" — пронзительно закричала баронесса.

Минуту спустя от сильного толчка сани опрокинулись, и Серафину выбросило на дорогу. Ее нашли бездыханной, она умерла! Барон не может утешиться, он успокоится только со смертью!

Да, тетка, никогда больше не вернемся мы в Р-зиттен!

Дядя умолк, я ушел от него с разбитым сердцем и только всеисцеляющее время могло смягчить глубокую скорбь, которая чуть не сокрушила меня.

Прошли годы. Ф. давно уже покоился в могиле, а я покинул отечество. Военная гроза, разразившаяся над Германией, погнала меня на север, в Петербург. На обратном пути, неподалеку от К., темной летней ночью ехал я вдоль берега моря, вдруг в небе, прямо передо мной, зажглась большая, яркая звезда. Подъехав ближе, я по трепещущему красному пламени понял, что то, что я принял за звезду, был, вероятно, большой огонь, однако не мог сообразить, отчего он так высоко виден.

— Что это там за огонь, приятель? — спросил я у кучера.

— Э, — отвечал он, — да ведь это не огонь, это Р-зиттенский маяк.

Р-зиттен! Едва кучер произнес это слово, мне живо представились те роковые осенние дни, которые я там провел. Я увидел барона, Серафину и даже старых диковинных теток, увидел и себя самого, с пышущим здоровьем лицом, завитого и напудренного, в небесно-голубом камзоле, влюбленного и вздыхающего, как печь, со скорбной песней на устах.

В охватившей меня глубокой тоске вспыхнули разноцветными огоньками веселые шутки Ф., которые теперь казались мне более забавными, чем тогда. Исполненный печали и вместе с тем сладкого блаженства, вышел я рано утром в Р-зиттене из экипажа, остановившегося перед почтовой станцией. Я узнал дом управляющего и спросил про него.

— Позвольте,— ответила мне почтовый писарь, вынимая изо рта трубку и снимая ночной колпак,— позвольте, здесь нет никакого управляющего; здесь королевская контора, и господин чиновник еще изволит почивать.

Из дальнейшей беседы я узнал, что прошло уже шестнадцать лет с тех пор, как последний владелец майората барон Родерих фон Р. умер, не оставив наследников, и майорат отошел к казне.

Я поднялся к замку. Он лежал в развалинах. Большую часть камней употребили на постройку маяка — так сказал мне старый крестьянин, вышедший из елового леса, с которым я завел разговор. Он же

рассказал про призрак, бродивший в замке, уверяя, что и теперь еще в полнолуние среди камней раздаются страшные, жалобные стоны.

Бедный, старый, близорукий Родерих! Какую же злую силу вызвал ты к жизни, стремясь навеки укрепить весь свой род, если она на корню уничтожила все его побег!

ОБЕТ

В день Святого Михаила, как раз тогда, когда кармелиты колокольным звоном оповещали о начале вечерней службы, по улочкам маленького польского пограничного городка Л. с грохотом промчался приметный дорожный экипаж, запряженный четырьмя почтовыми лошадьми, и остановился у дома старого немецкого бургомистра. Дети с любопытством повысовывали головы в окно, хозяйка же дома пшвырнула на стол свое питье и раздраженно крикнула старику, появившемуся из другой комнаты: "Снова приезжие, посчитавшие наш тихий дом гостиницей, а все из-за этой эмблемы. Зачем ты решил снова позолотить каменного голубя над дверью?"

В ответ старик лишь многозначительно улыбнулся; в мгновение ока он сбросил домашний халат, надел благородное платье, которое, тщательно вычищенное, все еще висело на спинке стула после прихода из церкви, и, не успев безгранично удивленная жена его открыть рот, чтобы задать очередной вопрос, как он уже стоял, зажав свою бархатную шапочку под мышкой, так что серебристо-белая голова его как бы светилась в сумерках, перед дверцей кареты, которую как раз отворял слуга. Из экипажа вышла пожилая дама в серой дорожной накидке, за ней следовала высокая молодая особа, лицо которой было скрыто густой вуалью; опираясь на руку бургомистра, она неверным шагом, пошатываясь, проследовала в дом и, войдя в комнату, обессиленно упала в кресло, которое по знаку бургомистра тут же пододвинула хозяйка. Пожилая женщина тихим и очень печальным голосом промолвила, обращаясь к бургомистру: "Бедное дитя! Я должна провести подле нее еще несколько минут". С этими словами она стала снимать свою накидку, в чем ей помогла старшая дочь бургомистра, и взглядам присутствующих открылось монашеское одеяние, а также сверкающий на груди крест, выдававший в ней аббатису цистерцианского женского монастыря. Ее спутница тем временем проявляла признаки жизни лишь тихими, едва слышными вздохами и наконец попросила подать ей стакан воды. Бургомистрша же принесла восстанавливающие силы капли и эссенции и, расхваливая их чудодейственную силу, предложила молодой даме снять плотную, тяжелую вуаль, видимо, затрудняющую ей дыхание. Но та отвергла это предложение, откинув назад голову и подняв руку как бы защищающимся жестом; принесенную ей воду, в которую озабоченная хозяйка влала несколько капель живительного эликсира, Она выпила, даже не приподняв вуали.

— Вы же все подготовили, сударь? — обратилась аббатиса к бургомистру. — И все сделали как нужно?

— Именно так, — отвечал старик, — именно так! Я выполнил все, что только было в моих силах, и надеюсь, что наисветлейший князь будет мною доволен, как и наша любезная гостья.

— Так оставьте нас еще на несколько минут наедине, — попросила аббатиса.

Все покинули комнату. Было слышно, как аббатиса торопливо и проникновенно заговорила, обращаясь к молодой даме, и как та наконец тоже начала говорить трогательным, взволнованным голосом. Не прислушиваясь специально, хозяйка все же осталась стоять у двери, за которой разговаривали по-итальянски, и уже одно это делало внезапное появление незнакомок еще более таинственным и увеличивало ее беспокойство. Старик отправил жену и дочерей позаботиться о вине и прочем подкреплении, а сам вернулся в комнату. Молодая женщина, стоявшая перед аббатисой со склоненной головой и сложенными на груди руками, казалась более спокойной и сдержанной. Аббатиса не отказалась от угощения, предложенного хозяйкой, после чего промолвила: "Пора!" Ее подопечная опустилась на колени, аббатиса положила ей на голову руки и тихо прочитала молитвы. Закончив их, она заключила девушку в объятия, при этом слезы потекли по ее щекам, и крепко, порывисто прижала к своей груди. После этого она с достоинством благословила семью и поспешила, сопровождаемая стариком, к экипажу, где уже громко ржали запряженные свежие лошади. Покрикнув и дуя в рожок, ямщик погнал лошадей к городским воротам.

Когда бургомистрша поняла, что дама под вуалью остается здесь (с экипажа сняли и занесли в дом несколько тяжелых чемоданов), и, возможно, на продолжительное время, она не могла скрыть своей тревоги и озабоченности. Выйдя в переднюю, она преградила путь старому бургомистру, который как раз собирался войти в комнату, и тихо, испуганно прошептала:

— Ради Христа, что за гостью приводишь ты в дом, ничего мне не рассказав и даже не предупредив меня?

— Все, что знаю я, узнаешь и ты,— невозмутимо отвечал старик.

— Ах, ах! — продолжала женщина еще более испуганно,— но, вероятно, тебе известно далеко не все. Как только госпожа аббатиса отъехала, дама, верно, почувствовала себя очень стесненной под плотной вуалью. Она подняла длинный черный креп, и я увидела...

— Ну, и что же ты увидела, женщина? — спросил старик жену, которая, дрожа, оглядывалась по сторонам, словно боялась увидеть привидение.

— Черты лица разглядеть было невозможно, но вот только его цвет, эта серая, мертвенная бледность... Но вот что я заметила очень даже хорошо, так это то, что дама находится в положении. Это ясно как божий день. Через несколько недель она будет рожать.

— Я знаю об этом,— довольно мрачно отвечал старик,— и, чтоб ты не умерла от любопытства и беспокойства, я попытаюсь в двух словах объяснить тебе все. Знай, что князь З., наш высокий покровитель, несколько недель назад написал мне, что аббатиса цистерцианского монастыря в О. привезет ко мне некую даму, которую я должен скрытно, тщательно оберегая от посторонних глаз, принять у себя в доме. Келестина — так ее следует называть — дождется у нас близких родов, а затем вместе с ребенком ее снова заберут. Добавлю к этому еще, что князь потребовал у меня самого внимательного и заботливого ухода за ней и приложил для начала весьма привлекательный кошелек с изрядным количеством дукатов, который ты можешь найти в моем комоде, после чего тебя наверняка перестанут мучить всякие ненужные мысли.

— Стало быть, мы должны,— заключила бургомистрша,— поспособствовать сокрытию чьего-то благородного греха.

Старик не успел ничего ответить — в комнату зашла их дочь и сообщила, что незнакомка просит проводить ее в отведенные для нее покои. По распоряжению бургомистра обе комнатки верхнего этажа были убраны и украшены с величайшей тщательностью, и старика немало задело, когда Келестина спросила, нет ли у него какой-либо другой комнаты, окно которой выходило бы на внутренний двор. Нет, ответил он и добавил, лишь для очистки совести, что вообще-то имеется одно помещение, окно которого выходит в сад, но его едва ли можно назвать комнатой, а скорее жалким чуланом, просторным лишь настолько, чтобы в нем поместилась кровать, стол и стул — как в монастырской келье. Келестина немедленно потребовала, чтобы ей показали этот чулан и, едва войдя в него, заявила, что именно эта комнатка соответствует ее желаниям и потребностям, что она будет жить только в ней и сменит ее на более просторную лишь тогда, когда ее состояние потребует большего помещения и сиделку. Сравнение старого бургомистра оказалось пророческим: если ранее этот покой лишь напоминал монастырскую келью, то скоро он и в самом деле стал ею. Келестина прикрепила на стене образ Девы Марии, а на старом деревянном столе под ним поставила распятие. Постель состояла из мешка, набитого соломой, и шерстяного одеяла; кроме деревянной табуретки и еще одного маленького стола Келестина из обстановки не попросила больше ничего.

Хозяйка, примирившаяся с незнакомкой из-за глубокого страдания, которым веяло от всего ее существа, надеялась незатейливо развеселить и разговорить ее, однако незнакомка кротко попросила не нарушать ее одиночества, в котором она, обратив мысли лишь к Святой Деве и святым, находит утешение. Ежедневно, лишь только забрезжит утро, она отправлялась к кармелиткам, чтобы послушать утреннюю мессу; остаток же дня посвящала неустанным молитвам, ибо если возникала необходимость зайти к ней в комнату, ее заставляли там либо молившейся, либо читающей божественные книги. Она отказывалась от всякой иной пищи, кроме овощей, от всяких напитков, кроме воды, и лишь настойчивые уговоры старого бургомистра, беспрерывно толковавшего, что ее состояние и существо, которое живет в ней, требуют лучшего питания, убедили ее наконец отведать мясного бульона и выпить немного вина. Эта суровое монастырское затворничество (в доме все считали его покаянием за совершенный грех) вызывало сочувствие и одновременно некое глубокое благоговение, причем все это совершенно независимо от благородства ее стана и неповторимой грации каждого ее движения. К этим чувствам примешивалось, однако, нечто зловещее, проистекающее от того обстоятельства, что она так и не сняла своей вуали, не открыла своего лица. Никто не приближался к ней, кроме старика и женской половины его семьи; последние ее никогда не выезжавшие из городка, никоим образом не могли узнать лицо, которого прежде никогда не видели, и таким образом приоткрыть завесу над тайной. К чему же тогда это закутывание? Буйная фантазия женщин сотворила вскоре душераздирающую легенду. Лицо незнакомки (такова была фабула) изуродовано страшной меткой — следами когтей дьявола; отсюда и непроницаемая вуаль. Старик стоило больших усилий прекратить эту болтовню и воспрепятствовать распространению дурацких слухов за пределы дома, ибо о пребывании у бургомистра загадочной незнакомки, конечно же, в городке было уже известно. Посещения ею монастыря кармелиток тоже не остались незамеченными, и вскоре ее уже называли черной женщиной бургомистра, тем самым придавая ей некую

призрачность. Случилось так, что в один прекрасный день, когда дочь хозяев принесла в комнату незнакомки еду, дуновение ветра приподняло вуаль; незнакомка с быстротою молнии отвернулась, спасаясь от взгляда девушки. Та же спустилась вниз совершенно бледная, дрожа всем телом. Как и ее мать, она увидела мертвенно-бледный лик, на котором не было, впрочем, никаких следов уродства. В глубоких глазных впадинах сверкали необычные глаза. Старик отнес это к области фантазии, но, говоря честно, ему, как и всем, было не по себе и он, несмотря на всю свою набожность, желал бы, чтобы это вносящее смуту существо поскорее покинуло его дом.

Вскоре после этого старик ночью разбудил жену: уже несколько минут он слышал тихие стоны, вздохи и постукивание, доносившиеся, похоже, из комнаты Келестины. Понимая, что это может означать, бургомистрша поспешила наверх. Она обнаружила Келестину лежащей на кровати в полуобморочном состоянии, при этом одетой и по обыкновению закутанной в вуаль, и вскоре убедилась, что ее предположения верны. Все необходимые вещи были давно уже приготовлены, и через некоторое время родился здоровый, прелестный мальчуган. Это давно ожидаемое событие, тем не менее, ошеломило всех своей внезапностью и имело следствием то, что совершенно изменило те неприятные, тягостные отношения с незнакомкой, которые угнетали всю семью. Младенец стал как бы искупающим вину посредником, посланцем Келестины, который сблизил ее с окружающими. Ее состояние было таково, что суровые, аскетические испытания могли бы привести к печальному исходу, она была беспомощна и нуждалась в этих людях, которые ухаживали за ней с ласковой заботливостью и к которым она все больше привыкала. Хозяйка сама варила и подавала ей питательный суп, забыв в этих хлопотах все дурные мысли, что приходили ей в голову в отношении этой загадочной незнакомки. Она не думала больше о том, что ее почтенный дом, возможно, служит убежищем для позора. Старый бургомистр даже помолодел, он ликовал и пестил малыша, словно это был его родной внук; как и все остальные, старик привык, что Келестина так ни разу и не сняла вуаль, даже во время родов. Повивальная бабка должна была поклясться, что вуаль будет поднята, только если Келестина вдруг лишится чувств, в случае смертельной опасности, и никем другим, как только ею, повивальной бабкой. Было очевидно, что старуха видела-таки Келестину без вуали, но ничего по этому поводу не сказала, кроме как: "Бедная молодая дама, верно, вынуждена закрывать свое лицо!" Через несколько дней появился монах-кармелит, который окрестил ребенка. Его разговор с Келестиной, при котором никто больше не присутствовал, длился более двух часов. Было слышно, как он торопливо говорил и молился. Когда он ушел, Келестину обнаружили сидящей в кресле с накинутым на плечи пледом, на коленях у нее лежал младенец, на груди у которого был *Agnus dei**. Проходили недели и месяцы, а Келестина с ребенком вопреки заверениям князя З. все еще находилась в доме бургомистра. Если бы не эта злополучная вуаль, которая препятствовала решающему шагу к дружескому сближению, она давно бы уже стала почти членом этой семьи. Старик попытался было устранить досадную помеху, самым доброжелательным образом сказав об этом Келестине, но после того, как она глухим и торжественным голосом изрекла: "Лишь в случае смерти падет сия вуаль",— он больше об этом не заговаривал и снова ощутил желание, чтобы поскорее появился экипаж с аббатисой.

Наступила весна. Однажды семья бургомистра возвращалась домой с прогулки, неся в руках букеты цветов, самый красивый из которых предназначался Келестине. В тот момент, когда они собирались войти в дом, в конце улицы показался всадник; подъехав, он нетерпеливо спросил бургомистра.

Агнец Божий (*лат.*) — в большинстве случаев медальон с изображением агнца и триумфальной хоругви как осмысление Христа.

Старик ответил, что он и есть бургомистр. Всадник соскочил с коня, привязал его к столбу и с возгласом "Она здесь, она здесь!" ворвался в дом и побежал по лестнице наверх. Был слышен звук выламываемой двери и испуганный крик Келестины. Старик, охваченный ужасом, поспешил вослед. Вновь прибывший, украшенный множеством орденов, и являвшийся, как это явствовало из его вида, офицером французской егерской гвардии, выхватил мальчика из колыбели и держал его левой рукой, а правой удерживал Келестину, пытаясь оттолкнуть похитителя. В этой схватке офицер сорвал охранительную вуаль— и взору старого бургомистра предстал застывший неестественно белый лик, обрамленный черными локонами; из глубоких глазных впадин извергались огненные лучи, а с неподвижных, полукрытых губ слетали леденящие душу, полные горя звуки. Старик уразумел, что на лице Келестины была белая, плотно прилегающая маска.

— Ужасная женщина! Ты хочешь, чтобы и меня настигло безумие? — вскричал офицер, с трудом вырвавшись и отталкивая Келестину, так что она упала на пол. Обхватив руками его колени, несчастная молила его голосом, в котором звучала невыносимая боль:

— Оставь мне ребенка! О, оставь мне ребенка!

— Даже во имя вечного блаженства я не сделаю этого! — гневно воскликнул офицер.

— Ради Христа, ради Святой Богородицы оставь мне ребенка!

И при этих горестных словах не дрогнул ни один мускул, не пошевелились губы на застывшем лице, и у старого бургомистра, у его жены, у всех, кто за ними последовал, кровь застыла в жилах от ужаса!

— Нет! — вскричал офицер с отчаяньем.— Нет, бесчеловечная, безжалостная женщина, ты можешь вырвать сердце из своей груди, но и тогда не погибнешь в гнусном безумстве твари, присосавшейся в утешение к кровоточащей ране!

Офицер еще крепче прижал ребенка к себе, так что тот громко заплакал; тут Келестина сорвалась в глухой

вой:

— Кара! Кара небесная на тебя, убийца...

— Изыди, исчадие ада! — возопил офицер и, судорожным движением ноги отшвырнув Келестину, подскочил к двери. Бургомистр попытался задержать его, преградив дорогу, но он выхватил пистолет и крикнул, направив дуло на старика: "Пуля в голову тому, кто хочет отнять ребенка у его отца",— а затем ринулся вниз по лестнице, вскочил на лошадь, не выпуская ребенка из рук, и, пустив ее полным галопом, ускакал. Хозяйка, полная сердечного страха о том, что же будет с Келестиной и что вообще с ней делать, поборола свой ужас перед страшной маской и поспешила наверх, чтобы ей помочь. Каково же было ее удивление, когда она увидела Келестину неподвижно, словно статуя, с безвольно свисающими руками стоявшую посреди комнаты.

Она заговорила с ней — и не получила ответа. Не в состоянии выносить вида этой маски, добрая женщина подняла лежавшую на полу вуаль и надела ее на Келестину. Та даже не пошевелилась. Несчастливая погрузилась в состояние глубочайшего оцепенения, что наполнило хозяйку страхом и отчаянием, и она стала ревностно молить Бога, чтобы он избавил их наконец от этой странной женщины. Ее мольбы, похоже, были услышаны, ибо к дому тотчас же подкатил тот же самый экипаж, что привез Келестину. Вошла аббатиса, а за нею князь З., высокий покровитель старого бургомистра. Когда он узнал, что произошло здесь, то сказал с непостижимым спокойствием: "Стало быть, мы прибыли слишком поздно и должны подчиниться воле Господней". Келестину свели вниз; застывшая и безмолвная, она дала посадить себя в карету, которая немедленно отъехала. Старый бургомистр и вся его семья чувствовали себя так, словно они только что очнулись от страшного, призрачного сна, который очень их напугал.

Вскоре после всех этих событий в цистерцианском женском монастыре в О. с необычайной торжественностью была похоронена некая сестра-монахиня, а вслед за этим пронесся смутный слух, что монахиня эта была графиней Херменгильдой С., о которой думали, что она вместе с сестрой своего отца княгиней З. находится в Италии. В это же время в Варшаве появился граф Непомук С., отец Херменгильды, и передал, согласно судебному акту, все свои обширные поместья за исключением маленького имения в Украине, во владение двум своим племянникам, сыновьям князя З. Когда же его спросили о приданом его дочери, он поднял мрачный взгляд к небу и угрюмо изрек: "Она получила свое приданое!" Он не только подтвердил слух о смерти Херменгильды в монастыре, но и не утаивал того, что над нею довлел злой рок, который преждевременно свел ее в могилу, подобно многострадальной мученице. Некоторые из патриотов, не сломленных поражением отечества, рассчитывали снова вовлечь графа в тайное сообщество, имевшее целью восстановление польского государства, но вместо пламенного поборника свободы, неизменно и отвалено готового на любое, самое рискованное предприятие, они обнаружили немошного, сокрушенного глубокой болью старика, который, отрешившись от всего, собирался похоронить себя в глуши и одиночестве. В то время когда после первого раздела Польши готовилось восстание, родовое поместье графа Непомука было местом сбора патриотов. Там во время торжественных застолий пылкие души возгорались жаждой борьбы за повергнутое отечество. Там, в кругу молодых героев, словно ангел, спустившийся с небес к святому причастию, появилась Херменгильда. Херменгильде не было еще и семнадцати лет, но она, как это свойственно женщинам ее нации, принимала участие во всех делах, даже в политических переговорах, и нередко высказывала, часто вопреки позиции всех остальных, мнение, которое свидетельствовало о ясном уме и необыкновенной проницательности и которое зачастую играло решающую роль. Это умение мгновенно ориентироваться, остро схватывать и очерчивать положение вещей, помимо нее отличало еще лишь графа Станислава Р., возвышенного и одаренного молодого человека двадцати лет. Херменгильда и Станислав нередко спорили о предметах, по поводу которых велись дискуссии и ломались копья, они проверяли, принимали и отмечали те или иные предложения, выдвигали другие, и результаты этих их жарких споров наедине между девушкой и юношей часто были таковы, что с ними считались даже умудренные государ-

ственные мужи, заседавшие в совете. Что было более естественным, чем думать о соединении этих двух молодых людей, незаурядные таланты которых могли послужить во благо отечества. Таким образом, переплетение обоих родов, отличавшихся возвышенными стремлениями, имело важное политическое значение. Херменгильда приняла определенного ей супруга как предначертанность свыше во имя отечества, а посему наряду с торжественной помолвкой было решено провести в имении ее отца и собрания патриотов.

Известно, что надежды поляков не сбылись, что с падением Костюшко потерпело крах дело, которое слишком уж опиралось на завышенную самоуверенность и неправильное представление о рыцарской верности. Граф Станислав, которому его ранняя военная карьера, молодость и способности уготовили довольно высокую должность в армии, сражался с мужеством льва. С трудом избежав позорного плена, весь израненный, он возвратился домой. Лишь мысли о Херменгильде удерживали его в жизни, в ее объятиях он надеялся найти утешение и воскресить надежду. Едва успел он оправиться от ран, как поспешил в имение графа Непомука, чтобы получить там еще одно ранение, самое болезненное. Херменгильда встретила его с почти издевательским презрением. "И это герой, который желал умереть за отечество?" — такими словами приветствовала она молодого графа; видно, в безумном ослеплении считала она своего жениха одним из тех паладинов сказочных рыцарских времен, меч которого способен был в одиночку уничтожить целую армию. Напрасны были объяснения, что никакая сила не могла противостоять бурному, всепоглощающему потоку, захлестнувшему отечество, напрасны были уверения в бесконечной любви — Херменгильда, сердце которой могло пылать, по-видимому, лишь в диком водовороте событий мирового масштаба, осталась при своем решении отдать свою руку графу Станиславу только тогда, когда захватчики будут изгнаны из страны. Граф слишком поздно понял, что Херменгильда никогда его не любила, ибо условие, выдвинутое ею, не могло быть выполнено, по крайней мере в обозримом будущем. Покаявшись в вечной верности, он оставил свою возлюбленную и поступил на службу во французскую армию, которая привела его на войну в Италию.

Говорят, что польским женщинам присущ капризный нрав. Глубокие чувства, самовлюбленный эгоизм и стоическое самоотречение, леденящая холодность и горячие страсти — все то, что пестрой смесью собрано в ее характере, создает на поверхности причудливое, изменчивое движение, похожее на игру постоянно сменяющих друг друга вод текущего глубоко под землей ручья. Херменгильда равнодушно взирала на уезжающего жениха, но не прошло и нескольких дней, как ее охватила неопи-суемая тоска, которая может быть рождена лишь самой горячей любовью. Буря войны миновала, была объявлена амнистия, польских офицеров выпустили из плена. В имении графа Непомука один за другим появлялись братья Станислава по оружию. С глубокой болью вспоминали они те горькие дни и с огромным воодушевлением — мужество, которое проявляли многие из них, и более всех — Станислав. Он снова и снова вел в атаку отступившие батальоны; когда казалось, что исход сражения уже предрешен, ему удавалось пробивать вражеские ряды своей конницей. Но настал день, когда судьба отвернулась от него, — сраженный пулей и истекающий кровью, он со словами: "Отечество! Херменгильда!" — рухнул с коня. Каждое слово этих рассказов было подобно удару кинжала, пронзающего сердце Херменгильды. "Нет, я не знала, что полюбила его с того самого мгновения, когда увидела в первый раз! В каком дьявольском ослеплении решила я, что смогу жить без него, без того, кто и есть моя единственная жизнь! Я отправила его на смерть, он больше не вернется!" — так изливались бурные жалобы Херменгильды, теснившиеся у нее в груди. Мучимая бессонницей, изнуренная постоянной тревогой, она ночами металась по парку, и, словно ночной ветер был в состоянии донести ее слова далекому возлюбленному, она шептала: "Станислав! Станислав! Возвратись!.."

Уничтоженная стыдом и разочарованием, не хотела покидать свою комнату, пока Ксавер находится в доме, но все их старания оказались тщетными. Молодой граф был вне себя от того, что не мог более видеть Херменгильду. Он написал ей, что несправедливо и жестоко казнить его за столь несчастливое для него сходство. Причем это затрагивает не только его самого, но и возлюбленного ее Станислава, ибо лишает Ксавера возможности лично вручить, как просил об этом Станислав, любовное послание, а также передать на словах то, что Станислав не успел написать в письме. Камеристка Херменгильды, которую Ксавер расположил к себе и привлек на свою сторону, выбрала подходящий момент и вручила записку, и эта записка сделала то, что не удалось отцу и врачу. Херменгильда приняла решение встретиться с Ксавером. В глубоком молчании, с опущенными глазами, приняла она его в своих покоях. Ксавер неслышно приблизился и опустился на стул возле софы, на которой сидела Херменгильда; когда же он наклонился, то оказался как бы стоящим перед ней на коленях, и в этой позе проникновенно и трогательно умолял ее не винить его за эту ошибку, которая может огорчить его любимого кузена и друга. Ведь не его, Ксавера, нет — Станислава обнимала она в блаженстве

встречи. Он передал ей обещанное письмо и начал рассказывать о Станиславе, о том, что он с истинно рыцарской верностью даже во время кровавой битвы думает о своей даме, как сердце его пылает любовью к отечеству, во имя свободы которого он готов отдать свою жизнь. Он говорил горячо и пылко, он увлек Херменгильду, которая, преодолев свою робость и настороженность, открыто смотрела на него своими прекрасными глазами, так что Ксавер, как новоявленный кавалер, сраженный взглядом Турандот и погибающий от сладкого блаженства, с трудом мог продолжить свою речь. Борясь со страстью, готовый вспыхнуть ярким пламенем, он углубился в подробные описания отдельных сражений. Он рассказывал о кавалерийских атаках, несущихся всадниках, захваченных батареях. Херменгильда нетерпеливо перебивала его, восклицая:

— О, не надо этих кровавых сцен из театра ада,— скажи, скажи мне только, что он меня любит, что Станислав меня любит!

И тогда Ксавер схватил ее руку и страстно прижал к своей груди.

— Послушай сама своего Станислава! — так воскликнул он, и из его уст полились заверения в самой пылкой и страстной любви. Он опустился к ногам Херменгильды, она обвила его обеими руками, но когда он, порывисто поднявшись, хотел прижать ее к своей груди, то почувствовал, что его ожесточенно отталкивают. Херменгильда смотрела на него странным застывшим взглядом.

— Тщеславная кукла, хоть я и отогрела тебя на своей груди, но все же ты не Станислав и никогда не сможешь стать им! — глухо произнесла она и медленно вышла из комнаты. Ксавер слишком поздно осознал свое безрассудство. Он понял, что до безумия влюбился в Херменгильду, в невесту своего родственника и друга, и что каждый шаг, который сделает он во имя этой злосчастной страсти, неизбежно приведет к разрыву дружбы, которой он так дорожил. Ксавер принял героическое решение — немедленно уехать, не видя более Херменгильду, и тут же приказал паковать вещи и запрягать экипаж.

Граф Непомук был в высшей степени удивлен, когда Ксавер пришел попрощаться с ним, и пытался уговорить его остаться, но молодой граф твердо стоял на том, что веские причины вынуждают его уехать. Надев саблю, с полевой шапкой в руке, он стоял посередине комнате, а слуга с плащом ждал его в прихожей. Внизу нетерпеливо ржали лошади. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вошла Херменгильда; с присущей ей пленительной грацией подошла она к графу и молвила с милой улыбкой:

— Вы намерены уехать, дорогой Ксавер? А я надеялась еще так много услышать о моем возлюбленном Станиславе! Ваши рассказы меня чудесным образом успокаивают.

Зардевшись, Ксавер опустил глаза. Все сели, граф Непомук все время повторял, что *уже* много месяцев не видел Херменгильду в таком веселом, почти беззаботном настроении. По его знаку в этой же комнате был накрыт ужин. В бокалах переливалось благороднейшее венгерское вино, и раскрасневшаяся Херменгильда пригубливала из своего до краев наполненного кубка, провозглашая тосты за своего возлюбленного, за свободу и за отечество. "К ночи я уеду", — говорил себе Ксавер и действительно, когда убрали со стола, спросил слугу, готов ли экипаж. Уже давно, отвечал слуга, по приказу графа Непомука, лошади распряжены и стоят в конюшне, а Войцех храпит на мешке с соломой. Вопрос, таким образом, разрешился сам собой.

Ксавер убедил себя в том, что не только возможно, но и разумно, а также приятно остаться здесь, нужно лишь пересилить себя, не обнаружить своей страсти, которая может не только дурно повлиять на душевное здоровье Херменгильды, но и, в любом случае, оказаться губительной для него самого. Как бы там ни было, но Ксавер решил предпочесть радужное настоящее неизвестному будущему. Когда на следующий день Ксавер снова увидел Херменгильду, ему действительно удалось обуздать свою страсть, избегая даже малости того, от чего его горячая кровь могла бы вскипеть. Держа себя в строжайших рамках, в высшей степени церемонно и даже холодно, он придавал их разговору оттенок той галантности, которая преподносит дамам под видом сладкого меда смертельный яд.

Двадцатилетний юноша, совершенно неопытный в любовных делах, Ксавер, ведомый недобрым инстинктом, повел себя как искусный соблазнитель. Говорил он только о Станиславе, о его любви к своей ненаглядной невесте, но при этом сумел ненавязчиво нарисовать и свой собственный портрет, так что Херменгильда уже и сама не знала, как отделить, друг от друга эти два образа — отсутствующего Станислава и присутствующего Ксавера. Общество Ксавера вскоре стало для нее потребностью, их почти всегда видели вместе, причем часто это выглядело так, будто они ведут доверительный любовный разговор. Привычка все более одерживала верх над отчужденностью Херменгильды, и в той же степени Ксавер переступал границы холодной чопорности, которой до сих пор мудро придерживался. Рука об руку гуляли они по парку, и она беззаботно оставляла свою руку в его руке, когда он, сидя рядом с ней, рассказывал о счастливчике Станиславе.

Граф Непомук, если дело не касалось политики либо интересов отечества, не был способен заглянуть в глубь происходящего,— он довольствовался тем, что лежит на поверхности, для всего остального душа его была закрыта; пронсящиеся мимо картины жизни он воспринимал так, как отражает действительность зеркало: только в данный конкретный момент, после чего они бесследно исчезали, не смущая его разум. Не зная, что творится в душе Херменгильды, он радовался тому, что она наконец сменила куколку, которая в безумных видениях должна была представлять ее возлюбленного, на живого молодого человека, и в глубине души надеялся, что Ксавер, который в роли зятя был ему столь же мил, как и Станислав, вскоре окончательно займет место последнего. Ксавер думал точно так же, правда поверил он в это лишь по прошествии нескольких месяцев, когда Херменгильда, как ни казалась она поглощенной мыслями о Станиславе, смирилась с тем, что Ксавер становится ей все более близок. Развязка наступила неожиданно. Однажды утром Херменгильда заперлась в своих покоях с камеристкой и не желала никого видеть. Граф Непомук не находил этому иного объяснения, кроме того, что начался очередной приступ, и просил Ксавера использовать власть, которую он приобрел над его дочерью, для ее исцеления. Как же он был удивлен, когда Ксавер ответил отказом на эту просьбу. Более того, он вдруг непостижимым образом переменился; выглядел испуганным, словно встретился с привидением, разговаривал неровно, сбивчиво и несвязно. К тому же он заявил, что непременно должен уехать в Варшаву и, по-видимому, никогда более не увидит Херменгильду, смущенный ум которой, как и ее граничащая с безумием верность Станиславу, в последнее время возбуждает в нем ужас и кошмары, что он отрекается от счастья и любви, ибо лишь теперь, к своему глубочайшему стыду, осознал то вероломство, которое хотел совершить по отношению к другу, так что поспешное бегство является для него единственным спасением. Граф Непомук ничего из всего этого не понял, уразумев лишь то, что безумными грезами Херменгильды заразился теперь и юноша. Он попытался объяснить ему это, но тщетно. Ксавер возражал тем сильнее, чем настойчивее Непомук доказывал, что он должен вылечить Херменгильду от всех ее странностей, а следовательно, должен снова ее увидеть. Их спор закончился тем, что Ксавер, словно подгоняемый невидимой силой, сбежал вниз, впрыгнул в экипаж и умчался прочь.

Разгневанный и огорченный поведением Херменгильды, отец не стал более о ней заботиться, и так получилось, что прошло несколько дней, а она все еще не выходила из своей комнаты и никто ее не тревожил, кроме камеристки.

Погруженный в мысли о героических деяниях того человека, на которого поляки в то время молились и который был их кумиром, сидел Непомук однажды в своих покоях, когда вдруг дверь открылась и вошла Херменгильда в траурном одеянии, с длинной вуалью, какую носят вдовы. Медленной торжественной поступью приблизилась она к графу, опустилась на колени и заговорила дрожащим голосом:

— О, отец мой! Граф Станислав, мой любимый супруг уже на том свете. Он погиб как герой в кровавой битве. Перед тобой его несчастная вдова!

И это тоже явилось для бедного графа доказательством чрезвычайного подавленного и нездорового душевного состояния Херменгильды, ибо как раз накануне было получено известие о том, что Станислав находится в добром здравии. Непомук мягко поднял Херменгильду.

— Успокойся, дорогая моя дочь,— говорил он ей.— Станислав жив-здоров, и скоро ты сможешь заключить его в свои объятия.

Тут у Херменгильды вырвался смертельно тяжелый вздох, и она словно подкошенная упала на мягкую софу рядом с графом. Придя через несколько секунд в себя, она заговорила на удивление спокойно и сдержанно:

— Позволь рассказать тебе, мой дорогой отец, как все произошло, и тогда ты поверишь, что видишь перед собой вдову графа Станислава Р. Знай же, что шесть дней назад вечером я находилась в павильоне в южной части нашего парка. Все мои мысли были обращены к любимому, стоило мне только закрыть глаза, как я погружалась в необычное состояние, которое не могу назвать иначе, чем сон наяву. Внезапно вокруг меня засвистело и загрохотало, совсем рядом раздались выстрелы. Я вскочила — и была немало удивлена, обнаружив, что нахожусь в полевом бараке. Передо мной на коленях стоял он, мой Станислав. Я обняла его, я прижимала его к своей груди. "Хвала Богу! — воскликнула он.— Ты жива, ты моя!" Он сказал мне, что сразу же после венчания со мной случился глубокий обморок, и я вспомнила, что патер Киприанус, которого я увидела в этот момент выходящим из полевого барака, действительно только что обвенчал нас в расположенной неподалеку часовне под грохот орудий и неистовый шум близкой битвы. Золотое обручальное кольцо сверкало на моем пальце. Блаженство, с которым я вновь заключила моего супруга в объятия, описать невозможно; я испытала неведомое наслаждение, потрясшее мою душу и тело; сознание мое помутилось — и тут вдруг на меня словно повеяло ледяным холодом. Я открыла глаза — о ужас! Вокруг кипело дикое

сражение, прямо предо мной горел полевой барак, из которого меня, вероятно, спасли! Я увидела Станислава, теснимого вражескими всадниками, друзей, рвущихся к нему на помощь,— слишком поздно! Сзади ему наносит удар всадник...

Херменгильда снова упала без чувств. Непомук поспешил за укрепляющими средствами, но они не понадобились: Херменгильда быстро пришла в себя.

— Воля небес исполнена,— глухо и торжественно промолвила она.— Не причитать мне полагается, но до самой смерти хранить верность своему супругу; ни один земной союз не разлучит нас. Скорбеть о нем, молиться за него — вот отныне мой удел, и ничто не может помешать мне в этом.

Граф Непомук решил, что кипящее внутри Херменгильды безумие обратилось зримым видением, а так как тихая, отрешенная скорбь не предполагает необузданных поступков, то такое состояние дочери, которому положит конец приезд Станислава, вполне его устраивало. Если он иногда высказывался о снах и видениях, Херменгильда лишь слабо улыбалась, прижимая к своим устам золотое кольцо, которое носила на руке, и окропляла его обильными слезами. Граф Непомук с удивлением отметил, что кольцо это действительно ему незнакомо, никогда раньше он не видел его у дочери. Но поскольку существовала тысяча возможностей, каким образом оно могло к ней попасть, он так ни разу и не сделал попытки это выяснить. Более важным было для него известие, что граф Станислав попал во вражеский плен.

Херменгильда начала тем временем как-то хворать, часто жаловалась на странные ощущения, которые, хоть и не могла назвать болезнью, все же странным образом потрясали все ее тело. В это время приехал князь З. со своей супругой, которой Херменгильда очень обрадовалась. Княгиня заменила ей мать после безвременной кончины последней, и девушка была ей по-детски предана. Херменгильда открыла этой благородной даме свое сердце и с горечью пожаловалась, что все считают ее безумной фантазеркой, и это при том, что у нее есть убедительнейшие доказательства правдивости всех обстоятельств касательно ее венчания со Станиславом. Княгиня, которая была осведомлена о тяжелом душевном расстройстве Херменгильды, не стала возражать ей; она попыталась успокоить ее, заметив, что на все воля Божья и что время все расставит на свои места. Она внимательно выслушала Херменгильду, когда та заговорила о своих физических ощущениях и описала странные приступы, которые с нею случаются. Княгиня заботливо ухаживала за ней, и вскоре ее состояние, казалось, значительно улучшилось. Мертвенно-бледные щеки и губы порозовели, из глаз исчез мрачный, жутковатый огонь, взгляд стал мягким и спокойным, исхудавшие формы все более округлялись, короче, Херменгильда снова расцвела в полную силу своей красоты и юности. Между тем озабоченность княгини все усиливалась. "Как у тебя дела, как чувствуешь ты себя, дитя мое? Что ты чувствуешь?" — вопрошала она с мучительным беспокойством на лице, как только у Херменгильды вырывался вздох или если она хоть слегка бледнела. Граф Непомук, князь и княгиня нередко совещались, что же будет дальше, что делать с ее навязчивой идеей о том, что она вдова Станислава.

— Сожалею, но мне кажется,— говорил князь,— что безумие Херменгильды так и останется неизлечимым, ибо телом она совершенно здорова, и это физическое здоровье парадоксальным образом подпитывает распатанное состояние ее души. Да,— продолжал он, ибо княгиня с болезненной миной потушила взгляд,— да, она совершенно здорова, и неуместно, и ущербно для нее ухаживать за ней как за больной, лелеять ее и бояться за нее.

Княгиня, которую задела эти слова, с жалостью посмотрела на графа Непомука и промолвила быстро и решительно:

— Да! Херменгильда не больна, и если бы это не находилось за гранью возможного, то я была бы совершенно уверена, что она беременна.

С этими словами она встала и вышла из комнаты. Словно пораженные молнией, мужчины смотрели друг на друга. Князь, первым обретя дар речи, предположил, что его жену, по-видимому, тоже иногда посещают более чем странные фантазии. Непомук, однако, был очень серьезен:

— Княгиня права в том, что Херменгильда решительно не могла совершить такой грех,— сказал он,— но признаюсь тебе: когда давеча я взглянул на стан своей дочери, у меня самого промелькнула в голове нелепая мысль: "А ведь молодая вдова в положении!". И поэтому слова княгини наполнили мое сердце отчаянной тревогой.

— Тогда,— отвечал князь,— лишь врач или опытная женщина может либо опровергнуть, вероятно слишком поспешный, диагноз моей супруги, либо подтвердить наш позор.

Несколько дней они мучительно раздумывали, что же предпринять. Общим формам Херменгильды казались подозрительными, и они призывали княгиню принять какое-то решение. Она отвергла мысль о вмешательстве врача, который может оказаться слишком болтливым, и высказала мнение, что другая помощь понадобится, возможно, месяцев через пять.

— Какая помощь? — в ужасе, вскричал граф Непомук.

— Да, — продолжала княгиня, возвысив голос, — у меня уже не осталось никаких сомнений. И либо Херменгильда — самая искусная притворщица из всех когда-либо рождавшихся, либо здесь имеет место необъяснимая тайна; короче, она безусловно беременна!

Оцепенев от ужаса, граф Непомук потерял дар речи; с трудом придя в себя, он стал умолять княгиню во что бы то ни стало выяснить у Херменгильды, кто этот несчастный, навлекший страшный позор на их дом.

— Херменгильда даже не подозревает, что я знаю о ее положении, — сказала княгиня. — Когда я сообщу ей об этом, то, потрясенная, она либо сбросит с себя лицемерную маску, либо чудесным образом докажет мне свою невинность, хотя, признаюсь, я совершенно не могу себе представить, как все это могло произойти.

В тот же вечер княгиня осталась в комнате наедине с Херменгильдой, которая полнела день ото дня. Собравшись с духом, она взяла несчастное дитя за обе руки, посмотрела ей в глаза и сказала решительно:

— Дорогая, ты беременна!

И тут, к ее изумлению, Херменгильда воскликнула голосом, в котором звучал восторг:

— О, мама, мама, я знаю это! Я давно чувствовала, что хоть мой супруг и пал от руки подлого врага, я все же должна быть счастливой. Да! Тот миг наивысшего земного счастья продолжает жить во мне, любимый супруг вновь будет со мной, и вот он — драгоценный залог сладострастного союза.

Княгине показалось, что все вокруг нее начало вращаться. Поведение Херменгильды, выражение ее лица, ее неподдельный восторг не оставляли места мысли о неискренности, о лицемерном обмане, и все else лишь полный безумец мог принять такое объяснение. Не справившись с собой, княгиня в сердцах оттолкнула девушку от себя и крикнула:

— Несчастная! Ты думаешь, что этими сказками сможешь водить меня за нос? Ты навлекла на всех нас несмываемый позор! Признайся во всем и покайся — только это сможет нас примирить.

Обливаясь слезами, Херменгильда упала перед княгиней на колени и взмолилась:

— Мама, и ты считаешь меня фантазеркой, и ты не веришь, что церковь соединила меня со Станиславом, что я его жена! Но посмотри же сюда, посмотри на это кольцо! Да о чем я говорю, ты же видишь мое состояние! Разве этого недостаточно, чтобы убедить тебя в том, что я не фантазирую? Пораженная княгиня поняла, что у Херменгильды и мысли не было о грехе, что она даже не поняла ее намека. Потрясенная, совершенно сбитая с толку, княгиня уже и впрямь не знала, что сказать несчастной и как приподнять завесу над этой тайной. Лишь через несколько дней она поведала своему супругу и графу Непомуку, что Херменгильда твердо убеждена в том, что беременна от своего супруга, и что ничего больше добиться от нее не удалось. Оба мужчины, кипя от гнева, посчитали Херменгильду лицемеркой, а разъяренный граф Непомук поклялся применить к дочери самые суровые меры, если она не откажется от безумной мысли подсунуть ему эту безвкусную и лживую выдумку. Княгиня возразила на это, что любая строгость обернется здесь бесполезной жестокостью. Сама же она уверена, что Херменгильда вполне искренна, что она всей душой верит в то, что говорит.

— В мире, — продолжала княгиня, — есть немало таинственного, осмыслить которое мы не в состоянии. Что если взаимодействие мыслей может иметь и физическое воздействие, что если духовная встреча Станислава и Херменгильды невероятным и чудесным образом привела к таким последствиям?

Несмотря на свои расстроенные чувства, князь и граф Непомук не смогли удержаться от смеха, когда княгиня изложила эту мысль, которую они объявили самой утонченной и возвышенной из всего, что только можно придумать. Княгиня, покраснев всем лицом, сказала, что неотесанным мужчинам разум тоже отказывает, что то положение, в которое попало ее несчастное дитя, в невинности которого она безоговорочно уверена, отвратительно и ужасно и что поездка, которую она хочет вместе с ней совершить, будет единственным средством избавить Херменгильду от осуждения и насмешек окружения. Граф Непомук нашел, что это самый лучший выход, ибо дочь не собиралась делать из своего положения никакого секрета, а это неизбежно повлекло бы за собой изгнание из их круга.

На том все и успокоилось. Непомук уже думал не о самой пугающей тайне, а лишь о том, как скрыть ее от света, насмешки которого были единственным, чего он страшился и чего хотел избежать. Он справедливо рассудил, что не остается ничего иного, как предоставить времени разгадать эту необыкновенную загадку. Они уже собирались разойтись после своего совещания, как вдруг неожиданный приезд графа Ксавера Р. принес с собой и новое смущение, и новую озабоченность. Разгоряченный быстрой скачкой, весь покрытый пылью, с поспешностью влекомого неистовой страстью, он ворвался в комнату и, не здороваясь, пренебрегая всеми правилами приличия, громким крикнул:

— Он мертв, граф Станислав! Не в плен попал, он зарублен врагами, и вот доказательства! С этими словами он сунул в руки графа Непомука несколько писем, которые вытащил из кармана. Тот в полной растерянности принялся их читать. Княгиня заглянула в листки и, едва разобрав несколько строк, возвела к небу глаза, прижала к груди сложенные руки и с болью воскликнула: "Херменгильда! Бедное дитя! Какая непостижимая тайна!" Она подсчитала, что день гибели Станислава совпадал с тем, когда об этом возвестила Херменгильда, и что все произошло именно так, как увидела она в тот таинственный миг.

— Он мертв,— повторил Ксавер горячо и торопливо,— Херменгильда свободна, теперь мне, который любит ее больше жизни, ничего более не препятствует, и я прошу ее руки!

Граф Непомук потерял дар речи и не смог ничего ответить; слово взял князь и попытался объяснить, что некоторые обстоятельства делают принятие этого предложения совершенно невозможным, что сейчас он не может даже видеть Херменгильду, и посему лучше всего ему незамедлительно удалиться туда, откуда он прибыл. Ксавер возразил, что расстроенное состояние духа Херменгильды, о котором, вероятно, идет речь, ему хорошо известно и что это обстоятельство не может быть препятствием, ибо именно его соединение с Херменгильдой как раз и положит этому состоянию конец. Княгиня убеждала его, что Херменгильда поклялась в вечной верности Станиславу и потому отвергнет любой другой союз, а кроме того, ее вообще нет в замке. Тогда Ксавер громко рассмеялся и сказал, что ему нужно получить лишь согласие ее отца, что же касается сердца Херменгильды, то пусть это предоставит ему. Выведенный из себя бестактной настойчивостью молодого человека, граф Непомук заявил, что он совершенно напрасно надеется на его согласие, по крайней мере сейчас, и что он должен немедленно покинуть замок. Ксавер с упрямым выражением посмотрел на него, открыл дверь в прихожую и крикнул, чтобы Войцех принес его саквояж, распряг лошадей и отвел их на конюшню. Затем он вернулся в комнату, уселся в кресло, стоявшее у окна, и заявил спокойно и серьезно, что, пока он не увидит Херменгильду и не поговорит с нею, его смогут выставить из замка только с помощью грубой силы. Непомук сказал, что в таком случае он может оставаться здесь как угодно долго, ибо в этом случае замок покинет он сам. После этого он вместе с князем и его супругой вышли из комнаты, чтобы как можно скорее увезти Херменгильду. Но волею случая именно в это время она вопреки своим привычкам вышла в парк, и Ксавер, глядя в окно, у которого сидел, заметил ее. Он помчался в парк и настиг Херменгильду как раз в тот момент, когда она заходила в злополучный южный павильон. Ее положение было уже очевидно почти для любого глаза. "О, силы небесные!" — воскликнул Ксавер и припал к ногам Херменгильды, призывая всех святых в свидетели своей горячей любви и умоляя сделать его самым счастливым из всех супругов. Херменгильда, беспредельно испуганная и растерянная, отвечала, что, верно, злой рок прислал его, чтобы нарушить ее покой. Никогда, никогда не станет она, связанная до самой смерти союзом с возлюбленным своим Станиславом, супругой другого. Когда к ней Ксавер не прекратил своих просьб и увещаний, когда наконец в порыве безумной страсти раскрыл ей, что она заблуждается, что именно ему, Ксаверу, она подарила сладкие мгновения любви, когда он, поднявшись, хотел заключить ее в объятия, она с отвращением оттолкнула его, презрительно крикнув:

— Жалкий, самовлюбленный дурак, как не можешь ты уничтожить сладкого залога моего союза со Станиславом, так не сможешь ты склонить меня к преступной измене, прочь с глаз моих!

И тогда протянул Ксавер к ней сжатый кулак, громко, издевательски засмеялся и закричал:

— Безумная, не ты ли сама нарушила эту дурацкую клятву? Ребенок, которого ты носишь под сердцем,— это *мой* ребенок, *меня* ты обнимала здесь, на этом самом месте, *моей* любовницей была и останешься ею, если я не сделаю тебя своей супругой!

Херменгильда посмотрела на него с адским огнем в глазах, затем с трудом молвила: "Чудовище!" — и упала наземь.

Словно преследуемый злыми фуриями, помчался Ксавер в замок; наткнувшись на княгиню, он порывисто схватил ее за руку и затащил в комнату.

— Она отвергла меня! Меня, отца ее ребенка!

— Во имя всех святых! Ты? Ксавер! Боже мой! Скажи же, как это могло случиться? — так кричала охваченная ужасом княгиня.

— Будь я проклят,— уже более сдержанно продолжал Ксавер,— пусть проклянет меня, кто угодно, но в жилах его течет такая же кровь, как и у меня, и в тот миг он совершил бы такой же грех. Я увидел Херменгильду в павильоне. Она лежала на скамейке и, казалось, была погружена в глубокий сон. Но как только я вошел, она поднялась, подошла ко мне, взяла за руку и торжественной поступью пошла по павильону. Затем она встала на колени, я сделал то же самое, она молилась, и я понял, что мысленно она видит стоящего перед нами священника. Херменгильда сняла с пальца кольцо и протянула его священнику, я взял его и надел ей свое кольцо, после чего она в порыве любви упала в

мои объятия... Когда, потрясенный случившимся и растерянный, я убежал, она находилась в глубоком беспомоществе.

— Вы ужасный человек! Какое святотатство! — воскликнула княгиня вне себя. Вошли граф Непомук и князь. Узнав о признании Ксавера, мужчины отнеслись к его поступку с пониманием и далее нашли его извинительным, чем глубоко ранили нежную душу княгини.

— Нет! — сказала она. — Никогда Херменгильда не отдаст свою руку и сердце тому, кто подобно нечестивому исчадию ада ужасным кощунством отравил наивысший миг ее жизни.

— Она будет вынуждена сделать это, чтобы спасти свою честь, — надменно и холодно промолвил Ксавер, — я останусь здесь, и все уладится.

В этот момент раздался глухой шум: в замок принесли Херменгильду, которую садовник нашел бесчувственной в павильоне. Ее положили на софу; не успела княгиня этому помешать, как подошел Ксавер и взял ее за руку. Она вскочила с ужасным, нечеловеческим криком, с криком, напоминающим вой дикого зверя, тело ее билось в конвульсиях, а глаза горели жутким безумным огнем. Ксавер отшатнулся, словно пораженный смертоносной молнией, и едва слышно пролепетал: "Лошадей!" По знаку княгини его проводили вниз. "Вина! Вина!" — вскричал он, опрокинул в себя несколько стаканов, вскочил в седло и умчался прочь. Состояние Херменгильды, которое, казалось, вот-вот перейдет из тупого помешательства в дикое неистовство, заставило Непомука и князя изменить свое мнение: лишь теперь осознали они весь ужас рокового поступка Ксавера. Они хотели послать за врачом, но княгиня решительно воспротивилась, ибо здесь могло помочь, очевидно, лишь духовное утешение. Поэтому вместо врача в замке появился монах-кармелит Киприанус, духовник семьи. Ему удалось вывести Херменгильду из обморока, вызванного глубоким умопомрачением. Более того, вскоре она сумела совладать с собой и почти успокоилась. Она совершенно осмысленно разговаривала с княгиней, поведав ей, что после родов желает, искупая свой грех, провести жизнь в цистерцианском монастыре в О. Свои траурные платья она дополнила вуалью, которая надежно скрывала ее лицо и которую она никогда более не поднимала. Тем временем князь З. написал письмо бургомистру А., у которого Херменгильда должна была дожидаться родов; отвезти ее туда он поручил аббатисе цистерцианского монастыря, родственнице семьи. Официальная версия была такова, что княгиня З. и Херменгильда отправляются в Италию. В полночь карета, которая должна была доставить Херменгильду в монастырь, остановилась у ворот замка. Сломленные горем, Непомук, князь и княгиня ждали несчастное дитя, чтобы попрощаться. Наконец она вышла вместе с монахом в ярко освещенную свечами комнату. Киприанус торжественно произнес:

— Сестра Келестина совершила в миру тяжкий грех: дьявольское искушение совратило ее чистую душу, но взятый ею обет принесет ей утешение, покой и вечное блаженство. Никогда более мир не увидит ее лица, красота которого привлекла дьявола. Смотрите сюда! Так начинается и закончит Келестина свое покаяние!

С этими словами монах поднял вуаль, и острая боль пронзила всех присутствующих, когда они увидели мертвенную маску, за которой навсегда скрылось ангельски прекрасное лицо Херменгильды. Не в силах вымолвить ни слова, она попрощалась с отцом, который, вконец измученный невыносимой душевной болью, сам готов был распрощаться с жизнью. Обычно сдержанный князь тоже обливался слезами, и лишь княгине удалось огромным усилием воли скрыть ужас, который вызвал в ней этот страшный обет, и попрощаться с Херменгильдой без рыданий, с мягкой, цемпящей грустью.

Как узнал граф Ксавер местопребывание Херменгильды, а также то обстоятельство, что родившийся ребенок должен был быть посвящен церкви, осталось загадкой. Похищение младенца окончилось трагически: когда Ксавер добрался до Р., где он собирался передать ребенка в руки доверенной женщины, тот был не в обмороке от холода, как он полагал, а мертв. После этого граф Ксавер бесследно исчез, и все полагали, что он покончил счеты с жизнью.

Спустя несколько лет молодой князь З. во время своей поездки в Неаполь попал в окрестности Позитанно и остановился у монастыря камальдуленцев, чтобы полюбоваться открывшимся ему замечательным видом. Он как раз собирался взойти на вершину скалы, которая показалась ему самой красивой точкой, когда заметил монаха, который сидел прямо перед ним на камне и, держа на коленях раскрытый молитвенник, смотрел вдаль. Его совсем еще молодое лицо было омрачено глубокой тоской. Князь все более внимательно присматривался к монаху, и у него возникло смутное воспоминание. Он подошел поближе — и ему сразу же бросилось в глаза, что молитвенник был на польском языке. После этого он обратился к монаху по-польски, тот вздрогнул, словно от удара, а увидев князя, поспешно отвернулся, скрывая свое лицо, и стремительно скрылся в густых зарослях. Рассказывая графу Непомуку об этом происшествии, князь Болеслан утверждал, что этот монах был не кем иным, как графом Ксавером.

КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ

Всякому путешественнику, который в хорошее время дня подъедет с южной стороны к городку Г., бросится в глаза стоящий направо от большой дороги красивый дом, диковинные пестрые зубцы которого возвышаются над темными кустами. Эти кусты окаймляют обширный сад, далеко раскинувшийся вниз по долине. Если ты будешь проезжать здесь, любезный читатель, то задержись немного в твоём пути и не пожалей нескольких монет, которые придется дать садовнику на водку. Выйди из экипажа и попроси показать тебе дом и сад, сказавши, что ты хорошо знал покойного владельца этой уютной усадьбы надворного советника Ройтлингера.

В сущности, ты не погресишь против истины, если прочтешь до конца то, что я намерен тебе рассказать, ибо тогда, я надеюсь, надворный советник Ройтлингер так ясно предстанет перед твоими глазами со всеми своими странными поступками, как будто ты и в самом деле был с ним знаком... Ты увидишь, что снаружи дом этот имеет в качестве отделки старинные украшения; ты справедливо посетуешь на безвкусию и некоторую бессмысленность окраски стен, но, взглядевшись, заметишь, что от этих раскрашенных стен веет каким-то диковинным духом, и с некоторым таинственным страхом войдешь в широкий вестибюль.

На разделенных на полосы стенах увидишь ты нарисованные яркими красками арабески, изображающие диковинные сплетения фигур людей и животных, цветов, фруктов и камней, значение которых тебе покажется ясным без дальнейших объяснений.

В высокой зале в два света, занимающей всю ширину нижнего этажа, предстанет перед тобой в виде золоченых лепных фигур все то, что перед тем ты видел нарисованным. В первую минуту ты заговоришь об испорченном вкусе века Людовика Четырнадцатого и будешь бранить причудливость, преувеличенность, резкость и безвкусию этого стиля, но если ты хоть сколько-нибудь согласен со мной и у тебя нет недостатка в фантазии, что я всегда предполагаю, любезный читатель, то вскоре ты забудешь все свои справедливые упреки. В странной этой прихоти ты увидишь смелую игру мастера с образами, над которыми он умел неограниченно властвовать, и почувствуешь, что все здесь пронизано горькой иронией земной жизни, иронией, свойственной только смертельно раненым, страдающим, глубоким сердцам. Советую тебе, любезный читатель, побродить по маленьким комнатам второго этажа, окружающим залу, как галереей, из окон которых можно смотреть в эту залу. Здесь украшения очень просты, но там и сям ты наткнешься на немецкие, арабские и турецкие надписи, имеющие необычный вид.

Потом ты пойдешь в сад, распланированный на старинный французский манер; ты увидишь длинные, широкие дорожки, обрамленные высокими стенами из таксусов, и обширные боскеты; всюду статуи и фонтаны. Я не знаю, любезный читатель, почувствуешь ли ты вместе со мной строгий и торжественный характер этого сада и не предпочитаешь ли ты этому произведению искусства то безобразие, которое устраивают в наших так называемых английских садах посредством мостиков, ручейков, беседочек и гротиков. В конце сада ты наткнешься на мрачную рощу из плакучих ив, плакучих берез и печальных сосен. Садовник скажет тебе, что если посмотреть на этот лесок с высоты дома, то хорошо видно, что он имеет форму сердца. В центре его находится павильон из темного силезского мрамора, тоже имеющий форму сердца. Войди в него. Пол здесь выложен белыми мраморными плитами, а посередине — оправленный в белый мрамор темно-красный камень, изображающий сердце в натуральную величину. Наклонись — и заметишь высеченные на камне слова: *здесь покоится!*

В этом павильоне, у темно-красного каменного сердца, еще не имевшего тогда никакой надписи, стояли в день Рождества Богородицы, в тысяча восемьсот... году высокий, представительный старик и пожилая дама, оба очень богато и красиво одетые по моде тысяча семьсот шестидесятого года.

— Как, мой милый советник, — обратилась к своему спутнику пожилая дама, — пришла вам в голову странная, чтобы не сказать — ужасная, мысль сделать в этом павильоне надгробный памятник моему сердцу, которое должно покоиться под красным камнем!

— Не будем говорить об этом, дорогая советница, — отвечал старый господин, — назовите это болезненной причудой раненого чувства, или вообще как хотите, но знайте, что когда я жестоко тоскую в этом богатом поместье, которое подбросила мне насмешливая судьба, как дают игрушку глупому ребенку, чтобы он утешился; когда вновь нахлынут на меня все пережитые страдания, я нахожу успокоение в этих стенах. Кровь моего сердца окрасила этот камень, но он холоден как лед; вскоре он будет лежать на моем сердце и охлаждать тот губительный пламень, который его пожирал.

Пожилая дама с глубокой печалью посмотрела на каменное сердце, склонилась над ним, и две большие жемчужные слезы упали на красный камень. Старый господин быстро схватил ее руку. Глаза его заблестали юношеским огнем, в его пламенном взгляде, как в далекой прекрасной стране, украшенной цветами и залитой отсветом вечерней зари, отражалось минувшее — время, полное любви и блаженства.

— Юлия! Юлия! И вы тоже могли так смертельно ранить это бедное сердце! — в голосе старого господина звучала глубокая скорбь.

— Не меня, — мягко, с нежностью проговорила старая дама, — не меня вините, Максимилиан! Что же оттолкнуло меня от вас, как ни ваш упрямый, непримиримый нрав, ваша пугающая вера в предчувствия, в чудесное, в видения, предвещающие несчастья? Не это ли заставило меня отдать наконец предпочтение более мягкому и снисходительному человеку, как и вы, предлагавшему мне руку и сердце? Ах, Максимилиан! Ведь вы же должны были чувствовать, как искренно я вас любила, но ваше вечное самоистязание доводило меня до изнеможения!

Старый господин выпустил руку дамы со словами:

— О, вы правы, госпожа советница, я должен оставаться один, ни одно человеческое сердце не должно ко мне льнуть, все, все, что способно на любовь и дружбу, отскакивает от этого каменного сердца!

— Сколько горечи, — покачала головой пожилая дама, — сколько несправедливости по отношению к себе самому и к другим! Кто же не знает, что вы самый щедрый благодетель несчастных, самый непоколебимый поборник права; но какая злая судьба вселила в вашу душу эту недоверчивость, которая так часто в каком-нибудь слове, взгляде, невольном поступке прозревает несчастье?

— Разве не питаю я большой любви ко всему, что ко мне приближается? — произнес старый господин смягчившимся голосом и со слезами на глазах. — Но эта любовь разрывает мне сердце вместо того, чтобы его согреть!.. Ах, — продолжал он, возвысив голос, — несповедимому духу мира заблагорассудилось наделить меня даром, который, отнимая меня у смерти, тысячу раз меня убивает. Подобно Вечному жиду, вижу я Каиново клеймо на челе лицемерного бунтовщика и тайные предостережения, которые, как детские загадки, часто подбрасывает нам на дороге таинственный властелин мира, которого мы называем случаем. Прекрасная женщина смотрит на нас светлыми, ясными глазами Изида, но того, кто не разгадает ее тайну, схватит она сильными львиными когтями и низвергнет в пропасть.

— Вот опять, — воскликнула пожилая дама, — опять эти ужасные сны! Где теперь милый, прелестный мальчик, сын вашего младшего брата, которого вы несколько лет назад так радушно, приняли и в котором зарождалось для вас столько любви и утешения?

— Я выгнал его, — сурово ответил старый господин, — это был злодей, змея, которую я пригнул у своего сердца на свою погибель!

— Шестилетний мальчик — злодей?! — переспросила пораженная дама.

— Вы знаете, — продолжал старый господин, — историю моего младшего брата, вы знаете, что он много раз обманывал меня, как последний мошенник, что в груди его умерло братское чувство и все мои благодеяния обращал он в оружие против меня. Однако, несмотря на все его неутомимые старания, ему не удалось погубить мою честь и жизнь. Вы знаете, как через много лет, впав в крайнюю нужду, он явился ко мне, как притворился, что переменял свой образ жизни и почувствовал ко мне любовь, как я его берег и лелеял, как он воспользовался потом своим пребыванием в моем доме для того, чтобы некоторые документы... но довольно об этом. Мне понравился его сын, и я оставил мальчика у себя, когда этот подлец, мой брат, вынужден был скрыться, ибо открылись все его козни, которые имели целью вовлечь меня в процесс, гибельный для моей чести. Предостерегающий знак судьбы избавил меня от злодея.

— Этот знак судьбы был, вероятно, один из ваших злых снов, — грустно заметила дама.

— Выслушайте и судите сами! Вам известно, что дьявольские проделки моего брата нанесли мне самый жестокий удар, который я когда-либо испытывал. Быть может... но умолчу об этом. Быть может, той

болезни души, которая тогда меня настигла, можно приписать мысль приготовить в этой роще место для могилы моего сердца. И я сделал это! Лесок в форме сердца был уже посажен, павильон построен, рабочие начали выкладывать мрамором пол. Я вошел в павильон посмотреть, как идет дело. И вот я замечаю, что в некотором отдалении мальчик, которого звали, как и меня, Макс, с прыжками и громким смехом катит что-то по земле. Мрачное подозрение закралось мне в душу. Я подошел к мальчику — и застыл на месте: он играл с красным камнем, вытесанным в форме сердца! "Мальчик, ты играешь с моим сердцем, как твой отец!" — с этими словами я в ужасе отшатнулся, когда он со

слезами на глазах подошел ко мне. Мой управляющий получил приказание удалить мальчика. Больше я его не видел.

— Ужасный человек! — воскликнула пожилая дама.

А старый господин, вежливо поклонившись, промолвил: "Грубые штрихи судьбы не подвластны утонченному дамскому суждению", взял ее под руку и вывел из павильона в рощу, а потом в сад. Старый господин был надворный советник Ройтлингер, а дама — тайная советница Ферд. Сад являл собою замечательнейшую и несколько комическую картину. Там собралось общество старых господ — тайных и надворных советников с семействами, приехавших из соседнего города. Все, даже молодые люди и барышни, были одеты по моде тысяча семьсот шестидесятого года: большие парики, высокие завивки, узкие платья, фижмы и так далее. Это производило впечатление, тем более странное, что характер сада вполне соответствовал этим костюмам. Всем казалось, что они точно по мановению волшебной палочки перенеслись в далекое прошлое. Этот маскарад был идеей Ройтлингера. Он имел обыкновение каждые три года, в день Рождества Богородицы, устраивать в своем имении *праздник старого времени* и приглашал всех, кто только пожелает явиться, с непременным условием, что каждый гость облечется в соответствующий костюм. В распоряжение молодых людей, которым трудно было соорудить себе такие одежды, Ройтлингер предоставлял свой собственный богатый гардероб. Очевидно, этот праздник, длившийся два или три дня, напоминал старому советнику его юность...

В одной из боковых аллей встретились Эрнст и Вилибальд. Оба некоторое время молча разглядывали друг друга, а потом разразились громким хохотом.

— Ты представляешь мне кавалером, бредущим по лабиринту любви,— сказал Вилибальд.

— А мне сдается, что я уже встречал тебя в какой-то азиатской стране.

— Но, право же,— продолжал Вилибальд,— идея старого советника недурна. Он хочет мистифицировать себя самого и воскресить время, в котором жил полной жизнью, хотя он и теперь еще бодр и силен, удивительно молод душой, способен заткнуть за пояс многих преждевременно отупевших юношей своей впечатлительностью и фантастическим умом. И он может не волноваться, что кто-нибудь изменит своему костюму словом или жестом. Смотри, как женственно выступают наши молодые дамы в своих фижмах, как умеют они пользоваться веером. И меня самого охватила совершенно особый дух старинной галантности, когда поверх своей прически à la Titus я нахлобучил парик. Как только я увидел это милейшее дитя, меньшую дочь тайного советника Форда прелестную Юлию, что-то заставило меня с покорным видом подойти к ней и объяснить следующим образом: "Прекраснейшая Юлия! Когда же обрету я давно желанный покой, дарованный твоей взаимностью? Ведь невозможно, чтобы в храме такой красоты обитал лишь каменный бог. Мрамор портится от дождя, а бриллиант смягчается кровью. Твое же сердце хочет уподобиться наковальне, которая только твердеет от ударов. Чем сильнее удары моего сердца, тем бесчувственнее становишься ты. О, как хочу я быть предметом твоих взоров, посмотри, как пылает мое сердце, как душа моя жаждет освеженья, которое может дать ей только твое расположение. Ах! Ужели ты огорчишь меня молчанием, бесчувственная? Ведь и мертвые скалы отвечают вопрошающим звуками эха, а ты не хочешь удостоить безутешного никаким ответом? О, прелестная!.."

— Прошу тебя,— прервал Эрнст своего красноречивого, театрально жестикулирующего друга,— прошу тебя, остановись, ты снова впал в свое безумное настроение и не замечаешь, что Юлия, которая сначала приветливо с нами разговаривала, стала нас теперь избегать. Скорее всего, она думает, что ты над ней насмехаешься. Ты рискуешь прослыть язвительным сатиром, а также накличешь эту беду и на меня,— уже все говорят с косыми взглядами и кислыми улыбками: "Это друг Вилибальда".

— Ах, оставь! — отмахнулся Вилибальд.— Я знаю, что многие меня избегают; в их числе есть и юные девушки, но мне известна цель, к которой ведут все дороги. Я знаю также, что, встретив меня или, вернее, непременно наткнувшись на меня в своем собственном доме, они протянут мне руку с самыми дружескими чувствами.

— Ты подразумеваешь такое же примирение, как на пороге вечности, когда мы стряхиваем с себя все земные стремления.

— Ах, пожалуйста,— перебил Вилибальд,— не будем касаться снова давно известных вещей, да еще в такое неподходящее время. Давай лучше предадимся созерцанию всех тех чудес, которыми окружила нас фантазия Ройтлингера. Видишь ли ты это дерево, огромные белые цветы которого колеблются от ветра? Это не может быть *Sactus grandiflorus**, потому что тот цветет только ночью и я не ощущаю свойственного ему сильного запаха. Одному Богу известно, какое диковинное дерево посадил надворный советник в своем Тускулуме**.

* Известно под названием "Королева ночи"

** Tusculum (*лат.*) — поместье.

Друзья подошли ближе и немало удивились, увидев вместо экзотического растения густой, темный куст бузины; "цветы" же были не что иное, как развешенные на ветках напудренные парики, которые раскачивались со своими кошельками и косицами, служа причудливой игрушкой для шаловливого южного ветра. Громкий смех раскрыл им, что скрывалось за кустами.

Целая компания добродушных, полных жизни стариков собралась на широком луку, окаймленном пестрым кустарником. Сняв сюртуки и повесив стесняющие их парики на куст бузины, они играли в мяч. При этом никто не мог перещегоолять надворного советника Ройтлингера, который подбрасывал мяч на невероятную высоту, да так ловко, что он непременно падал в руки партнера.

В эту минуту раздалась весьма немелодичная музыка, которую издавали маленькие свистульки и глухой барабан. Все поспешили бросить игру и схватить свои сюртуки и парики.

— Это еще что такое? — удивился Эрнст.

— Вероятно, идет турецкий посланник, — ответил Вилибальд.

— Турецкий посланник? — Я называю так, — объяснил Вилибальд, — барона фон Экстера, живущего в Г. Ты новичок здесь и еще не знаешь, что это самый большой оригинал, какого только можно сыскать на этом свете. Он был когда-то посланником при константинопольском дворе и до сих пор греется отраженным светом этой, вероятно, счастливейшей весны своей жизни. Дворец, в котором он обитал в предместье Перу*, напоминает в его описании волшебные бриллиантовые дворцы из "Тысячи и одной ночи", а его образ жизни — премудрого царя Соломона, на которого он хочет походить еще и тем, что обладает, по его утверждению, властью над неведомыми силами природы.

* Городской район в Константинополе.

И в самом деле, несмотря на все свое хвастовство и далее шарлатанство, барон Экстер имеет в себе нечто мистическое, что контрастирует с его несколько комичной внешностью. Этим благоговейным отношением к тайным наукам и объясняется его близость с Ройтлингером, который предан этим вещам душою и телом. Оба чудаки и мечтатели, но каждый на свой манер, оба к тому же убежденные месмеристы...

Разговаривая так, друзья дошли до больших ворот садовой ограды, через которые только что прошествовал турецкий посланник. Это был маленький, круглый человечек в богатой турецкой шубе и высокой чалме, сделанной из пестрой шали. По привычке он не снял, однако, своего узкого парика с косичкой и маленькими буклями, не смог расстаться и с войлочными сапогами, спасавшими его от подагры (и то, и другое, конечно, плохо вязалось с турецким костюмом). Его спутники, производившие режущий слух музыкальный шум, в которых Вилибальд, несмотря на переодевание, узнал баронского повара и других слуг, были наряжены маврами и имели на головах разрисованные остроконечные бумажные шапки; их одеяния напоминали санбенито, что было довольно смешно. Турецкого посланника вел под руку старый офицер, судя по одежде воскресший и восставший с одного из полей битвы Семилетней войны. Это был генерал Риксендорф, комендант Г., который, желая угодить надворному советнику, тоже нарядился со своими подчиненными в старинные костюмы.

"Salaina milek!"* — сказал надворный советник, обнимая барона Экстера, который снял тюрбан, а потом снова нахлобучил его на парик, стерев со лба пот индийским платком. В это время на ветвях вишневого дерева зашевелилось некое сияющее золотое пятно, которое давно уже с интересом рассматривал Эрнст, будучи не в силах угадать, что же это такое.

* Приветствую тебя, о, король! (*араб.*)

А был это тайный коммерции чиновник Гаршер, облаченный в парадный костюм из золотого штофа, такие же панталоны и жилет из серебряного штофа, усеянного голубыми и розовыми букетиками. Он довольно проворно для своих лет слез с прислоненной к дереву лестницы и, запев очень приятным, но слегка квакающим или, вернее, пискливым голосом: "Ah, che vedo, o Dio, che sento!"*, поспешил обнять турецкого посланника. Коммерции советник провел свою юность в Италии, был большим любителем музыки и все еще хотел петь, как Фаринелли**, хоть голос его давно уже звучал надтреснутым фальцетом.

— Гаршер набил себе карманы поздними вишнями, — шепнул Вилибальд приятелю, — и собирается предложить их дамам, неясно напевая при этом какой-нибудь мадригал. Но так как он,

подобно Фридриху Второму, носит свой табак не в табакерке, а прямо в кармане, то, боюсь, его любезность будет встречена лишь отказами и кислыми физиономиями. Турецкого посланника везде встречали с радостью и ликованием, как и героя Семилетней войны. Юлиа Ферд приветствовала его с детским почтением, она низко склонилась перед старым господином и хотела поцеловать ему руку, но тот резво отскочил от нее с возгласами:

* О, что вижу! О, Боже, что я слышу! (*лат.*)

** Известный певец-сопрано (кастрат).

"Вздор! Вздор!", а потом порывисто обнял Юлию, очень сильно наступив при этом на ногу коммерции советнику Гаршперу, и засеменял рядом с Юлией, взяв ее под руку.

— Что у старика с этой девушкой? — спросил Эрнст.

— Верно, какое-нибудь важное дело, — ответил Вилибальд, — потому что, хотя Экстер и крестный девушки, и совсем без ума от нее, но он не имеет обыкновения сейчас же убежать с ней из общества. В эту минуту турецкий посланник остановился, вытянул вперед правую руку и крикнул сильным голосом, разнесшимся по всему саду: "Apporte!"*. Вилибальд разразился громким смехом.

— Вероятно, — предположил он, — все дело в том, что Экстер в тысячный раз рассказывает Юлии свою замечательную историю про тюленя.

Эрнст немедленно захотел узнать, что это за история.

— Дворец Экстера стоял у самого Босфора, — начал рассказывать Вилибальд, — его ступени из лучшего каррарского мрамора спускались к самому морю. Однажды Экстер стоял на галерее, погруженный в глубокое раздумье, от которого пробудил его чей-то душераздирающий крик. Экстер оборачивается и видит, что вынырнувший из моря громадный тюлень выхватил из рук бедной турчанки, сидевшей на ступенях, ребенка, удаляется с ним от берега. Экстер спешит туда, женщина, плача и рыдая, припадает к его ногам, Экстер, недолго думая, спускается к самой воде, вытягивает руку и громко кричит: "Apporte!" Тюлень сейчас же выплывает из морских глубин, держа в широкой пасти мальчика, осторожно подает его, целого и невредимого, волшебнику-Экстеру и, не дожидаясь благодарности, снова ныряет в море.

* Неси сюда! (*франц.*)

— Сильное, однако, средство! — заметил Эрнст.

— Видишь, — продолжал Вилибальд, — Экстер показывает Юлии какое-то кольцо? Добродетель не остается без награды. Мало того, что Экстер спас сына турчанки, — зная, что муж ее, бедный носильщик, едва зарабатывает на хлеб, он подарил ей несколько золотых вещиц и монет, вероятно, мелочь — двадцать или тридцать талеров. Зато женщина сняла с пальца кольцо с маленьким сапфиром и принудила Экстера взять его, уверяя, что это дорогая фамильная вещь и только поступок Экстера ее достоин. Экстеру кольцо показалось небольшой ценности, и он немало удивился, когда, разобрав впоследствии едва видимую надпись на ободке кольца, узнал что оно служило печатью великому Али. Теперь он заманивает этим кольцом голубок Магомета.

— Да, преудивительные вещи! — засмеялся Эрнст, — но посмотрим, что делается вон в том кругу, в центре которого приседает, как картезианский чертик, и напевает какое-то маленькое существо. Друзья ступили на круглый лужок, вокруг которого сидели старые и молодые господа и дамы, а в середине подпрыгивала очень пестро одетая небольшого росточка женщина с большой круглой головой и, прищелкивая пальцами, пела слабым, тонким голоском: "Amenez vos troupeaux, bergères!"* — Можешь ли ты себе представить, — сказал Вилибальд, — что эта крикливо разодетая особа, которая ведет себя, как маленькая девочка, — старшая сестра Юлии? К несчастью, она принадлежит к числу женщин, которых природа дразнит с горькой иронией; несмотря на все их сопротивление, они осуждены на вечное детство из-за их фигуры и всего существа; даже в старости они еще кокетничают с этой детской наивностью и становятся всем в тягость, причем часто не бывает недостатка и в насмешках.

* Гоните домой свое стадо, пастушки

Обоим приятелям эта дамочка с ее французскими песенками показалась просто ужасной, поэтому они так же незаметно ушли, как и пришли, и охотнее присоединились к турецкому посланнику, который повел их в залу, где с закатом солнца готовили все для музицирования, Остерляйнский рояль* был открыт, несколько попитров расставлено перед местами для артистов. Понемногу собралось

общество, и разнесли угощение на богатом, старинном фарфоре. Ройтлингер взял скрипку и с большим искусством и страстью сыграл сонату Корелли, причем ему аккомпанировал на рояле Риксендорф; затем показал себя мастером игры на торбанае золототканый Гаршер. Потом тайная советница Ферд с редкой выразительностью запела большую итальянскую сцену Анфосси, Голос у нее был старческий, дрожащий и неровный, но все это компенсировалось удивительным мастерством ее пения. В просветленном взоре Ройтлингера сиял восторг, как во времена давно пропешедшей юности. Adagio было окончено, Риксендорф заиграл Allegro, как вдруг дверь залы отворилась и вбежал хорошо одетый молодой человек красивой наружности, разгоряченный и совершенно запыхавшийся. Он бросился к ногам Риксендорфа, восклицая:

— О, генерал! Вы спасли меня! Вы один! Все уладилось, все! Боже мой, как мне вас благодарить?!

Генерал казался смущенным, он осторожно поднял молодого человека и, успокаивая его разными словами, увел в сад. Общество было заинтриговано этим событием, каждый узнал в юноше писца тайного советника Ферда и смотрел на советника с любопытством, но тот все нюхал табак и говорил с женой по-французски. Наконец турецкий посланник подошел к нему и не постеснялся задать прямой вопрос, на что Ферд заявил всему обществу:

"Я никак не могу объяснить себе, многоуважаемые господа, каким ветром принесло сюда моего Макса, да еще с такими экзальтированными проявлениями благодарности, но сейчас буду иметь честь..."

Тут он выскользнул за дверь, а Вилибальд направился вслед за ним.

Трилистник Фердовского семейства — три сестры Нанетта, Клементина и Юлия — вели себя совершенно поразному. Нанетта раскрывала и закрывала веер, говорила об *étour-derie*** и наконец снова попыталась запеть о пастушках, на что, впрочем, никто не обратил никакого внимания. Юлия отошла в сторону, в уголок и стала спиной к обществу, как будто хотела скрыть не только свое пылающее лицо, но и слезы, которые, как уже не раз замечали, навертывались ей на глаза.

— Радость и горе одинаково больно ранят грудь несчастного человека; но разве бледную розу не окрашивает более живым цветом капля крови, что брызнула из-под ее острого шипа? — с пафосом промолвила Клементина, хватая за руку красивого молодого блондина, настойчиво пытавшегося выпутаться из плена розовых лент, которыми опутала его Клементина, подозревая, что в них есть слишком острые шипы.

* Изготовленный берлинским мастером Остерляйном.

** безрассудства (*франц.*)

— О, да! — вяло улыбнулся молодой человек, потянувшись при этом за стаканом вина, который он охотно бы осушил после сентиментальных речей Клементины. Из этого, однако, ничего не вышло: Клементина крепко держала его левую руку, а он только что взял в нее кусочек сладкого пирога. В эту минуту в залу вошел Вилибальд и все набросились на него с тысячью вопросов: как? что? почему? и зачем? Он утверждал, что ровным счетом ничего не знает, но делал при этом весьма хитрое лицо.

От него не отставали: все видели, что он ходил по саду с тайным советником Фердом, генералом Риксендорфом и писцом Максом и оживленно с ними беседовал.

— Если уж мне придется, — сдался он наконец, — до времени разболтать важнейшее из событий, то позвольте мне сначала задать несколько вопросов и вам, многоуважаемые дамы и господа!

Ему охотно это позволили. Вилибальд начал патетическим тоном:

— Известен ли всем вам писец господина тайного советника Ферда Макс как благовоспитанный юноша, щедро одаренный природой?

— Да, да, да! — воскликнули хором дамы.

— Известны ли вам, — продолжал Вилибальд, — его прилежание, толк в науках и искусство в делах?

— Да, да! — подтвердили хором мужчины.

— Да, да! — отозвались одновременно мужчины и дамы, когда Вилибальд спросил, слывет ли Макс за веселого малого, с головой, набитой всякими шутками и штуками, и наконец за такого искусного рисовальщика, что Риксендорф, который сам создал удивительные вещи как живописец-любитель, не погнушался давать ему уроки.

— Некоторое время тому назад, — приступил к своему рассказу Вилибальд, — молодой мастер из уважаемого портняжного цеха справлял свадьбу. Было очень шумно: гудели контрабасы, гремели на всю улицу трубы. В отчаянии смотрел на освещенные окна этого дома слуга господина тайного советника Иоганн; сердце его готово было разорваться: там, среди танцующих, находилась его Эттхен. Когда же Эттхен выглянула в окно, он не выдержал: надел свое лучшее платье, вбежал в дом и смело вошел в танцевальную залу.

Его пустили, но с оскорбительным условием, что всякий портной будет иметь перед ним преимущество в танцах, причем он, конечно же, должен был танцевать с самыми некрасивыми, с дурным характером девушками, которых никто не желал приглашать. А Этхен была приглашена на все танцы, но, увидя милого, забыла все свои обещания, и счастливый Иоганн растолкал ледащих портнишек, претендовавших на Этхен, так, что они ничком повалились друг на друга. Это послужило сигналом к бою. Иоганн дрался как лев, раздавая пинки и затрещины налево и направо, но на стороне врагов был перевес в численности, и вскоре портняжки подмастерья с позором выпвырнули его на лестницу. Разъяренный, он громко ругался, произносил проклятия и намеревался выбить окна в доме.

Как раз в это время мимо проходил Макс, возвращавшийся домой. Он вступился за несчастного Иоганна, не позволив возмущенной толпе расправиться с ним. Иоганн рассказал приятелю про свое несчастье и все шумно жаждал мести, но умному Максудалось наконец его успокоить, пообещав стать на его сторону и так отомстить за нанесенные ему оскорбления, чтобы он остался удовлетворен. Тут Вилибальд остановился.

— Ну! Ну! А дальше?.. Свадьба портного, влюбленная пара, побои — чем же все закончилось? — кричали со всех сторон.

— Позвольте,— продолжал Вилибальд,— позвольте вам заметить, многоуважаемые слушатели, что, говоря словами знаменитого ткача Основы, в этой комедии об Иоганне и Этхен есть вещи, которые далеко не всем понравятся. Быть может, мне придется даже погрешить против тонких приличий.

— Уж вы это как-нибудь сумеете устроить, милый мой Вилибальд,— сказала старая институтская советница фон Крийн, хлопая его по плечу,— я, со своей стороны, не особенно щепетильна.

— Писец Макс,— продолжал Вилибальд,— на другой же день принялся за дело; он взял огромный лист веленовой бумаги, карандаш и тушь и очень живописно изобразил большого, красивого козла. Морда этого замечательного животного предоставляла физиогномистам богатый материал для изучения. Умный взгляд его выражал мучительную озабоченность, вокруг рта и бороды были выписаны складки, причем так мастерски, что зрителю казалось, будто они судорожно дергаются. Дело в том, что добрый козел был занят тем, что очень естественным, хотя и болезненным образом производил на свет премиленьких, маленьких портнишек, вооруженных ножницами и утюгами, которые образовывали весьма выразительные группы. Под картиной были написаны стихи, которые я, к сожалению, позабыл, но, если я не ошибаюсь, первая строчка была такая: "Эй, что такое съел козел?.." Могу вас уверить, что этот замечательный козел...

— Довольно, довольно! — замахали руками дамы,— будет об этом противном животном, мы хотим услышать про Макса!

— Названный Макс,— повествовал Вилибальд,— отдал свою оконченную и вполне удавшуюся картину оскорбленному Иоганну, который так ловко сумел прибить ее к портняжной харчевне, что снять ее оказалось нелегким делом, и праздный народ весь день на нее глазел. Уличные мальчишки, ликуя, бросали вверх свои шапки и, танцую перед каждым портняжкой, который показывался на улице, отчаянно визжали и пели:

— Э, что такое съел козел?

— Картину эту нарисовал не кто иной, как Макс, что служит у тайного советника,— вынесли свое заключение художники.

— Стишки эти написал Макс, что служит у тайного советника! — внесли свою лепту мастера письменного дела, когда достойный портняжный цех стал собирать необходимые сведения. На Макса подали жалобу, и так как он не опустился до того, чтобы отпираться, то ему грозила тюрьма. Тогда Макс в отчаянии побежал к своему покровителю генералу Риксендорфу. Он был уже у всех адвокатов, — те морщили лбы, качали головами и советовали все отрицать, но это не нравилось честному Максуду. Генерал же сказал ему так:

— Ты сделал глупую штуку, мой милый сын, адвокаты тебя не спасут, но это сделаю я, и только потому, что в твоей картине, которую я только что видел, — верный рисунок и разумное распределение фигур. Козел очень выразителен, лежащие на земле портные составляют хорошую пирамидальную группу, живописную и не утомляющую глаз. Очень умно обработал ты в качестве главной фигуры нижней группы портного в муках удушения; на его лице написано страдание Лаокоона! Похвально и то, что падающие портные не висят в воздухе, а действительно падают, хотя и не с неба; некоторые слишком смелые ракурсы прекрасно замаскированы утюгами, ты также очень живо изобразил надежды новорожденных.

Дама начали нетерпеливо роптать, а золототканый советник прошептал:

— Но процесс Макса, дражайший?

— Вместе с тем не хочу тебя разочаровывать,— продолжал генерал (вел далее Вилибальд), — но идея картины не твоя, она очень стара, однако именно это тебя и спасет! — С этими словами генерал начал рыться в своем старом шкафу и вынул оттуда кисет, на котором оказалась воспроизведена — очень хорошо и почти так же, как у Макса,— идея его любимца; кисет этот он предоставил в распоряжение Макса, и все уладилось.

— Но как, как? — кричали все, перебивая друг друга; юристы же, находившиеся в обществе, понимающе расхохотались, а тайный советник Ферд, который тем временем тоже вошел, сказал улыбаясь:

— Он отрицал *animam injuriandi* — намерение оскорбить, и его освободили.

— То есть, другими словами,— перебил Вилибальд,— Макс сказал судьям: "Не стану отрицать, что картина сделана мною, но сделана без всякой задней мысли; нисколько не желая оскорбить глубоко уважаемый мною портняжный цех, я скопировал, картину с оригинала, который и представляю здесь, это кисет, принадлежащий моему учителю рисования генералу Риксендорфу. Некоторым вариациям этого оригинала обязан я своей творческой фантазией. Картина у меня пропала, я ее никому не показывал и уж тем более никуда не прибывал. И пусть это напрасное обвинение останется на совести уважаемого портняжного цеха". Словом, Макс был отпущен. Вот в этом и причина его благодарности и необычайной радости. Все нашли, что манера, в которой Макс выразил свою благодарность, не может быть вполне мотивирована только что ставшими известными обстоятельствами, лишь одна советница Ферд сказала взволнованным голосом:

— У юноши очень впечатлительная душа и более развитое чувство чести, чем у кого-либо другого. Если бы ему пришлось понести незаслуженное наказание, он был бы так несчастлив, что навсегда оставил бы Г.

— Быть может,— высказал предположение Вилибальд,— за всем этим кроется нечто совсем особенное.

— Так оно и есть, милый Вилибальд,— подтвердил Риксендорф, который как раз вошел и слышал слова советницы, — и, даст Бог, вскоре все это объяснится и завершится благополучным образом. Клементина нашла, что вся эта история весьма неясна, Нанетта ничего не думала, а Юлия сделалась очень весела. Теперь Ройтлингер забавлял общество танцами. Четыре торбана, два рожка, две виолы и два контрабаса составили оркестр и заиграли патетическую сарабанду. Старики танцевали, а молодые смотрели. Золототканый старичок тоже отличился, выделывая ловкие и смелые прыжки. Вечер прошел очень весело, таким же веселым было и следующее утро. День тоже должен был закончиться концертом и балом. Генерал Риксендорф уже сидел за роялем, золототканый советник взял в руки торбан, тайная советница Ферд держала ноты своей партии, ждали только возвращения Ройтлингера. Вдруг услышали тревожные крики, доносящиеся из сада, и увидели входящих слуг. Скоро внесли в комнату надворного советника со смертельно бледным лицом; садовник нашел его лежащим в глубоком обмороке на земле, неподалеку от павильона с сердцем. С криком ужаса Риксендорф отскочил от рояля. Все бросились к больному с возбуждающими средствами, положили его на диван и начали тереть лоб одеколоном; но турецкий посланник всех растолкал с криком:

— Прочь! Прочь, неумелые, невежественные люди! Вы сделали несчастным и немощным моего здорового и веселого товарища!

Он швырнул в сад поверх всех голов свой торбан и шубу, а потом начал описывать над советником таинственные круги ладонями; круги эти становились все уже и уже и наконец доходили не дальше висков и сердца советника. Тогда Экстер дунул на своего друга, и тот сейчас же открыл глаза и сказал слабым голосом:

— Экстер, ты нехорошо сделал, что меня разбудил! Темные силы предсказали мне близкую смерть, быть может, мне было предназначено заснуть и перейти в иной мир в этом глубоком обмороке.

— Вздор, мечтатель! — воскликнул Экстер,— твое время еще не пришло! Оглянись вокруг, брат мой, и смотри веселее, как подобает в обществе.

Тут советник заметил, что он находится в зале, в центре всеобщего внимания. Он проворно поднялся с дивана, вышел на середину залы и сказал с приятной улыбкой:

— Я сыграл перед вами печальную пьесу, многууважаемые дамы и господа, но я не предполагал, что неловкие слуги принесут меня прямо в залу. Забудем поскорее это неприятное интермеццо и начнем танцевать!

Музыка сейчас же заиграла, но как только гости плавно и церемонно задвигались в первом менюэте, надворный советник скрылся из залы вместе с Экстером и Риксендорфом. Когда они вошли в отдаленную комнату, измученный Ройтлингер бросился в кресло, закрыл лицо руками и воскликнул голосом, исполненным скорби:

— О, друзья мои! Друзья мои!

Экстер и Риксендорф справедливо полагали, что с советником произошло нечто ужасное и что он сейчас объяснит, в чем дело.

— Скажи нам, старый друг,— сказал Риксендорф,— с тобой случилось в саду что-то дурное?

— Не понимаю,— вмешался Экстер,— не понимаю, как могло сегодня, именно в эти дни, случиться с ним что-то дурное, когда его сидерический принцип представляется чище и прекраснее, чем когда-либо.

— И все же, Экстер,— глухим голосом произнес надворный советник,— скоро все кончится. Смелый духовидец не безнаказанно стучался в темные двери. Повторяю тебе — таинственная сила допустила меня заглянуть за завесу; мне предсказана близкая и, быть может, мучительная смерть.

— Так расскажи же нам, что с тобой случилось,— нетерпеливо перебил его Риксендорф,— я подозреваю, что все дело в воображении, вы оба портите себе жизнь своими фантазиями!

— Так узнайте же,— начал советник, вставая с кресла и становясь между обоими друзьями,— что привело меня в такой ужас, отчего я впал в глубокий обморок. Все вы уже собрались в зале, когда мне вдруг, сам не знаю почему, захотелось » одиночестве совершить прогулку по саду. Мои ноги невольно привели меня к роще. Мне показалось, что я слышу какой-то стук и тихий, жалобный голос. Звуки, по-видимому, доносились из павильона. Я подхожу ближе, дверь павильона открыта, и я вижу себя самого — себя самого! — но таким, как я был тридцать лет назад, в том самом платье, которое было на мне в тот роковой день, когда я в безутешном отчаянии хотел покончить с собой и Юлия явилась мне, как светлый ангел, в наряде невесты, — то был день ее свадьбы. Видение это стояло на коленях перед сердцем, ударяя по нему так, что оно звенело, и повторяло: "Никогда, никогда не смягчишься ты, каменное сердце!" Я стоял неподвижно, кровь застыла в моих жилах.

Тут из-за кустов вышла Юлия в платье невесты, во всем великолепии цветущей молодости и в сладостной тоске протянула руки к тому образу, ко мне, ко мне, юноше! Я потерял сознание и упал на землю.

Надворный советник почти без чувств упал в кресло, но Риксендорф схватил его за обе руки, потряс их и громко вскричал:

— Ты видел *это*, брат, только это и больше ничего? Я велю дать победные залпы из своих японских пушек! Твоя близкая смерть и это видение, все это — абсурд, нелепость! Я сейчас избавляю тебя от твоих злых снов, чтобы ты был здоров и еще долго жил на этом свете.

С этими словами Риксендорф выскочил из комнаты с такой быстротой, которую трудно было ожидать при его возрасте. Надворный советник немного разобрал из слов Риксендорфа, он сидел с закрытыми глазами. Экстер большими шагами мерял комнату, хмурил брови и говорил:

— Я подозреваю, что он снова захочет все объяснить обыкновенным образом, но это вряд ли ему удастся, не правда ли? Мы-то знаем толк в привидениях! Однако мне хотелось бы получить свой тюрбан и шубу.

Он сильно свистнул в маленькую серебряную свистульку, которую всегда носил при себе, и явившийся на этот сигнал один из мавров сейчас же принес по его приказанию и то, и другое. Вскоре пришла тайная советница Ферд, а за нею — ее муж и Юлия. Надворный советник овладел собой и, уверяя, что вполне хорошо себя чувствует, просил забыть этот прискорбный случай. Все уже собирались идти в залу, к Экстеру, который, сидя на диване в своем турецком костюме, пил кофе и курил табак из необычайно длинной трубки, головка которой, опирающаяся на колесики, ерзала по полу; но тут отворилась дверь, и в комнату стремительно вошел Риксендорф. Он держал за руку молодого человека, облаченного в старотатарский костюм. Это был Макс, при виде которого надворный советник окаменел.

— Вот твое "я", твое сонное видение,— возгласил Риксендорф,— это я устроил, что этот замечательный юноша остался здесь и получил через твоего камердинера из твоего гардероба нужное платье. Это он стоял на коленях в павильоне около твоего сердца, да-да, у твоего каменного сердца, суровый, бесчувственный дядя, преклонял колени твой племянник, которого ты безжалостно выгнал из-за безумных фантазий! Если твой брат и провинился перед тобой, он давно искупил свою вину смертью в крайней бедности, здесь же перед тобой сирота, твой племянник Макс, как и ты, похожий на тебя душою и телом, как сын на отца; храбро держится этот мальчик, теперь уже юноша, на волнах бушующего житейского моря, обними его, смягчи свое суровое сердце! Протяни ему благодетельную руку, чтобы у него была опора, когда на него налетит слишком сильная буря.

В покорно склоненной позе, со слезами на глазах подошел юноша к надворному советнику. Тот стоял бледный как смерть, со сверкающими глазами, гордо откинув голову, безмолвный и неподвижный. Но как только юноша хотел взять его руку, он оттолкнул его от себя, отступил на два шага и воскликнул страшным голосом:

— Проклятый! Ты хочешь меня убить? Прочь с моих глаз! Ведь ты играешь с моим сердцем и со мной! И ты, Риксендорф, замешан в этой пошлой интриге, которой меня угощают! Прочь, прочь с моих глаз, ты, ты, который рожден на мою погибель, ты, сын обманщика и пре...

— Остановись! — вскричал вдруг Макс, причем глаза его метали молнии гнева и отчаяния, — остановись, бессердечный, бесчувственный человек! Ты навлек стыд и позор на голову моего несчастного отца, который был лишь пагубно легкомысленным, но не преступным! А я, безумный глупец, думал, что когда-нибудь растрогаю твоё каменное сердце, обниму тебя с любовью и прощу тебе гибель отца! В нищете, покинутый всеми, но на груди у сына испустил свой дух мой отец. "Макс, будь мужествен! Прости моему непреклонному брату, будь ему сыном!" — таковы были его последние слова. Но ты отталкиваешь меня, как и все, что обещает тебе любовь и преданность; дьявол опутывает тебя своими обманчивыми снами! Так умри же одиноким, покинутым всеми! Пусть жадные слуги ждут твоей смерти и делят свою добычу, едва только ты закроешь свои истомленные жизнью глаза; вместо вздохов и неутешного плача тех, кто хотел до самой смерти окружать тебя верной любовью, ты услышишь, умирая, насмешки и хохот тех недостойных, которые ухаживали за тобой потому, что ты платил им презренным золотом! Никогда больше ты меня не увидишь!

Юноша бросился к двери, но тут Юлия с громким рыданием упала на пол; он быстро вернулся назад, схватил ее в свои объятия и порывисто прижал к груди, воскликнув полным отчаяния тоном:

— О, Юлия! Юлия! Всякая надежда потеряна!

Ройтлингер встал, дрожа всеми своими членами, губы его не могли произнести ни слова, но, когда он увидел Юлию в объятиях Макса, он вскрикнул как безумный, потом твердыми шагами подошел к ней, оторвал ее от Макса, приподнял и спросил едва слышно:

— Юлия, ты его любишь?

— Больше жизни, — отвечала Юлия с глубокой печалью, — больше жизни; кинжал, который вы вонзили в его сердце, попал также и в мое!

Тогда старик медленно ее отпустил и бережно посадил в кресло. Потом он встал, закрыв лицо руками. Вокруг была мертвая тишина. Ни одного звука, ни одного движения! Вдруг старик упал на колени. Со вспыхнувшим лицом, со светлыми слезами поднял он голову, простер руки к небу и промолвил тихим, торжественным голосом:

— Всемогущая, неисповедимая сила, такова твоя воля, чтобы запутанная жизнь моя послужила только зародышем, который, покоясь в земле, вырастает в свежее дерево с роскошными цветами и плодами!

О, Юлия, Юлия! О, я бедный, слепой глупец!

Ройтлингер спрятал свое лицо в ладонях, слышно было, как он рыдает. Это длилось несколько секунд; потом он вдруг вскочил, бросился к Макс, стоящему в совершенном оцепенении, прижал его к своей груди и заговорил как бы вне себя:

— Ты любишь Юлию! Ты — мой сын, нет, более того, ты — я, я сам! Все принадлежит тебе, ты богат, ты очень богат, у тебя есть имение, дома, наличные деньги. Позволь мне остаться с тобой, ты должен кормить меня на старости лет, ты ведь сделаешь это? Ведь ты любишь меня? Не правда ли? Ты должен меня любить, ведь ты же — я сам, не бойся моего каменного сердца, только крепче прижми меня к своей груди, твоя живая кровь его растопит! О, мой Макс! Мой сын, друг и благодетель!

И долго еще говорил он в таком духе, так что все даже испугались этих порывов слишком напряженного чувства. Догадливому другу Риксендорфу удалось наконец успокоить старика, который только придя в себя, до конца осознал, что приобрел он в этом прекрасном юноше, а также с глубоким волнением заметил, что и тайная советница Ферд видела в союзе своей Юлии с племянником Ройтлингера как бы возрождение давно умершего времени. Большое удовольствие высказал также тайный советник, который нюхал много табаку и говорил на прекрасном французском языке. Прежде всего должны были узнать об этом событии сестры Юлии, их, однако, невозможно было найти. Нанетту искали уже даже в больших японских вазах, стоявших в вестибюле, думая, что она, быть может, туда упала, чрезмерно нагнувшись над их краями, но напрасно! Наконец малютку нашли спящей под розовым кустиком, где ее не сразу заметили; тогда ее в отдаленной аллее нашли и Клементину: она громко кричала вслед убежавшему блондину, которого тщетно преследовала.

— О, люди часто слишком поздно понимают, как сильно их любили, как забывчивы и неблагодарны они были и как велико не признанное ими сердце!

Обе барышни были не совсем довольны браком младшей сестры, много более красивой и милой, чем они; особенно морщила свой маленький носик завистливая Нанетта; Риксендорф взял ее под руку и нашептал, что она может найти себе гораздо более знатного мужа, с еще более богатыми именьями. Она тут же повеселела и запела: "Amenez vos troupeaux, bergères". Клементина же изрекла очень серьезно и важно:

— Спокойные, удобные радости, заключенные между четырьмя узкими стенами, составляют только часть семейного блаженства; дух жизни и нервов — это кипучие, огненные источники любви, льющиеся в родственные сердца.

Общество, находившееся в зале и узнавшее об этом странном, но счастливом событии, с нетерпением ожидало жениха и невесту, чтобы встретить их традиционными пожеланиями. Золототканый старичок лукаво заметил:

— Теперь я знаю, отчего было так важно для бедного Макса уладить этот скандал из-за козла. Если бы он попал в тюрьму, не состоялось бы никакое примирение.

Все заплодировали одобрительно, причем пример подал Вилибальд. Уже все выходили из соседней комнаты в залу, когда турецкий посланник, который все время сидел на диване, ничего не говоря и выражая свое сочувствие только ерзаньем и странными гримасами, вдруг вскочил и встал между женихом и невестой:

— Что? Что? — воскликнул он. — Сейчас же и замуж? Замуж? Твое умение и прилежание делают тебе честь, Макс, но ты молокосос без опыта, без знания жизни и без должного воспитания. Ты слишком прямолинеен и даже груб в своих выражениях, как я заметил сейчас, когда ты говорил "ты" своему дяде, надворному советнику Ройтлингеру. Отправляйся в свет, в Константинополь! Ты научишься там всему, что нужно для жизни; а потом приезжай и женись спокойно на моей милой девочке, прелестной Юльхен.

Все удивились странной идее Экстера, но он отвел в сторону Ройтлингера, причем оба встали друг против друга, положили друг другу на плечи руки и обменялись несколькими словами по-арабски. После этого Ройтлингер вернулся, взял Макса за руку и сказал очень мягко и ласково:

— Милый мой сын, мой дорогой Макс, сделай мне удовольствие и съезди в Константинополь, это продлится не более шести месяцев, а потом я устрою твою свадьбу.

И несмотря на протесты невесты, Макс вынужден был уехать в Константинополь.

Теперь, мой милый читатель, я быстро закончу свой рассказ, так как ты можешь себе представить, что, вернувшись из Константинополя, где он видел мраморные ступени, на которые Экстеров тюлень положил ребенка, а также много других замечательных вещей, Макс действительно женился на Юлии, и не нуждается в том, чтобы знать, как нарядна была невеста и сколько детей появилось на свет у этой пары. Я прибавлю только, что в день Рождества Богородицы в 18*** году Макс и Юлия стояли друг против друга на коленях в павильоне с красным сердцем. Горячие слезы падали на холодный камень, потому что под ним лежало, увы, слишком часто истекавшее кровью сердце благодетельного дяди. Не из подражания надгробному памятнику лорда Гориона, по тому, что вся история жизни и страданий бедного дяди поражалась этим словом, Макс собственной рукой начертал на камне слова:

Здесь покоится!

Комментарии

"Ночные истории" немецкого писателя, композитора и художника Э.Т.А. Гофмана (1776-1822), создавшего свою особую эстетику, издаются в полном объеме на русском языке впервые. В них объединены произведения, отражающие интерес Гофмана к "ночной стороне души", к подсознательному, иррациональному в человеческой психике. Гофмана привлекает тема безумия, преступления, таинственные, патологические душевные состояния.

Это целый мир, где причудливо смешивается реальное и ирреальное, царят призрачные, фантастические образы. а над всеми событиями и судьбами властвует неотвратимое мистическое начало. Это поэтическое закрепление неизведанного и таинственного, прозреваемого и ощущаемого в жизни, влияющего на человеческие судьбы, тревожащего ум и воображение.

ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

...как Франц Моор Даниэля — В "Разбойниках" Шиллера Франц Моор рассказывает старому слуге Даниэлю видение Страшного суда, которое предстало ему во сне.

Песочный человек — здесь имеет место сознательное наложение двух образов: персонажа поверья о песочном человеке, который сыплет детям песок в глаза, когда им пора спать, и зловещего героя кукольных комедий.

Глаза сюда, глаза! — Согласно распространенному суеверию глаза обладали магической силой и использовались при изготовлении колдовских зелий и субстанций (так, в опере Вебера "Вольный стрелок" для отливки заколдованных пуль использовались "правый глаз удада и левый рыси").
...портрет Калиостро, как изображен он Ходовецким в берлинской карманном календаре. — Портрет графа Александра Калиостро (1743—1795), авантюриста, настоящее имя которого было Жозеф Бальзамо, был помещен в "Берлинском генеалогическом календаре за год 1789"; он принадлежит кисти художника и офортиста Даниэля Ходовецкого (1726—1801).
...о колорите Батонь. — Имеется в виду "Кающаяся Магдалина", главное творение Помпео Джироламо Батони (1708—1787); Гофман не раз любовался этой картиной в Дрезденской галерее.
...легенда о мертвой невесте... — Предположительно имеется в виду баллада Гете "Коринфская невеста".

ИГНАЦ ДЕННЕР

Сбирфы — По-военному организованные полицейские (существовали в Италии до 1809 г.).
Аква Тоффана — Быстродействующий ядовитый напиток, который предположительно был придуман сицилианкой Теофанией ди Адамо (казнена в Палермо в 1633 г.); первой с помощью этого яда совершила преступление ее дочь Джулия Тоффана.

ЦЕРКОВЬ ИЕЗУИТОВ В Г.

...как крысы корабль Просперо... — см. Шекспир, "Буря".
...в том итальянском стиле — имеется в виду стиль барокко.
Доменикино — Доменико Дзампери, прозванный иль Доминичино (1581—1641), живописец болонской школы.
...как сказано в одной трагедии... — см. Шекспир, "Гамлет".
Эйтельвейн, Иоганн Альберт (1764—1848) — директор берлинской Академии архитектуры, автор учебника по перспективе (1810).
...Люцифером, который адским огнем озарил его жизнь... — имя Люцифер (лат.) означает "негаснущий свет".
Странствующий энтузиаст — фигура, присутствующая во многих гофмановских новеллах. "Фантазии в манере Калло" имеют подзаголовок "Листки из дневника Странствующего Энтузиаста".
Хаккерт, Якоб Филипп (1737—1807) — немецкий художник-пейзажист, высоко оцененный Гете в его произведении "Филипп Хаккерт. Биографические очерки, написанные и основном с его собственных слов"; много лет работал в Италии.
Лоррен, Клод (настоящее имя Желде, 1600—1682) — французский художник-пейзажист и график, мастер "идеальных пейзажей".
Роза, Сальватор (1615—1672) — итальянский художник и композитор; его пейзажи, изображающие дикие, порой фантастические ландшафты, отличаются резкими светотеневыми контрастами.
...белое полотенце на полотне одного старого голландского живописца — Вероятно, имеется в виду "Вид на Гарлем" Якоба Рейсдаля,
...изучай природу и с механической стороны... — Намек на механические тенденции просветительской концепции мира.
...различать свет и в ночном ее царстве... — Под "ночным царством" подразумевается область подсознательного.
...житие Великомученицы Екатерины — Екатерина Александрийская (обезглавлена в 307 г.), христианская святая, патронесса философов.
Viva la santa fede! (итал.) — Этот клич ("За святую веру!") связан также с разбоем и грабежами; по-видимому, здесь его нужно понимать как символ некоего братания.

SANCTUS

Санктус (лат.) — снятой; хвалебная песнь, часть католической мессы.
...Визия доктора из Жильяласи де Санпильяна — ассоциация с "Историей Жиль Бласа до Сан-тильяна" Алена Рене Лесажа (1668—1747). "Хромой бес" того же автора был одной из любимых книг Гофмана.
Агнус (Agnus Dei) (лат.) = агнец Божий; часть католической мессы.
Бенедиктус (лат.) - Богородица, благословение; часть католической мессы.
Мизерефе (лат.) — храни тебя; покаянный псалом католической литургии.

Восьмиглаголы qui tollis (лат.) — Qui tollis peccata nos te miserere nobis: ...что принимаешь Ты на себя грехи наши, будь же спасен,— слова из "Глории".

Gloria (лат.) — Gloria in excelsis Deo — Хвала Богу в величии; хвалебная песнь, часть католической мессы.

Credo (лат.) — верую; часть католической мессы.

Боабдил — Боабдил (Абу Абдаллах Мохаммед, XV в.), последний мавританский король Гранады.

Одну из респонсорий Палестрины — Респонсории — литургические пения; Джованни Пирлуиджи да Палестрина (1526 — 1594) итальянский композитор, автор церковной музыки.

"Stabat mater dolorosa" (лат.) - Многострадальная мать (Иисуса) стояла (перед крестом) — произведение для хора Джованни Баттисты Перголезе (1710—1736).

ПУСТОЙ ДОМ

Книгу Рейля... — Иоганн Кристиан Рейль (1759— 1813), автор книги "Рапсодия о применении психических методов лечения умственных расстройств" (1803).

"...почувствовал его Руку на своем позвоночнике..." — Согласно теории животного магнетизма прикосновение к позвоночнику и к области сердца вызывает особенно сильное магнетическое воздействие.

Клуге — Карл Александр Фердинанд Клуге (1782— 1844), врач и писатель, автор книги "Опыт описания животного магнетизма как лечебного средства" (1811).

Шуберт — Готтхильф Гейнрих фон Шуберт (1780— 1860), естествоиспытатель и философ, автор книг "Рассуждения о ночных сторонах естествознания" (1808) и "Символика сна" (1814).

Бартельс — Эрнст Даниэль Аугуст Бартельс (1774— 1838), профессор медицины и физиологии университета Бреслау, автор "Основ физиологии и физики анимального магнетизма" (1812).

"...в законах одного весьма просвещенного государства..." — Имеется в виду прусский уголовный кодекс, вступивший в силу в 1794 г., который запрещал применение любовных напитков, поскольку оно связано с вредными воздействиями.

МАЙОРАТ

Майорат — существовавший в средние века в некоторых западноевропейских странах порядок наследования, при котором все владения феодала в целях сохранения могущества рода нераздельно переходили к старшему из живых сыновей умершего.

Некий гасконец боялся битвы... — герой серии популярных в КОНЦЕ XVIII века анекдотов.

Аббат Стеффани — Стеффани Агостино (1654— 1728), итальянский композитор, автор нескольких опер, а также инструментальной и церковной музыки, посвященный в духовный сан.

Фридрихсдорф — старинная прусская золотая монета.

Военная гроза разразившаяся над Германией... — имеется в виду освободительная война 1813—1815 гг.

Влюбленный, вздыхающий словно печь — сравнение, заимствованное у Шекспира из "Как это вам нравится".

ОБЕТ

После первого раздела Польши - Первый раздел Польши произошел в 1773 г.; в последующем тексте речь идет о поднятии польского народа на защиту Конституции 1791 г., о третьем разделе Польши в 1795 г. и о последнем, потерпевшем поражение восстании под предводительством Костюшко в 1794 г.

Надежды поляков не сбылись... — Поляки потерпели поражение в битве под Мазейовице 10 октября 1794 г.

Паладин — (но имени одного из героев эпоса "Осень о Роланде") рыцарь, верный страж.

...О героических деяниях того человека... — Имеется в виду Наполеон Бонапарт (1769—1821).

Позилитто — горный склон близ Неаполя.

КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ

...кавалером, бредущим по лабиринту любви. — Иоханн Готтфрид Шнабель (1692—ок.1750) написал роман "Бредущий по лабиринту любви кавалер, или история путешествий и любви благородного немца дворянских кровей господина ф. Шт., который после множества жизненных эксцессов наконец

понял, что в старости Небеса карают за грехи юности", который был издан в 1738 г. В романе упоминается выдуманный город Варнунгштат (город предостережений — нем.).

...когда мы тряхиваем с себя земные стремления. — пародирование слов шекспировского Гамлета "Коль сбросим мы стремления земные".

Месмеристы — приверженцы учения о животном магнетизме, основанного теологом и врачом Францем Антоном Месмером (1734—1815).

Санбенито — исп. San benito: одежда, которую надевали в свой последний путь приговоренные инквизицией к сожжению на костре; желтая льняная накидка с красными крестами, зачастую с изображением чертей и сцен ада.

Великий Али — Али Ибн Аби Талиб (ок.600—661), халиф, племянник и зять Магомета.

Картезианский чертик — игрушка: полая, разноцветная стеклянная кукла, большей частью фигурка черта, вертикально держащаяся в воде.

Анфосси — Паскуале Анфосси (ок.1727—1797), итальянский композитор, автор оперной и церковной музыки, ученик Пуччини.

Сидерический принцип — имеется в виду звезда, которая, по мнению астрологов, оказывает влияние на конкретного человека; сидерически — значит, связано со звездами.

„не из подражания надгробному камню лорда Горриона — Лорд Горрион, персонаж из "Гесперуса" Жан Поля, приказал принести собственный надгробный камень в усыпальницу своей возлюбленной, где убивает себя.

СОДЕРЖАНИЕ

Песочный человек.....	5
<i>Перевод М. Бекетовой</i>	
Игнац Деннер.....	46
<i>Перевод О. Дрождина</i>	
Церковь иезуитов в Г.....	105
<i>Перевод Н. Петренко</i>	
Sanctus.....	141
<i>Перевод М. Бекетовой</i>	
Пустой дом.....	163
<i>Перевод В. Ланге</i>	
Майорат.....	201
<i>Перевод М. Бекетовой</i>	
Обет.....	288
<i>Перевод О. Дрождина</i>	
Каменное сердце.....	322
<i>Перевод М. Бекетовой</i>	
<i>Комментарии.....</i>	353

ББК 84.4Н1М

Г 74

Художественное оформление В.Ермо, О. Гашенко, Н. Вакуленко

Редактор *Н. Киселева*

"Ночные истории" немецкого писателя, композитора и художника Э.Т.А. Гофмана (1776—1822), создавшего свою особую эстетику, издаются в полном объеме на русском языке впервые. Это целый мир, где причудливо смешивается реальное и ирреальное, царят призрачные, фантастические образы, а над всеми событиями и судьбами властвует неотвратимое мистическое начало. Это изображение "ночной стороны души", поэтическое закрепление неизведанного и таинственного, прозреваемого и ощущаемого в жизни, влияющего на человеческие судьбы, тревожащего ум и воображение.

4703010100-4

Г-----Без оголошення

ISBN 5-7101-0110-9

Упорядкування, художнє оформлення, оригінал-макет. Фірма "Лабіринт", 1996 Назва серії. Марка серії. Оформлення серії. М.М.Вакуленко, О.В.Гашенко, 1993

